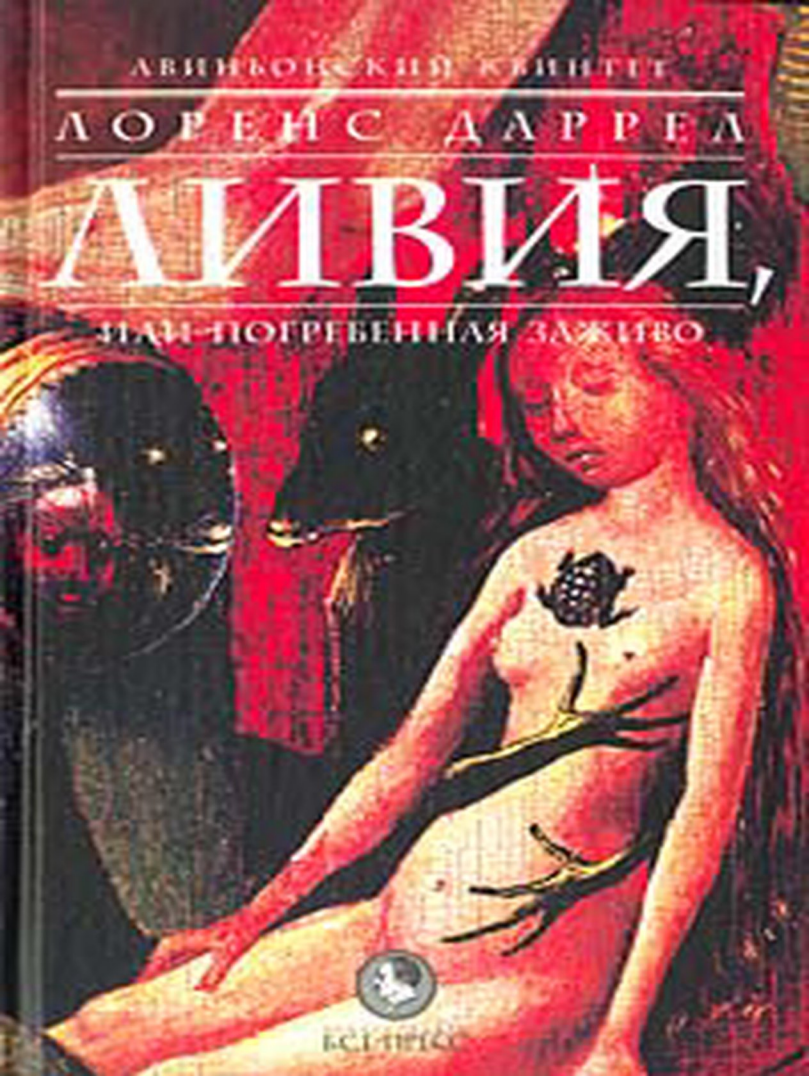
АВИНЬОНСКИЙ КВИНТЕТ

ЛОРЕНС ДАРРЕЛ

ЛИВИЯ,

ИЛИ ПОГРЕБЕННАЯ ЗАЖИВО



ЛИВИЯ, или Погребенная заживо

Лоренс Даррел

Аннотация
Лоренс Даррел. ЛИВИЯ, или Погребенная заживо
Глава первая. Сплошное молчание
Глава вторая. Робкие начала
Глава третья. Бессонница консула
Глава четвертая. Летнее солнце
Глава пятая. Лорд Гален обедает
Глава шестая. Возражения
Глава седьмая. Принц Хассад возвращается
Глава восьмая. Прощание лорда Галена
Глава девятая. Кутеж
Приложения

Аннотация

«Ливия, или Погребенная заживо» (1978) — вторая книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы XX-го столетия Лоренса Даррела, чье творчество в последние годы нашло своих многочисленных почитателей в России. Используя в своем ярком, живописном повествовании отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор помещает новых и уже знакомых читателю героев в Прованс и европейские столицы, живущие предчувствием второй мировой войны. Тайны отношений и тайны истории причудливо переплетаются, открывая новые грани характеров и эпохи.

Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».

Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.

Сложные, переплетающиеся сюжеты заво-

раживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.

Лоренс Даррел
ЛИВИЯ, или Погребенная заживо

Глава первая
Сплошное молчание

Именем Пса-Отца, Пса-Сына
и Пса-Святого Духа,[1] *Аминь.*
Здесь начинается второй урок.

* * *

Что если путь проходит посередине между
абсолютным произволом и абсолютной
предопределенностью?

* * *

Смешение пяти красок гибельно для глаз.
Китайская пословица

Весть о смерти Ту настигла Блэнфорда, когда он практически постоянно жил в ее доме в Сассексе, наблюдая, как первый зимний снежок падает с черного неба на еще более черные леса, с неба,

---

[1] Примечания: 1

Здесь «еретический» перевертыш слова бог: вместо английского «god» (Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой дух) написано «dog». (Здесь и далее, не оговоренные особо, примечания переводчика)

в котором давным-давно погас желтый закат. Я написал «практически», потому что его версия наверняка окажется другой — ради последующих поколений и отчасти из-за стилистических пристрастий. Кресло с высокой спинкой спасало его от сквозняков, которые, несмотря на зыбкое пламя в камине от дубовых поленьев, свободно гуляли по старомодной, с высоким потолком комнате и сужающейся конусом галерее для музыкантов. Рядом на ковре лежали костыли. Ставя на пол телефон с лебединой шеей, он почувствовал, как отозвалась в нем нежданная весть: словно шум в громадной тропической раковине — гул бьющихся о белый песок волн на другом краю земли. Ту уже никогда не сможет прочесть (вот он, писательский эгоизм!) огромный новый кусок, который он добавил к своей книге — роман о другом романисте по фамилии Сатклифф, о человеке, который стал почти реальным и для него, и для Ту, таким же, каким он, Блэнфорд, был для самого себя. Вытащив из рукава носовой платок, Блэнфорд приложил его к сухим губам — сухим из-за сигары, которую он вечно мусолил во рту во время работы. Потом, пошатываясь, подошел к зеркалу, висевшему над книжным шкафом, и довольно долго рассматривал себя. Зазвонил,

захлебываясь, телефон, и как всегда, когда звонят издалека, возникло ощущение, что кровь вот-вот отхлынет от сердца. Писатель не сводил взгляда с аппарата, представляя, что он — это Ту, которая смотрит на него самого. Вот, значит, что она видела, что она всегда видела! Полное совпадение взглядов, мысль к мысли — так у них всегда было. Неожиданно Блэнфорду пришло в голову, что повсюду здесь — книги покойной. С подчеркнутыми словами, с коротенькими записями. Она все еще тут!

Ему почудилось, будто из-за ее смерти и его собственный образ неожиданно стал иным, преобразился… умерла… кошмарная новость, смириться с ней было невозможно. Господи, им еще так много надо было сказать друг другу — а остались лишь обрезанные нити, обрывки незаконченных разговоров. Отныне и поговорить-то по-настоящему не с кем. Писатель поморщился и вздохнул. Что ж, теперь придется все страстные и плодотворные диалоги вести исключительно с самим собой. Все утро он играл на старой фисгармонии, радуясь, что голова и пальцы все еще отлично ему служат. Ничего нет лучше музыки в пустом доме. Потом зазвонил телефон. И теперь он думает о Ту. Никакого, в сущности, смысла.

Стоит умереть, как тебя укладывают в землю и ты попросту растворяешься в ней. На некоторое время остаются кое-какие памятки — туфли, платья, не пригодившиеся номера телефонов на листочках почтовой бумаги. Как будто человек вдруг возжаждал предельной простоты, изначальной первозданности.

С заледеневшего озера доносилось щебетание катавшихся на коньках детей. Изредка слышался визг попавшего под конек камешка. Интересно, мелькнуло в голове у Блэнфорда, а как придуманный им Сатклифф воспринял бы печальную весть? Почему бы этому персонажу не поскулить в романе под стать противному псу? Прошлой ночью, лежа в постели, Блэнфорд прочитал несколько страниц любимого римского поэта Ту, и у него появилось ощущение, что она лежит рядом. На ум пришли несколько фраз: «Ровные ритмы латинского стиха, словно эхо ее сердца. Я слышу ее тихий голос, сотворяющий слова». В комнате летали мухи, появившиеся от тепла. Эти неугомонные черные точки, сбиваясь в кучки, напоминали азбуку Брайля. Звенящие детские голоса снаружи почти не задевали сознания. Ну а что толку от книг, если они не служат пристанищем для роящихся внутри сожалений? Вдруг

заболела спина — позвоночник затвердел, как флагшток. Стареющий герой войны с набитым свинцом позвоночником.

Скорее бы настал и его черед. Отныне на него можно повесить табличку «Не пригоден для транспортировки» или того проще: «Невостребованный багаж» — и бросить его в трюм или в могилу. Мысленно он издал громкий вопль, вопль одиночества, но наяву не прозвучало ни единого звука. Это был пронзительный космический вопль одинокой планеты, которая, кружась, летела в космосе. В Италии Ту нравилось ходить по дому обнаженной, и у нее не возникало чувства вины, когда она громко скандировала шестнадцатый псалом. Однажды она сказала: «Как это ни ужасно, но жизнь не принимает ничью сторону».

Итак, тот Сатклифф, которого Блэнфорд придумал для своего романа «Месье», в ранней версии застрелил свое отражение в зеркале. «Мне ничего другого не оставалось, — объяснил он Блэнфорду. — Или он, или я». Писатель Блэнфорд вдруг ощутил себя до предела сжатой версией малого эпоса. Заживо погребенным! Костыли натирали ему подмышки. Он стонал и чертыхался, волоча себя туда-сюда по комнате.

* * *

Искусство почти не дает утешения. У Блэнфорда в душе постоянно гнездился страх, что его слишком уж личным сочинениям не достичь понимания читателя. Напыщенный и чахлый, сегодняшний продукт — скудный, как слюна или сперма, вот оно, следствие слишком рьяного приучения к горшку, которым когда-то мучила его мать-чистюля. В итоге — проза только о самом себе и такие же стихи, типичные для современного, страдающего запорами художника. В обыденной жизни это самодовлеющее нежелание контактировать с окружающим миром, подчинять себя, с кем-то делиться, в конечном счете может привести к кататонии! Среди «острых» больных в клинике «Летерхед» был один кататоник[2] в сумеречном состоянии, которого можно было подвесить за воротник — на крюке для мясной туши он медленно покачивался, приняв позу эмбриона. Похожий на летучую мышь, он смот-

[2] Примечания: 2

Страдающий психическим расстройством, сопровождающимся мышечным спазмом.

рел свои амниотические[3] сны, убаюканный колыханием воображаемой утробной жидкости. Вот все, что осталось от когда-то хорошего поэта. Всю свою осознанную жизнь он страдал творческим запором, отказывался делиться тем, что его переполняло, вот и довольствуется теперь «жизнью» в кавычках. Блэнфорд протянул руку и коснулся первого варианта своего романа «Месье». Эту рукопись он подарил Ту, и она отдала ее в переплет. Интересно, где в его воображаемой жизни, которая на самом деле и была его реальной жизнью, следует находиться Сатклиффу? Так бы хотелось поболтать с ним. В последний раз до него дошли слухи, что Сатклифф в Оксфорде и прославился работой над исследованиями своего друга, касающимися ереси тамплиеров. Последней весточкой от него была загадочная открытка: «Оксфордского преподавателя легко отличить от прочих благодаря убирающейся крайней плоти».

* * *

Блэнфорд отважился снова вернуться мыслями к Ту и вдруг почувствовал жар, как при высокой

[3] Примечания: 3

Амниоты — высшие позвоночные животные, у которых на ранних стадиях развития образуются зародышевые оболочки.

температуре. Задыхаясь, он поднялся и с трудом открыл большое окно — от потолка до пола, — впустив облако снежинок и холодный ветер. Высунув голову, он смотрел на лужайку сквозь клубы пара, сразу сгустившиеся у рта. Театральным жестом прихватив немного снега, Блэнфорд потер виски, после чего вернулся на свое место возле камина и к своим мыслям. Вот и Кейд с чайным подносом бочком скользнул в комнату и, не говоря ни слова, сервировал стол, при этом с его желтой, типично пуританской физиономии не сходило выражение страстной сосредоточенности, какое можно увидеть на лицах лишь очень глупых, но хитрых людей. И еще он был преисполнен смиренной гордости, ибо на предплечьях его был распластан новый лечебный корсет, который наконец-то прислали, подогнав по размеру, из мастерской. Блэнфорд очень надеялся, что, благодаря этому приспособлению, он когда-нибудь совсем избавится от костылей. С его губ слетело радостное восклицание, когда Кейд, бесстрастный, как мандарин, снял с него старенькую твидовую куртку (с кожаными заплатами на локтях), самую его любимую, и стал прилаживать жилет из мягкой серой резины и невидимых стальных пластин.

— Поднимайтесь, сэр, — в конце концов произнес Кейд.

И писатель, недоверчиво улыбнувшись, подчинился; да-да, теперь он может ходить по комнате, передвигаться на собственных ногах, хоть и медленно. Вот уж чудо так чудо. Однако поначалу жилет разрешалось носить не больше часа в день, чтобы тело привыкало к этому жесткому каркасу.

— Чудесно, — громко произнес Блэнфорд.

Несколько секунд Кейд внимательно следил за ним, потом, кивнув, занялся своими делами, Блэнфорд же, чувствуя себя заново родившимся, стоял, прислонившись к каминной полке и глядел на валявшиеся на полу костыли. Кейду не понять, что значило для него это новое приспособление. Слуга был похож на проныру из плебеев, каким и был на самом деле. Блэнфорд с любопытством смотрел, как он перемещается по комнате, вытряхивает пепельницы, наполняет водой блюдце на батарее, меняет воду в вазе с оранжерейными цветами.

— Кейд, — сказал Блэнфорд, — Констанс умерла.

Слуга бесстрастно кивнул.

— Знаю, сэр. Я взял трубку в коридоре.

Вот так. В этом весь Кейд. Покончив с уборкой, он так же молча, опять бочком покинул комнату.

Из угля — бриллиант,
Жемчуга — из песка.

Любой процесс причиняет боль, а мы часть процесса. До чего же химерны утешения искусства — основополагающий страх смерти неодолим; страшно быть втянутым громадной раковиной, словно какое-то насекомое, в *cloaca maxima*[4] смерти, *anus mundi*![5] Сатклифф писал о нем, скорее, он сам писал о себе, будучи в образе героя Сатклиффа, присвоив смешную фамилию Блошфорд, в романе «Месье»: «Женщины были для него всего-навсего продажными тварями. Нет, он не заблуждался на их счет; о нет! Он видел их насквозь, по крайней мере, ему так казалось. То есть он не просто заблуждался, а был дурак дураком».

Блэнфорд задумался. Интересно, Констанс и ее сестра Ливия тоже такие же? Одна блондинка, другая брюнетка. Одна с «бархатной» тайной,

---

[4] Примечания: 4
Великая помойная яма *(лат.)*.

[5] Примечания: 5
Здесь: задница мира *(лат.)*.

другая с клювом лебедя?

> Мели зерно, готовь вино,
> Преломи хлеб, мы заодно,
> Последний вздох — смерть на порог.[6]

В какой из книг ему попались на глаза эти строчки, подчеркнутые Констанс? В эту минуту опять захлебнулся звоном телефон, и Блэнфорд сразу понял, кто звонит — это мог быть только созданный им Сатклифф. Наверно, ему телепатически передалась весть о Констанс (Ту). Лишь теперь Блэнфорд осознал, что весь день ждал этого звонка.

Пренебрегши принятым «алло», он сразу же спросил своего *confrêre, semblable* и *frêre:*[7]

— Вы знаете о Ту?

В ответ голос Сатклиффа, пробившийся сквозь сильный насморк и дрожащий от горя, отозвался:

— Боже мой, Блэнфорд, что же теперь с нами будет?

— Мы будем и дальше терзаться из-за собствен-

---

[6] Примечания: 6
Здесь и далее стихи в пер. М. Макаровой.

[7] Примечания: 7
Соратника, себе подобного и брата *(фр.).*

ной бездарности; и дальше попробуем убеждать людей в том, что не совсем бездарны. Мне тоже плохо, Робин, хотя я не ожидал от себя ничего подобного. Меня слишком часто посещали мысли о смерти, и мне казалось, что я держу в послушании гиппогрифа;[8] и, разумеется, как все, я втайне был уверен, что умру первым. Наверно, Констанс тоже на это рассчитывала.

— Из-за вас моя жизнь остановилась, когда умерла Пиа, — с упреком и печалью произнес Сатклифф, после чего громко высморкался. — На какое-то время я занял себя основательным переписыванием книги Тоби о тамплиерах: кое-где позолотил, придал высокопарности, чтобы немного облагородить стиль этого вечно пьяного наставника юных душ. Но он теперь знаменит, а меня обуяла жажда перемен, хочется новых впечатлений. Тобиасу принадлежит Кресло в Истории, которого он домогался. Почему не Диван? Он будет жить в откровенном страхе, во весь голос разглагольствуя перед молодым поколением наркоманов-душителей о поистине резиновой чиновничьей «кормушке», которая может растягиваться бесконечно. — Он невесело

---

[8] Примечания: 8
Крылатый конь *(греч. миф).*

хохотнул. — А как же я? Неужели вы не придумаете ничего, чтобы я избежал Ловушки?

— Робин, вы умерли, — ответил Блэнфорд. — Помните конец «Месье»?

— Верните меня обратно, — с пафосом произнес Сатклифф, — а там посмотрим.

— Что сталось с великой поэмой и с книгой «Tu Quoque»?[9] — резко спросил Блэнфорд.

— Прежде чем закончить, мне надо было немного оправиться после смерти Пиа. Ловко вы придумали соединить в ней Констанс и Ливию, а я всегда сомневался в том, что сумею точно ее описать, просто потому что был ослеплен любовью. Мне не хватало жестокости. Да еще я не знал, как быть с Трэш, ее чернокожей возлюбленной. Наверно, ваша история лучше моей, во всяком случае, печальней. Не знаю. Но смерть Ту, бедняжки Констанс, должна быть воспета елизаветинцем.

Почему-то Блэнфорда это рассердило, и он холодно проговорил:

— И правда, почему бы не сочинить поэму «Соленые слезы Сатклиффа над могилой Ту»?

— Почему бы и нет? — отозвался его коллега,

---

[9] Примечания: 9
Ты тоже *(лат.)*. (Часть выражения: «И ты, Брут!»)

его раб. — Или, скажем, в стиле семнадцатого столетия: «Рыдания Сатклиффа»?

— Поэзии, — уже гораздо тише произнес Блэнфорд, словно разговаривая с самим собой, — которую порождает исключительно печаль; но поэзия в стиле «юмбо», что-то вроде супермаркета, подходит для всей семьи. Очень удобно. Робби, вам нельзя оставаться в Оксфорде, очень уж тоскливо. Давайте я отправлю вас в Италию?

— Еще один роман? Почему бы и нет? — Однако голос Сатклиффа звучал не очень уверенно. — Мне кажется, пора и вам что-то написать. На сей раз правдивую историю вашей любви, нашей любви, посвятив ее Констанс и, конечно же, Ливии, несмотря на все, что она сделала вам, нам, мне. Постарайтесь, если это не слишком болезненно для вас.

Еще бы не болезненно. Такое горе!

Блэнфорд долго не отвечал, и тогда Сатклифф проговорил, своим обычным светским легкомысленным тоном:

— Весной я ездил в Париж с девушкой, похожей на Пиа-Констанс-Ливию. Так там буквально к каждому слову приставляли *архи.* Наверно, это все равно, что у нас *супер.* Вот так, *архи* это, *архи* то. Мне пришло в голову, что я могу назвать себя

архирогоносцем, как вам? Я даже дошел до того, что стал думать о себе как об идеальном *архирогоносцесветя-щемся.*

— Н-но я рассказал о нас правду, п-пусть по-своему, — запинаясь произнес Блэнфорд. — Ливия вытащила меня из пропасти отрешенности. Мне всегда требовалась незатейливая, как перышко, девушка; ну а Ливии, оказывается, нужно было спариваться с негритянкой. Проклятье!

— Ага! Вы любили ее. Мы оба ее любили. Но вы солгали, наделив ее женственностью сестры. Вы сделали ее женственной, а надо было сделать мужественной, активной, так сказать.

После паузы, во время которой в головах у обоих писателей с бешеной скоростью проносились мысли о книге (Блэнфорд называл ее «Месье», а Сатклифф — «Князь тьмы»), их то и дело замиравшая беседа продолжалась. Одинокие люди имеют полное право разговаривать сами с собой, тогда почему бы одинокому писателю не поспорить с одним из своих творений, тем более, с коллегой? — спросил себя Блэнфорд.

— Охотимся на личности, которые пребывают еще в стадии куколки! Насколько я понимаю, Ливия оказалась…

Сатклифф застонал.

— Да, парнишкой, который подносил порох канониру, из-за нее разгорелось адское пламя, — от боли чуть не срываясь на крик, закончил Блэнфорд, потому что ее красота больно ранила его, дразнила, сводила с ума.

— Да. Это пересохший источник, — согласился Сатклифф, — огонь не зальет. В сущности, кто такая Ливия, что она такое?

Мы хором эту детку восхваляли.
О чары совершенства! Накинув тогу,
Она прилежно постигала йогу,
А ты. Кювье[10] наш по вопросам страсти нежной,
Все парня в ней высматривал прилежно,
Заполучив и плоть ее и разум.
Она — по доброте — любила без отказа,
Но после, втайне от супруга,
Искала член длинней — по всей округе.

— Робин, хватит, — вскричал Блэнфорд, у которого голова пошла кругом от горя, едва он

[10] Примечания: 10

Кювье, Жорж (1769–1832) — французский зоолог, в частности, ввел в зоологию понятие «тип». *(Прим. ред.)*

представил темноволосую головку Ливии рядом на подушке.

Сатклифф мрачно засмеялся и продолжил пытку своими экспромтами.

Люблю я вопреки желанью, Желаю вопреки страданью!

Ах!
Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!
Toi et moi et k chef de gare
Quel bazar, mais quel bazar![11]

А ведь Сатклифф прав, все началось в Женеве — в одно из унылых женевских воскресений. Стояли холода; какими-то неприкаянными и опухшими казались двоящиеся под вымороч-ным светом заснеженной луны швейцарцы. Он покрепче закрыл глаза, чтобы слышать взволно-ванную перекличку звезд и лучше представить, как обедал в «Баварии», не в силах забыть ее лицо, оно нежно сияло перед его мысленным взором, пока он заглатывал похожих на плоды жожобы непременных огромных устриц. Уф! Какое убо-

[11] Примечания: 11
Ты и я и начальник вокзала,
Вот так штука, вот так штука!

жество! *Набоков, а toi!*[12] В отелях жизнь была оклеена обоями из вздохов. На другой день озеро, белые лестницы в рай — в солнечных пятнах. «Завтра из Венеции приезжает моя сестра Ливия. Она очень хочет познакомиться с вами».

Это была Констанс, созданная для настоящей любви, как виолончель для музыки, а на некоторых нотах и в определенном настроении — глубина виолы. Прошло много времени, прежде чем оба поняли, насколько весомы слова, которыми они обменялись; их смысл был воспринят и осознан на другом уровне, гораздо более тонком, чем обыкновенная речь. Сестры совсем недавно унаследовали полуразрушенный шато Ту-Герц (вот откуда взялось прозвище Констанс), рядом с деревней Тюбэн в Воклюзе. Неподалеку от города, который хранил столько дорогих воспоминаний.

На этом месте Сатклифф вновь грубо вторгся в размышления Блэнфорда, с сопением поправив много раз чиненные очки.

— У Ливии было нечто, восхищавшее вас — этот любовный жар в крови; она заслужила, чтобы ее запечатлели в стиле, который стоило бы назвать метареализмом — я имею в виду ее при-

---

[12] Примечания: 12
Ко мне! *(фр.)*. (В смысле: «выручай!»)

верженность Осирису, части тела которого были разбросаны по всему Средиземноморью.[13] Хватит, Блэнфорд, хватит порноэксцентрики. Лично я охотился за прозаической фразой, в которой было бы больше мускулов, заметьте, приятель, не жира, а мускулов.

— Роб, запомните, — возразил Блэнфорд, — все, что вы пишете обо мне, крайне сомнительно — во всяком случае, спорно. Вообще-то, я вас придумал.

— Или я вас, а? Кто курица, кто яйцо?

— Суть в том, что в те времена мы плохо знали себя; не умели наслаждаться своей молодостью, как это здорово — просто валяться в траве и уплетать вишни. Бархатное английское лето юности, густая трава, стук крикетных мячей, примета восхитительно долго тянущихся летних каникул между учебными годами. Далекие удары, когда кто-нибудь загонял мяч на границу площадки, в высокую траву, над которой вечно моросил мелкий дождик из сверчков, но она оставалась сухой. Мы спали в лоне вечного лета.

— Однажды Ту сказала, что природа избавляет

---

[13] Примечания: 13

Согласно одному из мифов египетский бог Осирис был после гибели рассечен на 14 кусков. Убийца (его собственный брат Сет) разбросал их по всему Египту. *(Прим. ред.)*

ее от половой дисфункции, принуждая к стерильной любви — с биологической точки зрения недозволенной. Какой смысл в нашей вере в свободную волю? Она считала нас лунатиками, загнанными в поток неодолимого сладострастия. Слабое утешение, — громко произнес Блэнфорд, — для трусоватого Робина Сатклиффа, который торчит в замызганном домишке, и глуша себя алкоголем, движется к цели — к прыжку с моста. Его Хароном была кривобокая смуглая карга с вороньим клювом, которая могла угодить любому вкусу.

— Наверно, так, — вздохнул Роб. — Повязка на глаза, хлыст, наручники — надо было побольше всего этого засунуть в книгу, а не полагаться на вас. Свои грязные комнаты она сдавала даже не на день, а на час. Там я искал Пиа, как вы искали Ливию, когда нашли ее в постели этой маленькой горбуньи с фисташковыми глазами.

Блэнфорд поморщился, вспомнив хриплый натужный смех между сигаретными затяжками и приступами кашля. Она сказала о Ливии: «Une fille qui drague les hommes et saute les gouines».[14] И он ударил ее по лицу нитяными перчатками. А

---

[14] Примечания: 14

Эта женщина охотится на мужчин и бросается на женщин.

Сатклиффу твердо сказал:

— Это ваш долг — показать, как Ливия опустилась до уровня бедной Пиа.

— Пиа dolorosa,[15] — ответил Сатклифф. — Одной книги тут никак не хватит, да?

— Скажем так, просматривая кривые будущего, я увидел классический вариант квадрата с точками по углам и с пятой точкой посредине. Квинтет. Пять романов, написанных в четко выверенном эллиптическом[16] стиле, в данном случае самом целесообразном. Складываться в серию, будто это костяшки домино, они не должны, пусть даже они будут перекликаться, как эхо, объединять их будет только принадлежность к одной группе крови — пять панно, для которых ваш скрипучий старичок «Месье» уже наметил несколько тем, их и будем развивать дальше. Итак, Робин, за дело!

— А взаимоотношения формы и содержания?

— Эти книги будут в одной связке, как альпинисты на скале, но все же совершенно независимыми друг от друга. Что-то вроде гусеницы и

---

[15] Примечания: 15

Скорбящая *(лат.)*.

[16] Примечания: 16

Имеется в виду стиль, при котором не проговариваются некоторые части предложений, но их легко домыслить. Это придает тексту большую живость и компактность. *(Прим. ред.)*

бабочки, головастика и лягушки. Вполне органичные отношения.

— В вашем проекте кроется обычная опасность, — простонал Сатклифф, — в романах будет чересчур слишком много теоретических рассуждений.

— Нет. Ни в коем случае. Отвечаете своей жизнью. Должен получиться *роман-gigogne*.[17]

— Чем несчастнее творец, тем искреннее музыка — по крайней мере, я так думал. Теперь не знаю. Очень было бы интересно поразмышлять об искусстве, найти свежий ракурс.

— Дорогой старина Роб, недозволенное придает коже восхитительный блеск. Кровь лучше бежит по жилам, от постыдных тайн буйно расцветает страсть, словно какое-нибудь тропическое растение. Берите пример с меня.

Весь тот снежный день напролет Блэнфорд беседовал со своим творением, стараясь объясниться с самим собой, разобраться в своих чувствах и мыслях. Он хотел подвести итог — словно стоял на пороге смерти.

---

[17] Примечания: 17
«Раздвижной» роман *(фр.)*.

* * *

— Прикрываясь своей немощью, я следил за ней и подмечал каждую подробность я жаждал уличить ее в неверности. Я высматривал в зеркале, как приходит и уходит моя Ливия. С высокого балкона я смотрел, как она гуляет по Венеции, и видел женщину, которая шпионила за ней по моей просьбе — за довольно большую плату. У Ливии была привычка оглядываться через плечо, не идет ли кто следом; умная, изящная, нервная, похожая на ожившую кариатиду, она завоевала мое сердце своей естественной чувственностью. С этого смуглого лица можно было бы сделать потрясающую посмертную маску — аскетически-бледную, с овалом в форме сердца. Под стать трепещущим губам и рукам, когда ее одолевала страсть.

Господи, ну и неразбериха — на самом деле я любил Констанс. Она как будто стала моей второй кожей. Странная фраза: «Остаток жизни». Какой в ней смысл? Ведь ясно, что сей небольшой отрезок времени — постоянно уменьшающийся — начинается сразу в момент рождения. Когда вы узнали, что женились на лесбиянке, что вы сделали? А, Робин?

— Как дурак приставил револьвер к виску.

— Даже писатель обязан быть правдивым, когда речь идет о смерти. Сначала вы рассмеялись — положение-то смешное.

— Самое ужасное, что я по-настоящему любил ее, мою Пиа, — сказал Сатклифф. — Надо же, быть обесчещенным таким вот образом! Вы ведь и сами жили с лесбиянкой! Они сжигают ваш кислород, потому что плохо адаптируются и не могут не лгать. Они уничтожают классическую жалость, свойственную любви. Вместо нее — печаль. И красота их, Блэнфорд, разит точно копье.

— Точно копье, старина, точно копье.

— На Риджент-стрит, в убогом пабе, женщина, от которой я никак не ожидал сочувствия и понимания, прислушалась к моим стонам и сказала: «Кто-то, видать, крепко вас обидел, по глупости, все ветер в голове. Постарайтесь рассмеяться, надо сказать себе, что вранье всегда бывает наказано». Вот ведь какая глазастая оказалась, черт ее побери!

— Ваша глазастая права. Но ей не пришлось видеть Ливию, когда ту загоняли в угол, когда она с горящим взглядом отчаянно лгала, — понимаете, ей самой была отвратительна ее извращенность. И она бы ни за что не призналась добровольно.

Даже загнанная в угол, она сражалась до конца. Привязанная к штурвалу тонущего корабля самоуважения — а кто не привязан? — она шла на дно — в мои объятия. Некоторое время слежка за ней была постоянной, но однажды… Моему слуге Кейду пришлось ехать в Англию на похороны матери, и я отправился в отель «Лютеция», что на узенькой улочке; вечером я сидел там и смотрел, как на город опускаются сумерки и над каналами зажигаются огни. Улочка была настолько узкой, что балконы домов по обеим ее сторонам почти соприкасались, по крайней мере, так мне казалось. Тремя этажами выше лорд Гален, преисполненный ощущения собственной значимости, читал «Файнэншл Тайме». Я зашел к нему выпить по коктейлю и, стоя на его балконе, глянул на другую сторону улицы, и тут в темной комнате — прямо напротив — вспыхнул свет. Там, зевая и потягиваясь после сиесты, лежали две женщины. Одна поднялась и подошла к балкону, чтобы распахнуть ставни. Малышка подняла глаза, и наши взгляды встретились. Это была моя шпионка, абсолютно голая, а за ее спиной в смятой постели дремала Ливия, прикрыв пальцами промежность, словно опробывала скрипку перед тем, как начать играть. Чуть опустив веки, она, по всей

вероятности, мысленно листала клавир своих фантазий. Вот так, соблазнила мою шпионку! Сцена длилась не более секунды. Девушка метнулась в комнату, я тоже. Как громом пораженный, задыхаясь от ярости, я ничего не сказал старому банкиру, который в тот день был больше, чем всегда, расстроен курсом медных акций — когда-то в его ведении находилась часть скромных вкладов моей матери, и он так и не избавился от восхитительных анальных[18] терзаний из-за денег.

— Итак, вы пришли в ярость и отправились в бар, — отозвался Сатклифф, — портье вручил вам толстый конверт с потрясающими газетными вырезками: полные вранья интервью и фотографии. Мне всегда хотелось кое о чем вас расспросить. Газетчики, к примеру, утверждали, будто вы вот что им заявили: «Занимаясь своим делом, я никогда не искал славы или богатства. Я искал счастья».

— Я действительно так говорил. Сущую правду.

— А как насчет счастья? Нашли? — спросил Сатклифф с легкой гнусавостью, пародируя на-

[18] Примечания: 18

В концепции Фрейда о типе личности есть так называемый «анальный характер», который свойственен людям, отличающимся упрямством, скупостью и запасливостью. *(Прим. ред.)*

стырного репортера.

— Роб, счастье находишь, только когда перестаешь его искать.

— И все же?...

— Нет.

— Но почему?

— Я бы непременно вам ответил, если бы знал, что сказать.

— Я так и понял, что не нашли. Когда вы вернулись в свою квартиру, то очень скверно сыграли токкату на фисгармонии.

— Музыкальное сопровождение к нервному срыву. Я размышлял обо всей нашей психоаналитической болтовне насчет океана сексуальных побуждений. Дойдя до предела мужского отчаяния, я крикнул: «Господи, Боже мой, за что ты соединил меня не с женщиной?» Когда Ливия спала со мной, о ком она думала, кого любила в своих фантазиях? Кто был моей соперницей, смуглой леди сонетов? Откуда мне было знать? Она отлично маскировалась. Однажды заведясь от обычного поцелуя, она отвернулась и словно на кого-то смотрела, используя меня в качестве *machine a plaisir*.[19]

---

[19] Примечания: 19
Инструмента для получения удовольствия *(фр.)*.

— И все же у вашей Ливии были идеалы.

— Идеалы недосягаемы — именно поэтому стоит ими обзаводиться. Яблоко надо сорвать с ветки. Если дождаться, пока оно упадет само, то неизбежно разочарование — станет ясно, что оно — лишь плод воображения.

— Яблоко, явившее закон тяготения, было желанием Ньютона?

— Безусловно. Кроме того, не забывайте, что мы крайне мало знаем свою истинную сущность, свои склонности и пристрастия. Потому мы с Констанс и отправились в Вену, хоть чему-то научиться.

— Но это не принесло вам облегчения, наоборот, вы еще больше расстроились, узнав правду о своей сексуальной ориентации.

— Возможно; и все же знание — своего рода экзорцизм.[20] Я очень благодарен Констанс, она, в отличие от меня, читала по-немецки и держала нас в курсе того, что писали в Вене и Цюрихе; и хоть учебу она забросила, но врачом успела стать замечательным. Собственно, она и помогла мне понять Ливию.

— И какая от этого была польза?

---

[20] Примечания: 20
Изгнание злых духов. *(Прим. ред.)*

— Никакой. Просто знать — этого мало, этого всегда мало, но теперь я мог посочувствовать ей. И я многое понял, например, причину нападавшей на нее время от времени демонстративной неряшливости, это был своего рода бунт против своей постылой женственности, желание шокировать мужчину. Или еще одна черта: она никогда не могла посидеть спокойно, все ей надо было куда-то бежать. По нескольку раз на дню она отправлялась в деревню — якобы забыла что-то купить. Меня это поражало, я чувствовал, что это вранье, и, конечно же был прав. Как говорила Констанс, она попросту высматривала добычу — грозный рыцарь в доспехах! Все это, естественно, было очень ценно, я имею в виду информацию. А вы как думаете?

Сатклифф промолчал, и Блэнфорд, раскурив сигару, продолжал:

— Скоро не останется никого, с кем можно иногда поболтать, кроме вас. До чего же грустно — и что я буду делать? Да и вы ужасно меня утомляете! Наверно, я сойду с ума.

— Мы напишем книгу.

— О чем?

— О бесконечности отчаяния, о неподатливости языка, о недоступности искусства, о скуке

любви.

— Ливия и Констанс — два лица? Переставленные головы!

— Два липа. Понимаете, Обри, мужчина-гомосексуалист любит свою мать, а женщина-лесбиянка свою мать жестоко ненавидит. Вот почему она не рожает детей, а если рожает, то производит на свет любимца эльфов[21] либо ведьму. Мы с вами что думали? Что будто бы Ливия любила свою сестру Констанс, потому и вышла за вас замуж, чтобы исключить ее из игры. Ей было нестерпимо больно представлять вас вместе.

— Но Ливия спала с множеством мужчин.

— Конечно, и делала это с дерзким презрением, чтобы доказать собственную маскулинность, превосходство своего мужского «я». Храбрая картезианка.[22] Она бегала по подружкам, предъявляя им окровавленные мужские скальпы. Своего рода антиреклама. «Смотрите, какие эти мужчины слабаки, как просто заполучить их

---

[21] Примечания: 21

Имеется в виду ребенок, которого сказочные эльфы оставляют людям взамен похищенного (подменыш).

[22] Примечания: 22

Картезианцы — члены католического монашеского ордена, получившего название по своему первому монастырю в Шартрезе, основанному в 1084 году. К началу 1970-х годов малочисленные общины картезианцев сохранились в Италии, Испании, Франции и других странах.

скальп!»

— Увы, возразить нечего. — Сатклифф дотронулся до лысины на макушке, совсем недавно появившейся на его крупной голове. — После того, что я пережил с Пиа, пришлось купить накладку, — признался он. — Точнее, после всей этой психоаналитической тарабарщины. А ведь я узнал только то, что активные лесбиянки печально известны своим нежным отношением к собакам — но я-то не пес и не собираюсь им становиться. Еще один вопрос — Иисус был лесбиянкой?

— Вот этого не надо, — сказал Блэнфорд. — Не выношу зряшного богохульства.

Тогда Сатклифф и спел коротенькую психоаналитическую песенку, которую сочинил когда-то в честь великих мужей науки:

Радостный,[23] Юный,[24] Неистовый,[25]

---

[23] Примечания: 23

Прозвище Фрейда, чья фамилия означает «радость» *(нем.)*.

[24] Примечания: 24

Прозвище цюрихского психолога Юнга.

[25] Примечания: 25

Неистовый (frenzy — англ.), намек на венгерского психиатра Ференца Шандора.

Гроддек,[26] Неистовый, Юный.

Оборвав себя, он неожиданно спросил:

— Et le bonheur?[27]

— Конечно.

— Не может быть, чтобы его нельзя было найти. Где-то оно должно быть, просто его не видно. Почему бы нам не написать подробную автобиографию? Давайте! Поквитаемся со всеми!

— Последнее средство защиты! Все на борт ради последнего алиби!

— Что говорит мужчина, когда от него уходит жена? Он в ярости, вопит: «Во что ты превратила плиту! Всю искорежила! А кто будет жечь сахар для этого чертова пирога? Горло дерет от твоей кислятины?!»

— Или ищет утешения в искусстве: приятно вспомнить крики задыхающейся Дездемоны.

— Или станет вдовцом и с отчаянья обзаведется волосатой горничной, которая в положенное время родит малютку цвета ревеня.

— Участь романистов, связавшихся с поварихами. Но у меня один Кейд, и он не умеет

---

[26] Примечания: 26
Гроддек, Георг — психиатр из Баден-Бадена.

[27] Примечания: 27
И счастье? *(фр.)*.

готовить…

Снег все падал и падал на парк с покорными вязами, ветки которых были усеяны грачиными гнездами. Блэнфорд погрузился в раздумья о человеческой природе и ее немыслимом разнообразии, а Сатклифф в своем оксфордском жилище в этот момент повернулся к камину, чтобы подложить полено. Он ждал к ланчу Тоби, который должен был прийти с юной студенткой. Потом Сатклифф вновь взял трубку и сказал:

— Я правильно понимаю, что взаимоотношения наших книг будут в некотором роде инцестом? Они будут одна в одной, как в капсуле, а не просто дополнением друг друга? И места хватит для всего: для стихов, для автобиографии, рассказа и прочего, и прочего.

— Да, — тихо отозвался его создатель. — Полагаю, вам приходилось слышать об уникальном медицинском феномене под названием тератома?[28] Это нечто вроде мешка с недоразвитыми ногтями, волосами, зубами, который находится внутри какой-либо полости, наподобие доброкачественного новообразования. Его удаляют

[28] Примечания: 28

Доброкачественная опухоль, связанная с нарушением эмбрионального развития. Тератология — наука, изучающая пороки развития у растений, животных и людей.

хирургическим путем. Вообще-то это близнец, который на некоей стадии решил больше не расти…

— Стало быть, компактный рассказ для книги?

— Да. Знаете, когда Пиа начала в вас влюбляться? Держу пари, что нет. Когда вы возмутительно повели себя в ЮНЕСКО, после чего начался большой скандал.

— Это вы про день рождения Шекспира? Им не надо было приглашать меня.

— А вам не надо было принимать приглашение. Вы же явились туда в доску пьяным и заняли место между величайшими поэтами современности, которые намеревались отдать дань уважения Барду. Кроме того, в зале был Тоби, он очень веселился и размахивал британским флагом. Верх неприличия.

— Да ну, что вы, — произнес с некоторым раздражением Сатклифф, — это был своего рода момент истины. Да и никто не смог ничего противопоставить моим двенадцати заповедям[29] — незаменимое пособие для тех, кто хочет творить великое искусство. Они вроде бы произвели сильное впечатление, когда я прорявкал

---

[29] Примечания: 29

См. Приложение, в котором дан полный текст Двенадцати Заповедей. *(Прим. автора)*

их хриплым голосом в мегафон. Почему вы не использовали их?

— Когда-нибудь использую, если соберусь написать что-нибудь смешное. Из-за вас Унгаретти[30] чуть не лишился чувств. Потом, прочитав весь этот чудовищный бред, вы рухнули на большой фагот Общества любителей поэтов-елизаветинцев, причем на вас были гирлянды из проводов и микрофонов.

— Ну чем не Офелия, — умилился Сатклифф. — Но я не откажусь от своих заповедей, что бы там ни говорили французы. Позвольте, я их повторю — на тот случай, если вы что-то забыли или неправильно

поняли.

Он энергично откашлялся и произнес заповеди для одного Блэнфорда, который застенографировал их в блокноте, оказавшемся под рукой.

Потом Сатклифф надолго замолчал, в ожидании восхищения и аплодисментов.

— Жаль, что все плохо закончилось, но тут уж моей вины нет, — сказал он.

Наступила еще одна продолжительная пауза,

---

[30] Примечания: 30

Унгаретти Джузеппе (1888–1970) — итальянский поэт, представитель школы герметизма (от «ermetico», что означает «скрытой, уединенный»).

во время которой Сатклифф громко и несколько жалобно высморкался, чувствуя неодобрение своего коллеги и покровителя.

— Где будут хоронить Ту и когда?

— Сегодня вечером, — с вымученной сдержанностью произнес Блэнфорд. — В склепе рядом с шато, по особому разрешению, без службы и цветов.

— Вы поедете в Ту-Герц?

— Потом, когда все дела будут улажены и шато закроют на зиму. Мне нравится, как дождь поливает наполненный памятниками старины Авиньон. Есть некая печальная роскошь в полном одиночестве. Острее всего это чувствуется ночью на пустом вокзале, в пустом аэропорту, в ночных городских

кафе. Сатклифф спросил:

— А что же с Ливией, которая в моей жизни и в моей книге стала Сильвией и сошла с ума? Как насчет нее в этом контексте?

— Ливия исчезла. В последний раз, насколько мне известно, ее видели вдвоем со старой чернокожей пианисткой. Они ехали в Испанию. Несколько лет назад мне рассказывала о ней ее знакомая; это происходило в доме, предназначенном для специфических оказий — ну, вроде

того домика, в котором вы жили у старой ведьмы. Изредка я туда захаживал, просто на всякий случай, так как однажды обнаружил там трясущуюся то ли от усталости, то ли от наркотиков Ливию. Ее била сильная дрожь. Она тогда чуть не плача, потухшим голосом пробормотала: «Если мне сейчас никто не поможет, я подохну». И тут я понял, что люблю ее и никогда не брошу. А внутренний голос в ярости орал мне: «Дурак!»

— Там я искал Пиа.

— Она чуть не падала от изможденья, но мы все же сумели дотащить ее до кухни, усадили на табурет и заставили поесть. Старуха сделала для нее несколько бутербродов. И тут Ливия неожиданно разрыдалась со словами: «J'ai failli t'aimer»,[31] — вдоль ее дивного длинноватого носика в тарелку побежали слезы. Не переставая плакать, она стала есть — голодный и несчастный ребенок… я был потрясен. Молча смотрел на нее и кусал губы, вспоминая все, что она рассказывала о себе.

Однажды в темном зале кинотеатра какая-то женщина легонько коснулась рукой ее бедра, и Ливию прошиб озноб, словно душа ее стала галеоном, отданным на волю ветра и волн в

---

[31] Примечания: 31

«Я чуть было тебя не полюбила» *(фр.)*.

разбушевавшемся море. Она не двигалась. Не говорила. Не отвечала на прикосновение. Потом поднялась и, не оборачиваясь, вышла из зала. В фойе ей стало плохо, настолько, что пришлось прижаться лбом к холодной, выложенной плиткой стене. Та же рука коснулась ее плеча, и голос произнес: «Позвольте вам помочь». С этого все и началось. Когда же она вошла в мою жизнь, я сразу начал воссоздавать ее на бумаге, стараясь быть предельно точным. Однажды она ушла, и мне стало так одиноко, что я привел в отель другую девушку из того же заведения, просто потому что она знала ее и могла что-то о ней рассказать, пусть даже и то, что могло причинить мне боль. С сильным французским акцентом несчастное создание с циничной готовностью поведало мне о многочисленных подвигах Ливии, добавив следующее: «Она очень дорого стоит. Среди девушек, которым это нравится, ее знают как Усы». Милый Роб, мою возлюбленную товарки называли Усами!

— Наверно, вы поступили мудро, сделав Пиа пассивной, а не активной, ведь это позволило придать ее образу измерение, которого нет у Ливии: она вызывает сострадание.

— Зато у Ливии был магнетизм, и ее было гораз-

до труднее описать. Я упорно старался вернуть ей хоть немного утраченной женственности, ну как… как наполняют опилками куклу, мне хотелось видеть слезы в ее глазах, я словно старался внушить ей молитву. А она исчезала на несколько дней, и тогда либо полицейские приносили ее домой мертвецки пьяной, либо она надиралась в баре, и ее вышвыривали на улицу. Знаете, со здоровьем у нее всегда было не ахти как, а она, мало того что слабенькая, еще постоянно над собой издевалась. Но сколько шарма! Устоять было невозможно, ведь от нее веяло ароматом опасности и свободы. Мужчины сдавались сразу, а она так мечтала обрести способность отвечать на их страсть… Да, она отдавалась им, но возвращая поцелуй, была лишь карикатурным подобием женщины. Чувства ее дремали, будто она находилась под наркозом, а душа была непроницаема, будто резина.

Забавно, — произнес Сатклифф. — Полагаю, едва вы надели ей на пальчик обручальное кольцо, правда выплыла наружу. То же самое я пережил с Пиа, и меня донимали смутные надежды на то, что, несмотря на все ее выходки, несмотря на дикий нрав, Пиа можно спасти — нужно только немного покоя и некое подобие размеренной

семейной жизни… А уж мне-то пора было знать, как отличить лесбиянку, тем более активную, от нормальной женщины. К тому же она не умела ни плавать, ни танцевать, и в постели была бесчувственной, но доброй — ее поцелуи были даже нежными, как прикосновение крыльев мотылька, почти неощутимыми.

— Это вам не Ливия. Ее любимый лак для ногтей назывался Красным Садистом, и своего она добивалась с неистовством и упорством поросенка, ищущего сосок матери. Как настоящей хищнице, ей нравилось носить мех диких зверей. Выносливая и азартная, как похотливый мальчишка, она сама набрасывалась на меня, сама утоляла мою жажду отчаянной, изощренной чувственностью.

— Почему же вас так раздосадовало кольцо? В моем-то случае я просто чувствовал, что Пиа замыслила нечестную игру: собирается вести прежнюю жизнь, пользуясь статусом замужней дамы и стабильностью, которые я предложил ей. И я понял, что меня обвели вокруг пальца.

— А в моем случае дело было в самом кольце — оно принадлежало моей матери. Я прошел через все мучительные и путаные чувства единственного ребенка, превратившегося потом в изнеженного юнца, безнадежно избалованного.

Школа была пыткой, общение с другими людьми — тоже. Она была моей единственной девушкой, моя мама, а я оставался *vieux garcon,* холостяком, до самой ее смерти. Вот тогда я и подумал, что одиночество будет не таким кошмарным, если в доме появится женщина. Естественно, у меня была долгая связь с Констанс; однако она не желала еще одного замужества. Но вернемся к Ливии. Она затерялась где-то в Азии, а в те времена требовалось ждать несколько лет, прежде чем предположительная смерть твоей половины давала шанс на развод. Вы немного изменили ее в Пиа. — Сами виноваты, сами сделали ее пассивной, а не активной. Пиа, такая очаровательная в белой ночной рубашке, послушно доводила мужа до «извержения» (нежно, покорно), но при этом была похожа на коллекционера птичьих яиц, «выдувающего» очередной трофей. Ну а потом, лежа в жаркой постели, она потихоньку мастурбировала и, как мне кажется, мечтала о *fouetteuse* или *frotteuse*.[32] Почему бы и нет? Нет ничего доступнее, чем мечты. Однако детские мечты, которые возвращают к раннему опыту половой жизни, так же неистовы, как мечтания отшель-

---

[32] Примечания: 32
Партнерше с плеткой или умелыми руками *(фр.).*

ника. Спаси нас, Великий Ампутатор Яичников! Ведь женщина всего лишь *station de pompage*.[33]

— Детство, с его жутким сексуальным и психологическим воздействием на психику — чудовищное испытание. Нет, Роб, такого никому не вынести!

— Но они верили в Бога. Иисус в качестве ограничителя! Как такое возможно?

Блэнфорд бросил сигару в огонь и, вдруг охваченный страстной тоской, вспомнил Ту. Она бредет вдоль озера, рядом с которым они поклялись навсегда принадлежать друг другу, душой и телом; он услышал, как она тихим голосом читает книжку о Ницше, которого они тогда решили изучить получше.

— Что происходит с пенисом? — задумчиво спросил Сатклифф. — Судя по словам мудрецов (с которыми вы консультировались, похоже, что без толку) с пенисом происходит нечто похожее на коронацию с последующим обезглавливанием — король до того низко кланяется дамам, что корона падает на красный ковер. Разве не так?

Блэнфорд согласился с этим утверждением и даже, несмотря на отвращение, развил его:

---

[33] Примечания: 33
Насосная станция *(фр.)*.

— Голова же предается выражению бисексуальных конфликтов и может ловко представлять как мужские, так и женские гениталии. Обе девушки ужасно страдали от мигреней. Все дело в вагинальных кровотечениях, которые можно было остановить, лишь вдыхая кокаин. Помните, гильотину называли *La Vierge?*[34]

— Плевать мне на ваши сказки! — воскликнул Сатклифф. — Все заканчивается жратвой, и вам ли этого не знать? Подъемом черного стяга каннибализма. Если нарциссисты (художники) не умеют любить, по какому праву они устраивают весь этот шум?

— Ваша правда.

— *Si on est Dieu pourquoi cochonner*?[35]

— Как говорится, вы чертовски правы. Полезная фраза.

Блэнфорд услышал, как его творение разорвало пакетик с картофельными чипсами и принялось жевать их, напряженно размышляя над всеми этими уже набившими оскомину проблемами. И тут Блэнфорд вспомнил свое детство.

— Единственный ребенок обречен на вечную

---

[34] Примечания: 34
Дева *(фр.)*.

[35] Примечания: 35
Если ты Бог, не будь свиньей *(фр.)*.

тоску по прошлому и неуверенность в себе. Никто никогда не узнает, чего мне стоило преодолеть свои страхи и отчаяние и обрести профессию литератора. Соло, сиротство, сожаление… все начинается с «с». С Солнца-отца, Солнца-Сына и Солнца-Святого Духа. Она, то есть моя мама, тянула много лет, была прикована к постели, страдала от какой-то неизвестной болезни, вероятно, сердечной. Думаю, это было какое-то серьезное нарушение функции щитовидной железы — наверное, так. Из-за нее мама чувствовала слабость, из-за нее мамина кожа напоминала лепестки желтой магнолии, но мамины груди оставались упругими и не выпал ни один зуб. Мы жили вдвоем, без отца, в доме номер двадцать семь по Раскин-роуд, Саут-Норвуд — в мрачном доме, у которого было название «Лиственницы». На лужайке было много игривых скульптур и проржавевший и потому не действующий фонтан. У нас все было общее, мы даже спали вместе — и нам не нужны были слова. Я и теперь во сне слышу, как она вздыхает. Сборы в школу были настоящей пыткой: я упаковывал бутерброды, считал деньги, собирал тетрадки и книги, и поцеловав на прощание маму, уходил. Стерлинг, наш старый дворецкий, в видавшем виды и

тряском «Моррисе» вез меня в школу, которая находилась возле Арунделя. Похотливый кокни, он обычно говорил мне: «Знаете, мастер Обри, что будет на следующей неделе? Так вот, я собираюсь хорошенько кутнуть, только не говорите вашей матушке, ведь она считает меня добропорядочным. Вообще-то она права, так оно и есть. Но только не в выходные. В Брикстоне у меня пара пташек, и мне не терпится поиграть с ними, мастер Обри, правда, не терпится».

Мой отец преподавал в одном из заштатных университетов. На фотографиях он выглядел крупным, несколько чудаковатым господином в черных ботинках на шнурках. Сколько я ни вглядывался в почти забытое лицо, оно ничего мне не говорило. «Послушай, принеси-ка мне сачок, булавки, пузырек с эфиром и оставь меня в покое». Так он сказал однажды моей матери, и она решила, что это очень невежливо. И расстроилась. В доме было полно ветхих чучел гусей и прочей дичи, а в кабинете стоял шкаф с множеством полочек — там хранились великолепные бабочки, размещенные, как полагается, на пробковых пластинах. Мне приходилось скучать по всей этой роскоши до рождественских каникул. И наконец наступало Рождество! Маленькие

фигурки в вертепе с новорожденным Христом; и знакомый, сделанный из омелы[36] человечек в красном колпаке, с озорно торчащим членом. Этот весельчак несется ночью по заснеженным крышам на оленьей упряжке, и звенят, звенят колокольчики…

Иногда, слоняясь вечером по Лондону, я видел под желтыми шарами фонарей стайки озябших девиц, молчаливо продающих себя. А я торопился домой, к маме, боясь посмотреть ей в глаза, изнемогая от подавленных желаний и слишком очевидного страха перед сифилисом. Вот тогда и определилась вся моя дальнейшая жизнь — мама вскормила агнца для убоя, а Ливия была вооружена острыми ножницами. Причина и следствие, старина, потому для вас я предпочел изобрести более обеспеченное и здоровое детство. Вашими родителями были мельники, скажем откуда-то с севера, родом из настоящих крестьян и с надежным доходом. Однажды мне встретился ваш прототип, он сидел рядом со мной в Авиньонском ресторанчике, и я записал в блокноте: «Она

[36] Примечания: 36

Омела — символ плодородия и плодовитости, издавна принято украшать на Рождество дом ветками омелы или сделанными из нее игрушками, является фаллическим символом — еще со времен друидов. *(Прим. ред.)*

весьма изящна, зато он огромный, голова как яйцо, с довольно странным отрешенным лицом. Они источали запах неутомимых любовников, и зевали в течение всего обеда».

— Благодарю вас. А в школе мы учились вместе?

— В разных школах, но в одно время.

У Сатклиффа зазвонили в дверь, и он пошел открывать, потом вернулся к телефону.

— Тоби приехал, — коротко сообщил он. — А я, знаете ли, всем говорил, что жил в Ирландии, под мышкой у феи. И все делали вид, будто верят мне, так что у меня никогда не возникало ваших проблем. Ваш смех был уловкой, тактическим приемом, а я — хохотал совершенно искренне, от души.

— Не уверен, — с сомнением произнес Блэнфорд, — но то, что мамочка безгранично меня любила, сущая правда. Итог: я писал благостные стихи в стиле Морриса.[37] Но очень скоро образумился. Правда, от этого мало что изменилось, — мы оба влюбились в Ливию, но только я был очень легкой добычей; естественно, из-за

---

[37] Примечания: 37

Имеется в виду поэт, художник, теоретик искусства Уильям Моррис (1834–1896). Для литературного творчества Морриса характерна романтическая стилизация.

моей тайной влюбленности в Ту.

Когда же подошел ваш черед, вы оказались менее уязвимы, вас ведь не баловали в юности, и вы сумели с похвальным юмором преодолеть катастрофу. По крайней мере нашли в себе силы, стоя на Мосту Вздохов, громко вопить, размахивая палкой: «Спаси меня, Пиа, спаси! Сейчас меня смоет с кормы, как Лорела и Гарди![38]» Я бы на такое никогда не решился. Меня занимало другое — как переполнявшие меня мысли выразить одной емкой метафорой. Тогда я уже уяснил нечто конкретное: просто искусство вызывает легкое волнение, а от великого — кружится голова, оно благотворно. Я старался внушить это вам с помощью разных людей, чтобы в ваших сочинениях появились энергия и ирония. Но поскольку человеческое сознание искажается в процессе наблюдения, то мы с вами, увиденные третьим человеком, выглядим как карикатуры друг на друга. Не слишком ли мы пылко обмениваемся разнообразными ностальгическими воспоминаниями о нашей дружбе?... Точно любовники, обсуждающие былую страсть, которой, возможно, никогда не существовало. Два поэта, щедро

[38] Примечания: 38

Стэн Лорел и Оливер Гарди — американский комедийный Дуэт, особенно знаменитый в 1930-х годах.

одаривающие друг друга ракушками каури, как африканцы, вместо настоящих монет. Пока образы не заставляют их очнуться. Робин, прежде чем покорно убить себя, вы написали на полях незаконченной рукописи — поэмы «Tu Quoque»: «У меня есть груди, как у Тиресия,[39] который всё видел, все испытал, и раздвоенный хвост в форме громоотвода. Ну, и копыта».

Блэнфорд услышал грохочущий смех Сатклиффа и хруст чипсов на фоне хриплого кашля Тоби и женского голоса. Он никак не мог представить лицо женщины, потому что пока ее не придумал. Еще успеется, подумал он. О Боже! Писатели!

— Тоби сочиняет вам некролог для «Тайме», — сказал Сатклифф. — Знаете, он подрабатывает на кладбище, пишет к сроку нужные тексты. В некрологе есть фраза, которая вам понравится: «Говорят, что, будучи богатым, он дважды отказал ордену Чертополоха[40]».

— Деньги дали мне книги, путешествия и возможность уединения. В любом случае, никому еще не удавалось быть лучше, чем он есть на

---

[39] Примечания: 39

В греческой мифологии прорицатель, по воле богов на семь лет был превращен в женщину. *(Прим. ред.)*

[40] Примечания: 40

Шотландский рыцарский орден.

самом деле. О чем еще вы хотели бы узнать, если я оживлю вас?

— Узнать о Ту; о Ливии; об их брате Хилари и о Сэме. Об озере и о Ту-Герц, и о прежнем Авиньоне. О нас, о нас настоящих.

— Тогда позвольте задать вам один вопрос, — холодно произнес Блэнфорд. — Насколько реальным вы себя ощущаете, Робин Сатклифф?

— Я постоянно об этом думаю, — помолчав, ответил его единственный друг. — А вы?

— Вы хотите знать о своей юности? Естественно, я отдал вам свою, ведь мы примерно одного возраста.

— Но выросли в разных слоях общества.

— Правильно, и все-таки мы ровесники, а возраст — это состояние ума. В двадцать — уж во всяком случае.

— Расскажите поподробнее, тогда я смогу действовать.

— Отлично.

* * *

Блэнфорд закрыл глаза и позволил воспоминаниям унести его в далекое прошлое.

По-видимому, был последний триместр в Оксфорде, и Хилари пригласил обоих попутеше-

ствовать с ним в летние каникулы по Провансу. Ни он, ни Сэм прежде не были знакомы с его двумя сестрами, Констанс и Ливией. Собственно, им о них вообще ничего не было известно. Совсем недавно юная Констанс унаследовала от престарелой тетушки небольшой шато Ту-Герц — в южной части Воклюза, неподалеку от Авиньона. Естественно, все звали ее Герцогиней Ту. Много раз дети, особенно когда были помладше, проводили у тетушки каникулы; но, постарев, она стала несколько эксцентричной, а потом и вовсе сумасшедшей; превратилась в затворницу, заперла ворота и перестала заботиться о доме, совершенно все забросив. Дождь и ветер были лучшими помощниками ее равнодушия; как-то выдалась очень снежная зима, черная черепица на крыше не выдержала, и снегом засыпало комнаты с причудливыми круглыми слуховыми окошками. В неухоженном парке попадало много деревьев, которые перекрыли тропинки и разрушили беседку. Когда-то ухоженные зеленые лужайки теперь были изрыты кротами, и повсюду шныряли зайцы. Все здесь питались, в основном, тушеной зайчатиной.

Хилари, надо отдать ему должное, честно предупредил о возможных трудностях; однако

перспектива погреться на южном солнце и попить хорошего вина перевесила все сомнения. А самое главное — они были в ту пору молоды и здоровы. С Констанс им предстояло встретиться в Лионе, а Ливия собиралась присоединиться к ним попозже, уладив свои дела. Произнося имя Ливии, Хилари нахмурил брови, но с нежностью, как будто его что-то беспокоило в ее жизни. При всей его глубокой искренней любви к Ливии чувствовалась в его отношении некая отчужденность, словно он не совсем понимал ее, не то что Констанс. Судя по его словам, нрав у Ливии был дикий и непредсказуемый, Констанс же отличалась благоразумием, и на нее можно было положиться. Позднее выяснилось, что это в принципе верно, когда все про них стало известно — что именно, неважно… Короче, Ливия теперь постоянно жила в Германии.

Поскольку им посулили жизнь, лишенную комфорта и благ цивилизации, то в Лион было заранее отправлено весьма основательное лагерное имущество. Массивные раскладушки, пробковые шлемы, спальные мешки, москитные сетки… полная нелепость, ибо это годилось разве что для сафари — где-то, где еще есть львы, или для восхождения, скажем, в индийских Гималаях.

Никто из них толком не представлял, что такое старый Прованс, поэтому не стоит слишком строго судить их за промахи.

Эпоха, которая породила их, сейчас давно забыта; в ту пору мир, едва оправившийся от одной войны, пытался собраться с силами в преддверии неизбежной второй. Лишь благодаря юным летам, им удалось не угодить в окопы — в 1918 году все они еще не достигли призывного возраста. Правда Сэму почти удалось прибиться к армии, но его разоблачили и отправили обратно в школу; а потом он поступил в Оксфорд, где мы трое стали неразлучными друзьями, хотя были очень разными. Главным в нашем маленьком сообществе был Хилари, поскольку казался нам самым опытным и к тому же бесспорным заводилой — светловолосый, высокий, с льдисто-голубыми тевтонскими глазами. У Сэма волосы напоминали паклю, он был коренастым и слегка неуклюжим. Я был… каким же был я, Обри Блэнфорд? Надо подумать.

Кажется, я был довольно медлительным. Сэм занимался боксом, Хилари — греблей, а все вместе мы иногда ездили верхом и, при случае, охотились с собаками, не соблюдая прежних обычаев.

По сравнению с ними я был менее подвижным, предпочитал сидячий образ жизни, из-за плохо-

го зрения атлет из меня вышел неважнецкий, правда, фехтовал я неплохо и даже получил за это синий галстук.[41] Постуайльдовский[42] декадентствующий Оксфорд больше не был местом, охлаждавшим мозги — напряжение, стрессы военных лет все еще не отпускали нас, ибо многие из тех, кто побывал в кровавой бойне, в 1918 году, вернулись в университет заканчивать прерванную войной учебу. Эти парни были дикими, как чужеземные варвары, какими-то издерганными.

Однако требуются определенные усилия, чтобы верно описать ту эпоху, уже основательно забытую; ее ценности и обычаи как будто спрятаны в самые дальние закоулки времени. Помните тот мучительный «переходный возраст»? Новый мир был жестоким и наглым, а старый был поражен анкилозом.[43] Все, кто уцелел после войны, жили, будто в преддверии ада. Интеллектуалы, скажем, Анатоль Франс и Шоу, были на пике славы; Пруст, несмотря на награды, еще не завоевал широкую

---

[41] Примечания: 41

Цвет Оксфордского университета — темно-синий.

[42] Примечания: 42

Имеется в виду поэт, писатель, драматург Оскар Уайльд, любивший шокировать окружающих.

[43] Примечания: 43

Анкилоз — неподвижность суставов *(мед.)*.

публику. Генри Джеймс versus[44] Уэллс.

Неужели я родился стариком? Пожалуй, у меня не было нормальной юности — моя юность началась в Оксфорде, когда я познакомился с Хилари. Он оказался самым искушенным из нашей троицы, исключительно по воле случая. Отец у него был дипломатом, но всегда возил детей с собой, отправляясь на новое место службы. Этот чопорный пожилой джентльмен был ярым приверженцем старины, и, где бы он ни был, везде нанимал учителей, которые обучали местному языку членов семейства. Таким образом Хилари и его сестры стали полиглотами и чувствовали себя, как дома, в местах, которые для меня были полумифическими — Центральная Европа, например, или Балканы, Румыния, Россия, Греция, Аравия… Правда, мы с Сэмом немножко говорили по-французски и по-итальянски, да еще кое-как по-немецки. Хилари же «владел» (во французском смысле этого слова) тремя языками, и еще на четырех довольно свободно изъяснялся. Эти навыки помогли ему добиться отличных результатов в Оксфорде. Занимался он археологией,

[44] Примечания: 44
Против *(лат.)*.

его кумиром был Эванс,[45] его заветной мечтой были раскопки лабиринта в Гортине,[46] который все еще не нанесен на карту из-за его большой протяженности.

А Сэм? В глубинах моей памяти сохранилась такая картинка: разлегшись в высокой траве на краю крикетного поля, он грызет яблоко и хохочет — то ли над романом Вудхауса, то ли над романом Дорнфорда Йейтса. Не забывайте, мы ведь только что закончили школу, отчего даже унылый, хотя и очень жесткий Лондон манил нас, как мечта. Париж был Вавилоном. Честолюбивые замыслы Сэма были предельно четки и просты: забраться в одиночку на Эверест, а на обратном пути мимоходом спасти прелестную блондинку, заточенную в башне неким волшебником и, разумеется, на ней жениться. Потом он был не прочь попутешествовать с ней, переодев ее в костюм пажа, и стать одним из рыцарей Круглого стола. Очевидно пагубное влияние Мэлори на

---

[45] Примечания: 45

Эванс, Артур (1851–1941) — английский археолог, инициатор раскопок дворца в Кносе (о. Крит), имевших огромное значение для исследования минойской (по имени легендарного царя Миноса) культуры. *(Прим. ред.)*

[46] Примечания: 46

Гортина — древний город на Крите, где, по преданию, царь Минос велел построить подземный лабиринт для человекобыка Минотавра. *(Прим. ред.)*

неокрепший ум. Я же хотел стать историком — в то время у меня не было ни малейшего стремления к этим рабским цепям к бумаге и чернилам. Я представлял себя автором какой-нибудь очень умной книги, посвященной некоторым проблемам средневековой истории, и стипендиатом Уодема,[47] что-то в этом роде. Как вы понимаете, самым умным из нас был Хилари со своим, как он говорил, «минойским уклоном» — ведь его планы и проекты открывали ему мир Европы. Я прав?

— Думаю, да; однако ваше, так сказать, публичное разоблачение скучновато — очевидно, зануда-историк еще не совсем погиб в бедняжке Обри. Я бы повернул по-другому.

— Как же?

— Я бы перечислил другое: форменные студенческие галстуки, тяжелые шерстяные шарфы, оксфордские портфели, «фирменные» блейзеры колледжей, высокомерные Брау a la Т. Э. Лоуренс,[48] гоночные автомобили со стянутыми ремнем капотами, «Лагонда», «Бентли», «Амилкар»... Юные девушки приходили и уходили, а

---

[47] Примечания: 47

Уодем — колледж Оксфордского университета; основан в 612 г. *(Прим. ред.)*

[48] Примечания: 48

Лоуренс Т. Э. (1888–1935) — английский разведчик на Востоке, в СССР.

женщина-вамп с ее шляпкой «колокол» и мундштуком оставалась неизменно притягательной.

— А я забыл все это.

— Без подобных мелочей не может быть правдивой картины.

— И без Лондона тоже.

— Ну да. Почти все местечки, куда мы забредали, уже исчезли — стерты с лица земли, скажем, бомбежками?

— Как «Кафе де Пари»?

— Да. «У Сиро», «Синий Питер»,[49] бар «Критерий», «Квалико», «Домик камнетеса», «Гриль у Маннеринга», «У Пэтона», «Лебедь»…

— Отлично, Робин, но тогда не надо забывать и ночные клубы «Мешок гвоздей», «Голубой фонарь», «Черная дыра», «В гостях у Кики»… Похоже, мы совсем не спали.

— И музыку из шоу «Шарло — забавная мордашка» («Кто украл мое сердце?»), или божественного Хатча, ласкающего клавиши и напевающего в своей как бы отстраненной манере «Вся наша жизнь — тарелка вишен».

— Незадолго до рассвета возле углового ресто-

---

[49] Примечания: 49

Синий Питер — так называется синий флаг с белым квадратом, который поднимают перед отплытием судна. *(Прим. ред.)*

рана «Лайонз»[50] — все с желтыми измученными лицами, проститутки, студенты, сторожа и рабочие, отправляющиеся на первую смену. Первые газеты на промозглой улице. Возвращаемся, когда беспокойные сумерки уже отстираны до белизны, едем через весь Лондон — по Вестминстерскому мосту — в недобрый пригород столицы; не исключено, что с воспоминанием о проститутке и всегдашним страхом перед болезнью. Женись или прижигайся, прижигайся или женись.

— У меня было и то, и другое.

— И у меня. И у меня.

* * *

Итак, мы собрались у скрытого туманом лионского стапеля, где с нетерпением ждали Констанс и грузили наше нелепое походное снаряжение на «Мистраль», на большую баржу с емким трюмом и достаточно просторной палубой, чтобы принять на борт несколько пассажиров. Груз в трюме был уже утрамбован и покрыт брезентом, образовав некое плоское пространство для отдыха и трапез; ночи мы собирались проводить на берегу.

---

[50] Примечания: 50

«Лайонз» — название однотипных фирменных ресторанов, кафе и булочных-кондитерских. *(Прим. ред.)*

Пока мы возились со своим скарбом и проверяли оборудование — можно подумать, что мы собрались на Северный полюс, — Констанс появилась; а вместе с ней неожиданно пришло лето — я имею в виду ощущение лета, его особую ауру. А между тем мы все еще торчали в полосе, где растут шелковицы, во взъерошенном Лионе с его расползшимися во все стороны пригородами, вдали от пыльных пустошей, оливкового масла и анисовой водки. Но с Ту нетрудно было представить, каково это, когда солнечный свет просачивается сквозь соломенную шляпу и падает на бронзовые плечи и шею, создавая тень, темную, как спелые сливы. Из-за излишка солнца и соленой воды светло-пепельные волосы стали жесткими и одновременно шелковистыми. На изысканно сухощавых, но сильных плечах безупречная шея, барвинковые глаза, на свету менявшие цвет на зеленый, глаза, полные любопытства и смеха. Купаясь, она порезала ногу, и теперь прихрамывала — из-за повязки. На нас она смотрела без особого волнения или интереса, так мне казалось, но вполне дружелюбно, ведь мы были друзьями ее брата. Однако я сразу же почувствовал, что она разделяет его превосходство над нами — и отчасти, как я думаю сегодня, искушенность. —

Прошу меня извинить; поезд как всегда, опоздал. Наш капитан был мрачен и толст, и напоминал актера, — великий трагик, оставшийся не у дел. Фуражку старый морской волк носил немного набекрень, и щедр был невероятно. То и дело предлагал выпить по стаканчику крепкого вина — в качестве защиты от сурового ветра. Какая там суровость? Погода стояла прекрасная, старик явно преувеличивал. Мало-помалу почти до краев налитые стаканы «Кот дю Рон» развеселили нас; Констанс понемногу отхлебывала из стакана брата и в конце концов попросила разрешения надеть шорты — он с важным видом кивнул головой. Мы перемигнулись. Жена капитана предложила ей спуститься в небольшую каюту, где стояла птичья клетка и висело несколько старых картинок с видами Роны — сами виды были не такими уж старыми.

Мы уже готовы были отплыть в Арль, однако задерживались из-за парочки пассажиров. К счастью, они недолго испытывали наше терпение, зато долго-долго извинялись. Один был долговязым, беспутного вида парнем с желтоватой кожей и с длинными волосами, рассыпавшимися по воротнику пальто. Проскальзывала в его манерах царственная надменность, и много позже,

когда он встал на носу и запел арию из оперы Верди, мы, услышав его дивный голос, поняли, что перед нами звезда марсельской оперы. Его попутчик был немолод, с короной седых волос и очень напоминал церковного сторожа. У старика было живое загорелое лицо, он с несколько нарочитым изумлением смотрел по сторонам. Тем не менее сразу чувствовалось, что он по-настоящему образован, это было ясно не только по его поведению, но и по томику стихов, зажатому под мышкой, и по (надо же, лишь теперь вспомнил про нее!) золотой цикаде на лацкане пиджака. То есть он был членом знаменитого общества фелибров.[51] И еще чувствовалось, что наш капитан всем — и своей толщиной, и своим акцентом, и неторопливыми жестами — очень старику симпатичен. Теперь-то мне понятно почему. Оба были из Авиньона, куда мы как раз направлялись. Оттуда мы собирались на каком-нибудь наемном транспорте добираться в Тюбэн, если нас не встретит Феликс на пыхтящем консульском автомобильчике.

Вместо гудка раздалось шипение, потом рев, капли сгустившегося пара упали на трубу, и мы

---

[51] Примечания: 51
Фелибр — провансальский поэт, писатель *(фр.)*.

снялись с якоря, прежде чем успели это понять. Привольно разлегшись на просторной палубе, мы видели, как залитый солнцем окрестный мир сначала медленно, потом все быстрее стал поворачиваться и, наконец, исчез за кормой. Потом течение увлекло нас под высокий мост, где на фоне небесной лазури четко вырисовывались силуэты нескольких зевак. Констанс удобно устроилась на подушках, о которых позаботился галантный капитан, и, видимо, задремала, дав мне возможность хорошенько рассмотреть ее и еще раз поразиться удивительной красоте и сходству с братом. Великолепные светлые волосы на висках были более гладкими и блестящими, чем нити тутового шелкопряда; сон ее был легок, она чему-то улыбалась, возможно, какой-то приятной мысли или виду. Мне и в голову не могло прийти, что она так же застенчива, как и Хилари, столь прочной казалась ее выдержка нам, бедным островитянам, напичканным условностями и неодолимой почтительностью. Много лет спустя, когда я в письме припомнил нашу первую встречу, на ответной открытке было написано одно-единственное слово: «Застенчивость».

В позе спокойно спящей на палубе девушки на это не было и намека. Насколько я помню,

Хилари сразу же подружился со старым поэтом и забросал его вопросами о местах, мимо которых мы плавно проплывали по реке, неожиданно раздавшейся вширь, благодаря слиянию с зелеными водами Сены. Мне тогда вспомнился низкий голос учителя географии, когда он рассказывал о ней, легко касаясь большой, во всю стену, карты своей темной ротанговой тростью, которая изредка служила орудием суровых наказаний, что в ту пору считалось вполне нормальным в большинстве школ. Кстати, такие меры не причиняли вреда, наоборот, были весьма полезны в качестве отпущения грехов — ученик искупал таким образом вину и забывал о ней, едва сходили синяки. Сотни переписанных строк и сотни «Аве, Мария» ни в коей степени не могут сравниться с хорошей поркой.

То первое, такое заманчивое и рискованное путешествие на юг, к Средиземному морю, перепуталось в моей памяти с множеством других поездок, когда я проводил лето в Ту-Герц. «Рона впадает в Женевское озеро», — снова раздался в моих ушах басовитый голос учителя географии.

На этом месте воспоминания Блэнфорда были прерваны бухающим кашлем Сатклиффа, который затем хмыкнул и потянул носом, будто

что-то нюхая.

— Держу пари, я знаю, о чем вы сейчас думаете.

— Ну и о чем же?

Сатклифф сказал:

— О холодильнике центральной скотобойни в Женеве. Весьма экстравагантное местечко для наблюдения за красотами Роны. Именно туда притащила меня Пиа, чтобы сообщить о своей встрече с бедняжкой Трэш. Если вдуматься, лучше места не найти, самое подходящее. Она же огромная, эта скотобойня, и построена на берегу озера, помните? А у самой воды к ней притулился весь из стекла ресторанчик, где обедали тамошние работники. По-моему, этот ресторанчик они называли птичьей клеткой, он и в самом деле был очень маленьким. Естественно, главным блюдом там было мясо. Это Трэш выискала, когда ее послали заказать тушу для дня рождения одной старой американки — та намеревалась собрать у себя всех городских гомиков и лесбиянок. Огромные крутящиеся туши на огромных крюках придавали мясникам в окровавленных фартуках бравый и даже праздничный вид. Трэш пришлась им по вкусу и те, что помоложе, всласть с ней потешились, а потом пригласили в ресторанный

бар на стаканчик вина.

— Без этого приглашения, — продолжал Сатклифф, — вход в ресторан ей самой ни за что бы не найти: надо было проходить через длиннющий цех, так как наружная дверь, с улицы, обычно бывала заперта. Естественно, это место не было особо доступным, здесь, как правило, собирались мясники и их приятели. Однако кое-кому все же удавалось проникнуть в ресторан, особых строгостей тут не водилось. Итак, сижу я на высоком берегу и слушаю грустный монолог Пиа о ее страхах и раскаяниях; и еще о её любви ко мне, отчего мне приходится то и дело сморкаться, ведь ее слова травят мне душу, и вообще, ощущение такое, будто по сердцу ударили кувалдой. Обжиматься с парнем в заляпанном кровью фартуке — фу! На самом деле тискали Трэш, но теперь и Пиа захотелось последовать примеру своей наставницы негритянки. Ее откровения весьма меня расстроили (глупой девчонке понадобилось от меня «добро» и отпущение грехов, и при этом она твердила, что не может жить без меня, но я должен понять…). Меня до того взбесила ее глупая уступчивость темнокожей соблазнительнице,

проклятому суккубу[52] с нетрадиционными пристрастиями, что я выскочил на улицу и, схватив такси, помчался в отель, где жила Трэш, вознамерившись задать ей трепку. К счастью, в номере ее не оказалось, и я отправился гулять вокруг озера, понемногу успокаиваясь.

— Вот именно, к счастью, — ввернул Блэнфорд, — когда я схватил собачий ошейник и стал хлестать Ливию за очередную провинность, ее восторгу не было границ, сексуальному, разумеется. Рыдая от боли и благодарности, она бухнулась на колени и принялась лизать мне ботинки, шепча при этом, что отныне она — моя рабыня, рабыня душой и телом. И еще моя благоверная все время повторяла: «Ну почему ты не делал этого раньше?» Это было отвратительно.

— А что же породило скотобойный ресторан?

— Уж раз мне приходится вторгаться в заветные тайны Ливии, — это она, прототип Пиа, привела меня туда — то должен сказать, что она обожала запах крови и чистой воды, причем запах свежей крови. Он напоминал ей о первой менструации. Она была настолько невинна, настолько невежественна в отношении женской физиологии,

---

[52] Примечания: 52

Суккуб — в мифологии и фольклоре — дьявол в образе женщины, домогающийся спящих мужчин. *(Прим. ред.)*

что решила тогда: все, конец, сейчас она истечет кровью, подобно Петронию.[53] Ну и, естественно, после, поняв что к чему, очень горевала, ведь это было первое доказательство неотвратимой женственности, о которой она не желала даже думать, лелея в душе совсем другое. Беспредельно мучительное осознание того, заявила она с обычной своей витиеватостью, что она не настоящий бойскаут, а с маткой и влагалищем. Мой дорогой Робин, она не позволяла заляпанным кровью парням себя лапать, но мечтала об этом; только вместо молодого мясника представляла в своих грезах старика, похожего на ее отца. Когда мы сидели там, над водой, я увидел, как ее лицо неожиданно помертвело, и теперь передо мной был решительный упрямый матросик, вот тогда что-то погасло, как догоревшая свеча. Моя любовь, как подыхающая рыбина, всплыла на поверхность брюхом кверху.

…Под полом *нашей* птичьей клетки озеро вдруг сужается и, крепко стиснутое берегами, набирает скорость, будто учуяло Арль.

---

[53] Примечания: 53

Имеется в виду Петроний Арбитр (умер в 66 г. н. э.), римский писатель, автор романа «Сатирикон». По ложному навету был обвинен в участии в заговоре против императора Нерона и решил добровольно расстаться с жизнью.

Вода в канале была цвета темно-лилового аметиста, на грани синевы ультрамарина; а в середине — набухший бугорок, как мускул на предплечье, зеленый мускул воды, на вид куда более плотный и крепкий, чем гигантское тело реки, частью которого он был. Проследив за моим взглядом, Ливия сказала: «Видишь зеленую полосу среди темного? Это Рона — торопится к морю». Я слышу ее голос, я вижу реку, и тысячи мыслей переполняют мой мозг. Великие реки человеческой чувствительности пересекают джунгли, болота, леса исчезнувших континентов. Большие реки, например Нил или Миссисипи, перевозят людей из одного мира в другой. Пусть наша Рона меньше, но она такая же, и ее кузен Рейн такой же…

Ливия сказала мне, что как-то вечером она со своим любовником отправилась в Ла-Вилле,[54] и там старый мясник — копия ее папеньки, по их просьбе, стреножил корову, которую должны были забить, и быстрым движением перерезал ей горло, примерно так вскрывают конверт. Он держал корову за рога, хотя жертва даже не успела ничего почувствовать. Струя крови хлынула

[54] Примечания: 54
Парижский квартал.

в заранее приготовленные высокие стаканы для вина. И они пили ее под добродушным взглядом старика. Правда, потом им пришлось объясняться с полицейским, ибо они забрызгались кровью; было очень непросто убедить его в том, что пятна — не человечья кровь. Ну вам-то, Робин, теперь гораздо проще разобраться в отклонениях Ливии — вы же теперь доктор философии и психологии.

Мне всегда не давало покоя понятие так называемого «стабильного эго» — неужто такое существует? Старое определение этого зверя довольно примитивно, особенно для писателей, которые всегда норовят докопаться до причин тех или иных поступков. Вот и я, только напишу имя персонажа, и на меня сразу накатывает целый океан его возможных свойств, одно другого важнее и достовернее. Человеческая душа не имеет предела в разнообразии — у нее столько граней, что она может противоречить сама себе. До чего же бедна и жалка типология современной психологии. А ведь даже астрология, хотя ее мало кто признает наукой, старается охватить как можно больше человеческих свойств. Вот почему, Робин, наши с вами романы тоже так бедны. Было много Ливии, и некоторых я любил

и буду любить до смертного часа; другие же отвалились от меня и высохли, словно мертвые пиявки. Были и личиночные формы в трактовке Парацельса, тени, духи, вампиры, призраки. Когда она окончательно ушла от меня, то прислала издевательскую телеграмму, которая, возможно, вас позабавит.

Даже Фрейдов вонючий компот
Тебе облегченья не принесет.

* * *

— Однако письмо, — продолжал Блэнфорд, — в котором была высказана мысль о моей неистребимой избыточности, пришло из Гантока, и она озаглавила его «На пути в Тибет». Длинное, путаное и бессвязное, оно до того расстроило меня, что я разорвал его. Но кое-что мне запомнилось. Она писала: «Ты не можешь представить, что значит оказаться на земле, где прекрасная шестирукая Цунгторма поднимает вверх нежные, как лепестки лотоса, ладони». Эта фраза была камешком в мой огород, в буйный сад моего литературного стиля — почему не шестирукие души? Но возможно ли, подумал я тогда, честно показать множество свойств и при этом сохранить хотя

бы относительную целостность персонажа? Да, я мечтал о книге, которая, будучи многоплановой, станет органически целостной. Части тела убитого Осириса, разбросанные по всему миру, в один прекрасный день непременно должны были соединиться. Из яйца грядущего вылупилась эта смуглая и серьезная девица, которая однажды с самоуверенным презрением непременно произнесет: «Любому ясно, которую из нас он любит». Подобное становится понятным лишь спустя многие годы, при других обстоятельствах и даже, может быть, в другой стране, когда лежишь на пляже прижимаясь щекой к теплой гальке. «Что ты сделала?» — спросил я у Констанс. И она ответила: «Я вдруг поняла, что должна бежать от нее, она всегда будет заслонять мне свет, мешать моему росту. Я крепко обняла ее, и ей стало нечем дышать».

В то время Ливия была смуглой и очень худенькой — полная противоположность своей блондинке-сестре. У нее был прелестный овал лица и зеленые глаза, а черные мягкие волосы, пышно вздымаясь на макушке, падали на плечи обильными локонами и кольцами, напоминая о горгоне Медузе — змея, в данном случае самая подходящая метафора. Красота Ливии не броса-

лась в глаза, она открывалась неожиданно. Это естественно, ведь она сутулилась, постоянно держала руки в карманах и не выпускала изо рта сигарету. Так как мы были юношами с традиционным воспитанием, то нас это здорово шокировало. Однако меня совершенно покорил ее ум и четкая ясная речь. У нее был глубокий голос, а в глазах иногда появлялось необычное выражение напряженности; даже неистовости, отчего она становилась похожей на рыцаря, глядящего в прорези на шлеме. Будучи совершенно неискушенным, я не распознал, что это оборонительная позиция, проявление ее воинствующей маскулинности. Однако стоило ей взглянуть на Констанс и увидеть, как мы смеемся или оживленно болтаем, иное, куда более задумчивое и *расчетливое* выражение возникало в зеленых глазах. Ей была невыносима наша пылкая дружба, тогда еще свободная от Далеко идущих помыслов.

Ливия целенаправленно решила за меня взяться, сыграть на моей явной неопытности. Задача была не из трудных. Позднее, обдумывая то, как все обернулось в нашей с ней судьбе, я вдруг понял, что, видимо, зря подозревал Ливию в столь жестокой расчетливости; она, в сущности,

была лишь инструментом, регистрирующим электрические импульсы, которые посылает подавленная детская ревность. Махать руками после драки — одна из специфических черт стареющих писателей. Ерунда! Ерунда! Конечно же у нее не было выбора, ни у кого из нас не было. Младшую сестру завораживала несравненная красота старшей, ее блеск; и, должен добавить, красота и блеск брата тоже. Ведь и Хилари был частью созвездия. Кажется, его тоже беспокоило мое стремительное сближение с Ту, и это еще мягко сказано. Впрочем, когда брат и сестра близки, они, естественно, боятся соперника в лице жены или мужа, который неизбежно разлучит их. Ну а Ливия, та была прирожденным конспиратором. Решив не допустить развития наших с Констанс отношений, она тотчас взялась за дело — и успешно, как вам известно; я был пленен этой быстрой, как ящерица, девушкой, которая льстила мне до того откровенно, что не понять этого мог только я — в те годы. Итак, я был слишком зажатым из-за бремени всяких запретов, и ее похвалы казались мне поистине манной небесной.

Ту делала первые шаги в изучении медицины, оказавшиеся мучительными, и уже тогда она решила бросить учебу. Грубые шутки сокурсников,

когда они брали в руки фрагменты человеческих тел, были отвратительны. Но они высмеивали свой страх смерти, тайный ужас, возникавший, как только им приходилось резать неопознанные трупы, трупы утопленников, бродяг, самоубийц. Бесформенную, вздувшуюся, искореженную до неузнаваемости плоть…

И еще этот запах формалина, от которого невозможно было избавиться даже в продуваемой насквозь школе! Он пропитывал одежду, фартуки, юбки, белые юбки. Полностью преодолеть отвращение не удавалось, хотя она очень старалась. С удовольствием она посещала только семинары преподавателя анатомии, до того влюбленного в свой предмет, что он и ее заражал своим азартом. Однажды после особенно тяжелой аварии на Гауэр-стрит она видела, как он поднял отрезанную руку, украдкой завернул ее в вечернюю газету и торопливо понес в лабораторию, находившуюся неподалеку. Возможно, у нее теплилась надежда, что менее жестокая фармакология подойдет ей больше, чем терапия и хирургия? И она тянула с решением.

Когда мы с Ливией остались наедине, чтобы поплавать в одном из многочисленных горных озер возле Пон-дю-Гар, тогда как остальные

предпочли карабкаться на гигантской акведук, я будто увидел совсем другого человека — не менее трогательного и притягательного, чем ее сестра, но созданного из более твердого и надежного материала. Это было очень привлекательным, ее приземленность, и потом, когда я целовал ее, губы, прижатые к моим, казались прохладными, предостерегающими и сдержанными. И ее руки всегда были холодными — теперь я готов приписать это чувству вины из-за ее предательства; но тогда ничего подобного не приходило мне в голову. Ливия была мечтой, и я не раскаиваюсь, даже теперь.

Сатклифф откашлялся и сказал:

— У Пиа нет решительности Ливии, почти нет, и ее проникновенного голоса. Ее собственный мелодичный контральто как нельзя лучше подходит для пассивной роли, которую вы ей предназначили — и с которой лично я никак не могу согласиться. Не представляю Ливию плачущей. Гуляет она всегда в одиночестве, или в одиночестве сидит поздно вечером в кафе, просто сидит, уставившись на свою чашку. И губы у нее, когда поджаты, кажутся тонкими — вы забыли об этом сказать; а глаза горят мрачным огнем. Мне нравится. Вы не очень-то удачно соединили ее с

сестрой, чтобы создать Пиа, впрочем, это скорее сделал я, но следуя наметкам из вашей черной записной книжки, или из зеленой. Едва Ливия оказывалась в кухне, в глазах у нее появлялось нечто вроде насмешливого презрения; а вот у Констанс лицо вспыхивало от радости — как у музыканта, неожиданно обнаружившего отлично настроенный концертный рояль.

— Вся проблема в том, что вы всегда думаете одномерно, в духе старых писателей. Едва ли вам удастся придумать серию книг со сквозными персонажами, которые представляют все человечество и как бы иллюстрируют идею реинкарнации. В конце концов, и мужчины и женщины существа многомерные, полифонические. Им известно, что в прошлом у них были другие жизни, вот только неизвестно, кем они были; всё, что они ощущают, — это груз кармы, поэзию прежних воплощений, зафиксированных в сумраке былого.

— До чего же мне надоели все эти рассуждения о

времени.

— Мне тоже, но ничего не поделаешь — возраст. Рано или поздно мы приходим с ним в согласие, ведь мы знаем, что календарное время скорее

обычай, чем истина. Время — это одна большая простыня. Точно так же, как болезнетворные микробы, скажем, туберкулеза, затаились внутри нашего организма в ожидании благоприятного момента, чтобы атаковать, так и время… Его личинки уже внедрились в плоть и терпеливо ждут предназначенного вам часа смерти, чтобы обрести волю. Пиа становится Ливией, Ливия будет Пиа, какое это имеет значение? Где-то в тайниках времени им дано знать друг о друге и о своем происхождении.

— Вы бы могли углубиться еще дальше?

— Естественно.

— Что же мы тогда, если не живущие одновременно художники, «симметрично погибающие», если воспользоваться выражением мадам де Сталь?

— Но ведь и Ливия — даже Ливия иногда плакала, хотя вам трудно в это поверить. В первый раз мы любили друг друга почти детьми среди рододендронов Пон-дю-Гар, когда она принялась разрушать мое восторженное отношение к Ту. И даже тогда она была опытной женщиной, королевой ринга, подстрекательницей — я покорно подчинялся, как пьяный. Только пережив не одну дюжину любовных приключений, я научился

распознавать, когда твоя дама спит с тобой, на самом деле воображая кого-то другого, а то и себя самое. Теперь меня так просто не проведешь. Что было потом? Потом она подошла к дереву и прижалась лбом к стволу, и у нее вырвалось короткое сухое рыдание. Оно не предназначалось для чужих ушей и потому особенно поражало, ведь даже уступив этой своей слабости, она не утратила сдержанности. Прежде чем я успел нежно обнять ее за плечи, от слез не осталось и следа, словно их никогда не было. Тогда мне и в голову не пришло, что это могли быть слезы раскаянья — ведь любила-то она Ту, и ей противно было изменять. Ливия так сильно любила Ту, что не могла уступить ее мне. Но понял я это лишь много лет спустя. И, размышляя о случившемся, возможно, сожалея, я невольно думал, что должен быть ей благодарен. Ибо взяв меня в плен, она помешала мне обручиться с Ту, ведь эта любовь стала бы преждевременной, эфемерной. Если я был недостаточно опытен для Ливии, то уж для Ту тем более. Наверно, это все равно, что учиться вождению на старом, во всяком случае, не новом автомобиле, прежде чем приобретать новую и дорогую машину? Не знаю. Но думаю, мне повезло с Ливией — хотя перемена возлюбленной

повлекла за собой многие другие, в первую очередь в отношении ко мне Ту. Однажды я спросил ее, была ли она тогда влюблена в меня, и она написала: «Да, скорее всего, хотя вряд ли я тогда это понимала. Меня мучила какая-то странная боль, определенно связанная с вашим присутствием. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Диагноз я так и не смогла себе поставить, но что-то вроде ожогов третьей степени. Но, как видите, я до сих пор жива, счастлива и полна энергии».

Позже, гораздо позже, увлеченная новой венской наукой, Ту смогла более точно определить проблемы сестры, но это уже, конечно, абсолютно ничего не меняло. «Вы должны относиться к ней с большим сочувствием, потому что она принадлежит к многочисленной армии раненых в битве за жизнь. Наша мать бросила нас и умерла вдалеке, в чужой стране, ни разу не поинтересовавшись тем, как нам живется, не нуждаемся ли мы, да и вообще, живы ли, ведь была война. У нас есть право на печаль и на страх. Ливию вынудили стать мужественной, чтобы этим невидимым панцирем обороняться от жизни. Ей постоянно приходится быть в нервном напряжении, чтобы не выпускать наружу мужчину, прячущегося внутри. Наверное, она понимает это. В любом

случае, сейчас уже ничего не изменишь — она такая, какая есть, словно неправильно сросшаяся кость. Надо бы сломать ее и срастить заново, но когда имеешь дело с человеческой личностью, это невозможно. Опасно даже пытаться, тем более опасно использовать приемы психоанализа. Можно довести ее до сумасшествия».

Разумеется, когда я размышлял о самой Ту, то невольно себя спрашивал: а почему же она осталась вполне нормальной, несмотря на все эти разрушительные катаклизмы, уготованные сестрам судьбой? Что и говорить, в этом пункте фрейдизм, самое последнее ее увлечение, потерпел фиаско. Если у двух людей одинаковое окружение и одинаковые обстоятельства, то почему один болен, а другой здоров? Это и есть одна из главных и досадных загадок, а уж в точности диагноза никто не сомневается. Я долго размышлял на эту тему, но не смог прийти к определенному заключению, однако факт оставался фактом: Ту — женщина, и ей присуще бесстрашие женщины, полностью осознавшей свою суть. Каким-то непонятным образом она преодолела ненависть к тени своей матери, ненависть, которая так сильно изуродовала Ливию.

Однако это было намного позже, а в прошлом

мы скользили, освещенные солнцем, под мостами Лиона, дожидаясь момента, когда река станет шире, и мы окажемся в царстве известняков, изумительно разнообразных. И уже не было ни единой минуты, чтобы какое-нибудь новое диво не привлекло нашего внимания. Я говорю не только о розовых, обожженных солнцем городках с замками и крепостными стенами, неизменно будоражащими воображение. Эти городки были как знаки препинания в благородном поэтическом произведении — скажем, в оде Пиндара.[55] А самое главное, мы знали, что отдаляемся от севера и приближаемся к Средиземному морю; и пышные шелковицы, которыми знаменит Лион, вскоре должны были уступить место более строгой декорации из олив, раскачивающихся и серебрящихся на холодном ветру — это и есть мистраль, который будет сопровождать нас до конца; так что лучше не открывать рот, чтобы не наглотаться леденящего ветра. Прощайте, жирные сливки и сливочное масло! — мы приближались к более бедному, более благоче-

[55] Примечания: 55

Пиндар (ок. 518 — (442–438) гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных песнопений, гимнов, хвалебных песен в честь победителей на Олимпийских и других спортивных играх. Поэзия Пиндара отличается сложностью строфической структуры.

стивому меню с оливковым маслом и прочими дарами афинского дерева. Мы двигались в сторону моря — с синими телами купальщиков в заливе и синими волнами, барабанящими в скалы и *calanques*[56] Кассиса. Мы уплывали от ликеров, устремившись в край вездесущей анисовки благословенного юга.

Один за другим Рона являла нам свои исторические памятники и пьяные городишки, уютно устроившиеся между виноградниками, купающиеся в безмятежности сонных дней и сонной тишины, которую нарушают только «чик-чик» секаторов в виноградниках, — священное обрезание, коим завершается элегическое лето Прованса. Названия пришпоривали воображение и заставляли рыться в старых путеводителях, откуда мы выуживали хоть какие-то крохи знаний. Вот Вьенн, например, стал наследником разоренной Морны, чье название как будто отзывается печалью старых войн и забытого хлебопашества; тогдашний Вьенн с затейливыми тропами — нет даже намека на классическое великолепие хро-

[56] Примечания: 56
Залив, небольшая бухточка *(фр.)*.

ник. Наверно, он была Борнмутом[57] древнего мира для дипломатов, выходивших на покой; самым знаменитым был Понтий Пилат, который мирно доживал здесь свои годы после того, как покинул Ближний Восток с его обременительными проблемами и глупыми проповедниками. Мы выпили в его честь розового вина. Река бежала через запоры и заграждения, причем каждый раз сторож на своем насесте в стеклянной будке обязательно нас допрашивал, и только потом открывал шлюзовые ворота, пропуская дальше.

Когда Вьенн исчез за одним из размашистых поворотов реки, Хилари внимательно посмотрел назад и сказал: «Там были уничтожены тамплиеры, так сказать, официально». Он говорил так, словно это был невероятно важный факт, однако в то время я почти ничего не знал о тамплиерах — лишь общеизвестные сведения о скандале, начатом в давние-предавние времена королем Франции и законченном извергами из Инквизиции, прятавшими свои лица под капюшонами. Хилари все смотрел назад, о чем-то задумавшись. Но тут проснулась Констанс и вскоре совершенно очаровала старого фелибра. Воспламененный ее

[57] Примечания: 57

Борнмут — климатический курорт у пролива Ла-Манш (Великобритания)

красотой и вдохновленный тем, что она немного понимает по-французски, авиньонский поэт предложил нам послушать стихи, и его улыбающееся лицо покрылось тоненькими складками, такие получаются, когда сминаешь дорогой носовой платок. Впервые я услышал, как говорят в Провансе: казалось, между слогами в словах набит мох, а мягкая ритмичность чем-то напоминала гэльский язык; напевные строки будто вторили изгибам великой реки, приветствуя неожиданно возникающие узкие притоки и загадочные острова, поросшие осокой и плакучими ивами; острова эти выплывали навстречу нам из туманно-голубой дали или из-за сочной зелени виноградников. Время от времени поджарый, как волк, маэстро, стоявший на носу судна, разражался громкой трелью или брал потрясающие верхние ноты, оглядываясь после каждого пароксизма вдохновения, будто в ожидании бурных аплодисментов. Довольно скоро мы сообразили, что имеем дело с виртуозным алкоголиком, любителем *pastis*.[58] Ну и что из этого? Он был в великолепной форме.

В час дня мы распаковали корзинки с едой

---

[58] Примечания: 58
Анисовый ликер *(фр.)*.

и расположились на палубе, оба француза с удовольствием присоединились к нам. Перед отплытием Хилари сделал очень удачные покупки, вот что значит, бывалый путешественник… Ни до, ни после этого плаванья французские деликатесы не казались мне такими вкусными, сдобренные солнечной влагой — великолепным вином. Даже свежий хлеб был лакомством. Вот он, Прованс! Безоблачное небо, высокие платаны с пятнистой, будто в веснушках, корой, сверкавшей как форель, когда в зеленой речной воде отражались их стволы. Плакучие ивы в эффектно запахнутых плащах из серебристых листьев напоминали актеров, игравших великие роли. Чем ближе мы приближались к Балансу, одолевая шлюз за шлюзом, тем сильнее становился запах пыли, жимолости, вьюнка. В этих краях все уникально; маленький ослик — единственный такой во вселенной, само ослиное совершенство — пробежал по тропинке, навьюченный полными корзинами, поднимая за собой шлейф пыли. В Турноне наш поэт принялся вспоминать случаи из истории виноделия — а на берегу, подобно драгоценным камням, сверкал виноград, из которого делают лучшие вина — «Кот Роти», «Сен-Жозеф» и уйму других. Кое-какие мы пробовали, а потом

возвращались на борт, полные сил, в боевом настроении, готовые даже подпеть нашему голосистому попутчику, продолжавшему радовать нас оперными ариями. Солнце жгло, как раскаленная жаровня. Жена капитана раскрывала зонтик — когда мистраль давал нам передышку — и склонялась над вышивкой. Мы взмывали вверх на волне, разворачиваясь на очередной широкой излучине Роны, и делали почти двадцать узлов, насколько я мог судить, наблюдая за разбегающимися за кормой волнами. В Кондрё согбенный старик в капитанской фуражке помахал нам бумажным флагом, очевидно кого-то узнав. Мы тоже помахали в ответ.

В тот день мы прибыли в Баланс — уже в сумерках, так как наш капитан не терпел спешки, и мы потеряли кучу времени в Турноне. Как во сне, мы сошли на берег, разморенные жарой и вином, и очнулись, грязные и немытые, в маленьком отеле. Валанс разочаровал нас, несмотря на флер наполеоновского величия, мы очень скоро вернулись с экскурсии и улеглись спать, так как капитан предупредил, что отплываем совсем рано.

Однако, явившись на рассвете — прохладном и жемчужном — мы обнаружили, что капитан,

отчаянно ругаясь, возится с мотором, категорически не желавшим заводиться. И тут, ко всеобщему изумлению, Сэм встрепенулся и после недолгого, но тщательного изучения внутренностей механизма, поставил диагноз и назначил лечение, после чего всё тотчас заработало. Итак, мы продолжили наше путешествие по Роне, сотрясая небеса ариями из Верди и полуукачанные звучными виршами Мистраля.[59] Тем не менее, мы потеряли время, много времени, и только поздно вечером, сделав очередной поворот по воле великой реки, вдруг стали очевидцами замечательного, поистине завораживающего зрелища, благодаря полной луне, во всей своей красе вдруг поднявшейся над крепостными валами Авиньона. Высоко над городом находился Роше де Дом — висячие сады разоренного Вавилона. Похоже, что судьба специально задержала нас, чтобы вознаградить столь эффектным въездом в город, который потом стал так много значить для нас — ничего подобного с нами больше никогда не случалось. Теперь, оглядываясь назад, я пытаюсь восстановить то первое впечатление: волшебный силуэт города, освещенного таинственным

[59] Примечания: 59

Фредерик Мистраль (1830–1914) — известный провансальский поэт, возглавлял движение фелибров.

лунным светом, струившимся со стороны Альпия. Это и теперь лучшая точка обзора — с берега реки, отъехав подальше; и тогда хорошо виден знаменитый разрушенный мост, похожий на указующий перст, вскинутый над руслом реки, и маленькая часовня Святого Николая с ярко горящими светильниками, благословляющими мореплавателей. Мы почти час скользили между тихими островами и опустевшими каналами, глядя, как пики Севенн, напоминающие голые мачты, высятся на фоне ночного неба. Еще и это неожиданное колдовство. Позже, хорошенько изучив город, мы пришли к поразительному выводу: красив только его профиль. Вообще-то Папские дворцы смахивают на чудовищные сундуки, поразительно уродливые. Все здесь строилось не ради красоты, а исключительно ради безопасности сокровищ, хранившихся в утробе этих зданий. Однако надо хорошенько побродить по городу, чтобы это понять. Собор Маммоны. Именно здесь наша иудео-христианская культура в конце концов стерла с лица земли роскошное язычество Средиземноморья! Здесь великого бога Пана отправили в папскую душегубку. И все же, когда смотришь издалека на долгожданный город, башни трогают душу чарующими линия-

ми; а при свете луны они кажутся мраморными — сплошное великолепие.

Мы прибыли. Мотор загрохотал, когда дали задний ход, чтобы преодолев быстрое течение, приблизиться к берегу. Наша баржа стучала мотором и содрогалась. На причале несколько джентльменов, соответствующим образом одетых, ждали нашего поэта — кстати, звали его Брунелом, так он представился. Вид у джентльменов был немного подавленный… нежности и печали были полны их лица. Когда расстояние до берега уменьшилось, высокий представительный мужчина в пальто и с щегольской бородкой (только через несколько лет я по фотографиям узнал, что это был поэт Пейр), приблизился к сходням и тихим голосом произнес: «Он умер».

Разумеется, я не понял, о чем речь, но догадался, что произошло нечто очень важное. Позже, уже в зрелости, я прочел книжку о фелибрах, о поэтах, которые были плотью и кровью литературы Прованса, и там я обнаружил фамилии печальных джентльменов, поджидавших Брунела у крепостных стен. Объятия их при встрече были долгими и сердечными — чувствовалось, что они молча с кем-то прощаются, вероятно, с умершим другом.

Поодаль от них прятался в тени Феликс Чатто со

своим нелепым старым автомобилем, которому предстояло перевезти нас через реку в унаследованный Констанс полуразрушенный замок. Феликс тоже недавно покинул стены Оксфорда, он пламенно мечтал сделаться банкиром, но покорившись семейному диктату, стал всего лишь консулом. Его дядя, знаменитый лорд Гален, владел большим поместьем возле деревни Тюбэн, в которой и находился замок Констанс. Сам же Феликс совсем недавно получил назначение в Авиньон. Тем летом и Феликс, и его дядюшка часто нас выручали, ведь пришлось изрядно повозиться, чтобы придать Ту-Герц более или менее цивилизованный вид. Впрочем, я преувеличиваю. Старый замок был еще весьма крепким, хотя, конечно, очень запущенным, не пригодным для обитания. Взять, например, воду: в насосе, стоявшем на артезианской скважине, не хватало какой-то штуковины, вместо которой (опять выручил Сэм) пришлось искать что-то подходящее. На краю поместья находился заросший лилиями пруд, в котором водились карпы. Ветряк, качавший воду из артезианской скважины, выглядел очень живописно на фоне вечернего неба, однако, несмотря на постоянный ветер и безотказно работавшие крылья, вода в башню

не поступала, соответственно, и в кухню старого дома. Несколько дней нам пришлось носить воду ведрами, разумеется, из пруда с лилиями, утешало то, что можно было заодно и поплавать в ледяной воде, когда становилось жарко от подобных хлопот. Ключи, которые привез Феликс, подходили к замкам, но не открывали их. Далеко не сразу мы сообразили, что ключ надо поворачивать в противоположную сторону, против часовой стрелки. Потом мы настолько привыкли к этому, что пытались на провансальский манер открывать другие замки.

Первые несколько ночей мы спали на террасе, залитой светом луны. А в порядок стали приводить первым делом кухню, надо же было готовить еду. У нас имелась повозка и маленькая лошадка, и мы время от времени наведывались в Тюбэн, где было достаточно магазинов, чтобы удовлетворить наши скромные потребности. И опять изобретательный Сэм утер всем нам нос, вместе с Констанс они баловали нас вполне приличной едой. В сумрачных комнатах с высокими потолками стояла тяжелая, пыльная, безжизненная мебель, и нам пришлось выставить все это старье во внутренний дворик, чтобы выбить из него пыль и хорошенько отчистить. Деревянные

полы приятно поскрипывали, но между дощечек было полно блох, и, конечно, требовалось протереть щели керосином. Обои висели клочьями. Крутые садовые террасы были облюбованы большими и страшно любопытными зелеными ящерицами, которые дружно вылезали поглядеть на нашу работу; было очевидно, что их постоянно подкармливали, и они стали почти ручными. Шкафы в спальнях были полны постельного белья, посеревшего от пыли, а на большом обеденном столе, покрытом красной скатертью, все еще стояли тарелки и бокалы — как будто званый обед был неожиданно прерван, а всех гостей утащил дьявол. Короче говоря, старая дама заболела совершенно неожиданно, на ее счастье, у нее гостила подруга, которой удалось отыскать врача. Бедняжку увезли в авиньонскую больницу, откуда она уже не вернулась.

«Все-таки собственнический инстинкт неистребим, это атавизм, — сказала как-то Констанс. — Я обожаю этот дом, потому что он теперь мой. Но он ужасен. Мне бы в голову никогда не пришло его купить. И вообще, я по натуре совсем не собственница. И мне стыдно, что я так сильно его люблю».

Мы лежали в пруду среди лилий, по шею в воде,

и болтали. На ней соломенная шляпка, сдвинутая на затылок. Волосы мокрые. Каждый вечер мы проводили примерно так же, по крайней мере, когда светила луна. Хилари и Сэм играли на террасе в маленькие шахматы — Хилари заодно присматривал за обедом. Мы открыли для себя местную анисовую настойку — здешний вид *pastis;* уникальный напиток, он растекается по нёбу, отчего вкус хорошего вина и хорошей еды совершенно меняется.

В башне жили совы, среди деревьев, попискивая, шныряли летучие мыши, а когда из нагретой высокой травы устремлялись в вечернее небо тучи мошек, тут как тут чуть ли не над нашими головами появлялись ласточки, проносившиеся туда-сюда со скоростью стрел и настигавшие добычу с поразительной точностью и проворством. Слышно было, как время от времени щелкали их клювики, захватывая насекомых. И конечно же цикады… постоянно тучи цикад на огромных платанах и каштанах в парке. Ближе к ночи всё подчинялось, постепенно умолкая, полной луне, которую приветствовали только собаки, да изредка вторившие им козодой и маленький трогательный сыч по прозванию Менестрель. Жители холодного севера, мы не уставали вос-

хищаться красотой и богатством здешней земли. В поместье был всего один работник, да и тот жил далеко — в долине; но уже через неделю он привел старую слепую лошадь и приспособил ее ходить по кругу, чтобы поднимать воду из почти обмелевшего колодца. Звали его Мэтью, и он был совсем глухой.

* * *

Бедняга Блэнфорд! Размечтавшись, он до того погрузился в прошлое, что не заметил, как замолчал телефон. Резким движением он швырнул трубку на рычаг и позвонил Кейду, чтобы тот пришел вымыть чашку. После этого Блэнфорд, передвигаясь с опаской, будто неповоротливая кукла, добрался до библиотеки, которую они с хозяйкой делили много лет; здесь он оставлял свои книги на время путешествий — Ту предоставила ему два огромных шкафа, ключ от которых был только у него. Еще с давних пор он стал отдавать ее письма переплетчикам, не желая расставаться со столь важным Для его душевной жизни, для его развития, свидетельством дружбы и любви. Постепенно набралось несколько изящных томиков в великолепных переплетах из венецианской кожи, на которой были вытиснены символы,

подходящие столь личной переписке; они хранились в футлярах из дорогой кожи. Отперев один, он достал пару томиков, чтобы полистать в тишине. Теперь, подумалось ему, когда она «ушла», наверное, только ее письма он и будет читать. С неумолимой жестокостью вновь предстанут перед ним все превратности его карьеры, начиная с первого успеха и заканчивая К-романами.[60] Ту была его самым давним и преданным другом; и, перечитывая некоторые по-доброму ироничные пассажи, он будто наяву слышал ее вечно живой голос.

А его собственные письма? Они тоже были тут, в обширной коллекции книг и рукописей, ведь он был не единственным, кого она знала в «творческих» кругах. Бог весть как ей это удавалось… Констанс водила дружбу с некоторыми очень крупными современными знаменитостями. При мысли об этом он почувствовал укол ревности. Ведь ей не пришло в голову переплести его письма; они лежали в обычных папках, словно дожидались последней сортировки. К тому же, ее несколько неряшливые книжные шкафы оказались незапертыми. Наклонившись, Блэнфорд

---

[60] Примечания: 60

К — квинтет, или форма квадрата с четырьмя точками по углам и точкой посредине (quincunx).

взял наугад одну из папок и, открыв, наткнулся на недавнее письмо, отосланное из города — по-видимому, в прошлом году. У него была дурная привычка не ставить даты на письмах. Поворошив кочергой поленья, Блэнфорд сел, и, положив папку на колени, стал читать, пытаясь представить, что он — Ту, только что получившая это послание.

«Опять я в Авиньоне и один, гуляю по пустым улицам, вспоминаю прежние приезды, думаю о Ту-Герц и о вас. Да, опять я здесь, где, если верить картам, разложенным моим чудовищем Кейдом, мне предстоит умереть от собственной руки на пятьдесят девятом году жизни. Значит, у меня еще год-два календарного времени, однако что если то, о чем говорит Кейд, началось уже давно?

Как бы это объяснить? Писатель всегда твердо знает: то, что можно называть продуктом творчества, плодом вдохновения, эстетическим воплощением, приходит к вам, его читательнице и Музе, из-за плотного занавеса, за которым скрыто гипотетическое самоубийство — спросите у Сатклиффа! В самом деле, искусство возникает, когда сам вроде бы исчезаешь. Автору совсем не обязательно испытывать всё на себе. Но искусство его должно быть правдивым, если сработанный

им товар вообще имеет право называться искусством. То-то!

Констанс, поэту не дано выбирать. Поэт не думает о славе, ибо даже те голоса, которые разносятся дальше остальных, всего лишь эхо прошедшего, эхо полузабытого прошлого. Поэтическая реальность, о которой говорю я и которую Сатклифф мог бы сплести в своих ненаписанных книгах, скорее соответствует школьному определению сети: «множество дырок, соединенных вместе веревкой». Нечто, что невозможно потрогать, вот суть нашего писательского ремесла. Искусство существует всего лишь как напоминание.

Полагаю, если Кейд не ошибается, мне хватит времени, чтобы продумать этот проект; а уж потом пусть Сатклифф облекает его в плоть и заполняет подробностями. Ну же, давайте купим немного времени для наших часов — хороший сочный кусок времени. Должен сказать со всей искренностью, что моя идея напугала Сатклиффа. Когда я изложил ее, он всполошился: «Но, Обри, неизвестно, куда это заведет». На что я ему ответил: «Конечно. Никаких ограничений. Пишем, что хотим, и я и вы». Да. Его напугала идея абсолютной свободы, без всяких наметок и предписаний. Как обычно, его понесло, ведь

болтая о том о сём, он выгадывал время, чтобы подумать. В конце концов он поинтересовался: «Что я получу, если напишу книгу, доказывающую, будто великий Блэнфорд всего лишь вымысел, творение одного из своих творений? А?» Ответ вам известен не хуже, чем мне, однако я не удержался и произнес его вслух. «Высшую награду, Робин Сатклифф, немедленное бессмертие. Вам это подходит?» Он задумался и почему-то приуныл. Он же лентяй, ему не хочется ни во что ввязываться. Моего честолюбия, заставляющего меня двигаться вперед, у него нет.

Да, моя дорогая Констанс, мы задумали создать классический квинтет — К; возможно, в нем будет звучать эхо «Tu Quoque». Мы постараемся оживить поэзию, подтолкнуть ее ближе к сердцевине обыденной жизни.

А потом, когда удар будет нанесен, и я исчезну со сцены, поэзия выполнит свой долг — от и до, во имя моей *звездной пятиконечной пирамиды.* Вечно преданный вам, О.».

Глава вторая
Робкие начала

Блэнфорд в раздражении бродил по дому, разговаривая с самим собой, но не выпуская из мыслей Констанс — ему еще многое надо было ей сказать. И вот уже его пальцы ползут по полке с римскими и греческими поэтами, приближаясь к томам, в которых были ее и его письма. «Я знаю, что вокруг поэтов больше всякой шумихи, зато прозаики создают персонажей, которых по-настоящему любишь или ненавидишь». Он пролистал томик с разрисованными страничками, прочитал вслух: «Ваш Сатклифф весьма меня заинтриговал. Пожалуйста, побольше подробностей. Надеюсь, он не превратится в провинциального Хитклиффа?»

Он ответил: «Вы спрашиваете о Сатклиффе? Трудно сказать, сколько лет он пролежал молча, спящей личинкой в коконе моей старой черной записной книжки. Я не знал, что с ним делать — хотя продолжал копить о нем записи. Естественно, он должен был стать совершенно непохожим на меня — чтобы я мог посмотреть на него со стороны, с дружеской объективностью.

Но он, насколько я понимаю, представляет мою сущность — ту ее часть, которая воспринимала жизнь в черном цвете, однако, благодаря вам, поверила в то, что в космическом масштабе это просто нелепо. Он — это я, но здравомыслящий до безобразия. Частенько я целовал вас его губами, чтобы узнать, каково это. А он даже ни разу не соизволил сказать мне спасибо».

Он сел, положив книгу на колени, и вновь загляделся на пламя, в извивах которого видел змей, огненные лестницы, сгорающего на костре крестоносца, скорпиона, распятие.

Чего только не бывает. Вот и Сатклифф мог бы родиться где-нибудь к северу от Лонгборо, скажем, в семье почтенных квакеров. Или мельников? Он был умным мальчиком, заслужив стипендию, отучился в Оксфордском университете, а потом, подобно множеству других, угодил на рынок невольников-педагогов. Он отредактировал несколько подстрочников, но их «зарезал» крикливый зануда-профессор — шанс стать переводчиком был потерян. Надвигалась нищета, а так как у него не было цели, ради которой стоило бы голодать, то он принял первое же предложение, отправившись преподавать французский язык и музыку в школу для девочек в Гимен-

дейле. В этом благотворительном религиозном заведении учились сироты. Преподавательский состав наполовину состоял из монашек. С этого началось его падение. Монашки захаживали к ученым мужам, ученые мужи — к монашкам, дальше — ближе, голова кругом… Он действительно не виноват…

Гимендейл находился недалеко от Борнмута, южного морского курорта, который уже в те времена облюбовали отошедшие от дел священники, адвокаты, учителя и колониальные чиновники. Изгороди из бирючины, подглядывания из-за занавесок, претензии на родовитость; тихие улицы, просыпающиеся только когда появляется позвякивающий бидонами маленький фургон молочника. Отличное место для развития недюжинных способностей, мрачно говорил он себе, мрачно выходя на ежедневную прогулку: дважды вокруг орошаемых полей, а в дождь один раз — туда и обратно — вдоль скал. Ох, уж этот вечный дождь! Восемь часов в неделю Сатклифф проводил со своими болезненно тощими ученицами, у них были прилизанные волосы и вялые мозги. *Que cosa fare?*[61] Уже тогда он считал себя страш-

---

[61] Примечания: 61
Что делать? *(ит.).*

ным неудачником, поскольку судьба поймала его в этот благостный капкан. Тягомотная рутина. И он по мере сил соответствовал предписанному образу учителя. Но иногда горожане слышали, как он громко хохочет. Хриплый злобный смех был предназначен грязно-серым, набрякшим от воды небесам. Пабы здесь закрывались рано, да и в них нечем было дышать от едкого, дерущего горло табачного дыма. А еще имелись один приличный книжный магазин «Комминз», библиотека, в которой давали книги на дом, и конечно же два кинотеатра. Сатклифф погружался в чтение. Слава богу, он неплохо владеет французским языком и может забыться за книгами. Попробуем представить толстого близорукого мужчину в бесформенном твидовом пиджаке с множеством дырок от сигарет и трубки. У него была твердая, чинная походка, предполагающая уверенность в себе, которую он вовсе не ощущал. Увы, он совершал ошибку, вечно стараясь что-то наверстать.

Одиночество привело его к яростным спорам с самим собой, а это, в свою очередь, к весьма эксцентричному поведению, во всяком случае, с точки зрения местного общества. Например, эти воскресные представления… Утром, когда его подопечные строились во дворе, чтобы гусь-

ком тащиться в церковь по пустынным улицам, Сатклифф (в мантии с капюшоном во главе процессии) любил воображать, будто он участвует в других, куда более романтических событиях. Так, однажды он якобы вел на поле игроков в крикет, чтобы вырвать победу у австралийцев; он втягивал носом воздух, смотрел на солнце, слюнявил по-скаутски палец, чтобы определить направление ветра (прежде чем выпустить игроков). Откашлявшись, он сделал несколько знаков невидимым судьям, указывая положение прикрытия… и т. д. А через неделю он решил побыть вождем африканского племени в тигриной шкуре, он размахивал увесистой дубинкой, ритмично подпрыгивая и еле слышно подпевая неслышным барабанам. Он был предводителем юных охотников, и они собирались заполучить льва — ни больше ни меньше! Был и такой вариант: священник, который провожает жертв Террора к гильотине. Стук колес крытой двуколки по камням парижских мостовых — будто настоящий — доносился до ушей мечтателя. Что и говорить, выразительная мимика и странная жестикуляция вызывали у начальников Сатклиффа тревогу. Однако в них лишь отражалась его интенсивная и бурная внутренняя жизнь.

Говорить Сатклиффу было не с кем, вот он и привык разговаривать с самим собой — постоянно вести безмолвный монолог. Окружающие видели только его гримасы, иллюстрировавшие мысли, которые метались у него в голове, как стаи рыб. Отрешенный взгляд, губы трубочкой, то вскинутые, то сдвинутые брови. Сморщенный нос. Часто (видно, из-за пагубного влияния пудинга на почечном жире и пирога с патокой) он разделял воображаемую толпу на три категории: Чесоточники, Кровопускальщики и обычные Крикуны. На прогулки он брал с собой потрепанный зонт и надевал огромные башмаки с крючками и петлями. «Меня сформировал доктор Арнольд,[62] — обыкновенно говорил он себе, — а его жена бывала в восторге от меланхоличного, долго не затихающего рычания своего мужа, когда того что-то осеняло». Порою Сатклифф не знал, куда деваться от депрессии, и тогда отправлялся в город. За десять шиллингов и «Девонширский чай» покупал у Эффи мимолетную любовь, которая лишь усиливала его отчаяние и чувство одиночества. Эффи служила барменшей

[62] Примечания: 62

Арнольд, Томас (1795–1842) — легендарный директор одной из старейших английских привилегированных мужских школ в г. Рагби, был смелым реформатором педагогических методик. *(Прим. ред.)*

в «Трех перьях» и была вполне милой крошкой, очень непритязательной. Она и вправду была прелесть, вот только яблочный пирожок между бледных лягушачьих ляжек совсем остыл. Чувствуя себя виноватым за то, что сбивает ее с пути истинного, Сатклифф покупал ей подарки — она действительно была хорошей девушкой, а не шлюхой. Ее часто донимал цистит. Однако этот городишко, эта монотонная жизнь, дождь и местные жители могли довести и не до такого. Его совершенно покоряла одна ее привычка: как она оттопыривала мизинчик, когда с показным аристократизмом бралась за чайную чашку… Она и в постели вела себя так же, видимо, желая облагородить аристократизмом любовный акт. Это приводило Сатклиффа в восторг. По какой-то причине, науке неизвестной, он всегда носил в кармане своих широченных брюк два презерватива. Они были очень дорогими, и он берег их исключительно для Эффи; после свидания Сатклифф тщательно их мыл и клал для просушки на каминную полку. На пакетике было напечатано слово «сверхпрочный». Эффи настаивала, чтобы он предохранялся, и на эту не столь уж великую заботливость отвечала ему искренне пылкими ласками. Ей нравился этот мужчина, который

частенько обмораживал то уши, то пальцы, который порою с загадочным видом зачем-то крался на цыпочках неизвестно куда. Она бы, наверное, мечтала стать его женой, если бы он не был из джентльменов.

Как учителю Сатклиффу полагалась комнатка с камином и отдельным выходом во двор — и он страстно мечтал тайком привести сюда какую-нибудь женщину. Но кого? У него была маленькая, страдавшая астмой фисгармония, и экземпляр сорок восьмого опуса Баха, который он играл для собственного удовольствия, стараясь не очень шуметь. Отдыхая, он читал партитуры опер и ел яблоки, время от времени морща лоб и издавая мелодичный рев, когда оркестр должен был бы играть на полную мощь. Постепенно, незаметно для него самого, у него зрел план написать новую биографию Вагнера. А почему бы и нет? Иногда во время прогулок он видел на горизонте темную движущуюся точку, которая то расширялась, то исчезала, то появлялась вновь. Корабль! Сатклифф размахивал зонтиком и кричал «ура». Монотонность провинциальной жизни, возможно, неплохая пища для поэта, а если у человека нет талантов? Иногда Сатклиффу становилось до того одиноко, что он готов был

поджечь собственную кровать. Вероятно, сестра Роза страдала из-за того же, не исключено, что еще сильнее, потому что приехала в Англию из какого-то неведомого края. Она была хорошенькой, со смышленым личиком, светленькая мулатка. Когда он перехватил в церкви ее изучающий взгляд, она густо покраснела. Сатклифф улыбнулся, она тоже улыбнулась, и он сразу понял, что ее весна не в далеком прошлом. В тот день что-то случилось в шестом классе, и его вызвали к директрисе, которая прямо спросила, правда ли, что он «преподавал» ученицам Малларме?

— Сделал обзор соответствующего периода, — ответил на это Сатклифф.

Матушка-настоятельница подняла белый пальчик и произнесла:

— Мистер Сатклифф, я знаю, что могу положиться на вас, ведь вы не допустите ничего слишком французского и непристойного. Мы доверяем вам настолько, что вручаем вам шестиклассниц. Ведите их по беспорочным стезям, даже если вам придется лишь *упоминать* классиков вместо того, чтобы заниматься ими подробно.

— Вы имеете в виду цензуру?

— Да, можно сказать и так.

— Отлично, — мрачно проговорил Сатклифф

и удалился.

Он уже подготовил препарированного Малларме — для подобной оказии. «*Le chien est triste. Hélas! Il a lu tous les livres,*[63]» — написал он на классной доске. Чем плохая тема? Англичане, обожающие животных, наверняка пожалеют бедного песика. Однако он нюхом чуял беду. Здешние праведники терпеть не могут свободолюбцев. Он размышлял об этом, когда… Впрочем, это требует отдельного параграфа.

Бедняжка сестра Роза тоже изнемогала от скуки. Английским языком она владела плохо, вся надежда была на Сатклиффа, что он может говорить на пиджин, который принят в Конго, ведь он, как ей было известно, преподавал французский. И она мысленно призывала его, поднимая к нему милую курносую мордочку. Ее губы изнутри отливали фиолетовым, зато зубки были ровными, а улыбка очаровательной — во всяком случае, так думал трепещущий магистр искусств. От тоски с кем только не уляжешься, вздыхал Сатклифф, понимая, что возникшее чувство несколько надуманное. Стоило ему закрыть глаза, и он видел ее на своем жалком ложе в алькове, как она лежит

---

[63] Примечания: 63
Пес грустит. Увы! Он прочел все книги *(фр)*.

на спине, обнаженная, с опущенными веками. Ее темная кожа напоминает ром, черную патоку, имбирь… и так далее.

Ну а сама сестра Роза вздыхала от уныния, ей было тошно часами украшать большой алтарь искусственными фруктами. Однако это занятие давало ей доступ к церковной скамейке Сатклиффа, вот что самое главное. Перед началом следующей службы он обнаружил цветок на подушечке для колен и весьма красноречивую закладку в книге церковных гимнов. Ох уж эта женская изобретательность! От удовольствия Сатклифф покраснел. Всего секунды хватило на то, чтобы по-французски написать на пустой странице магические слова: «Как? Когда? Где?». Если он не прибавил «Сколько?», то только потому, что не хотел обидеть ее своими *чересчур* французскими манерами. В конце концов, она все-таки, черт бы ее побрал, монахиня. Затем последовала короткая пауза в переписке, причина которой была ему непонятна — естественные законы женского организма, возможно, или испугалась, что зашла слишком далеко, или установленный начальством порядок? Трудно сказать. Как бы там ни было, он оставил еще одну записку, приглашающую к более близкому

знакомству, и старался раззадорить ее громким пением тех гимнов, слова которых могли быть восприняты двояко (например, «Господь с теми, кто дает ближнему»).

Наконец она сдалась — правда, у нее был такой почерк, что он еле-еле разобрал: «Сегодня. Комната 5». Сатклиффа переполняли гордость и страсть. В тот вечер он, с едва скрываемым нетерпением, играл Баха, не жалея соседских ушей. Ему еще не приходилось бывать в том крыле, где жили монахини, а так как он предполагал, что они отходят ко сну довольно рано, то решил подождать: пусть спокойно улягутся, прежде чем он совершит штурм, прихватив «сверхпрочное» свое средство защиты. По правде говоря, его несколько пугала необходимость пробираться по темным монастырским коридорам.

Сатклифф пересек двор и вошел в притихший дом, окунувшись в непроглядную тьму. Вытащив из кармана электрический фонарик, он двинулся по лестнице на второй этаж. Номера на дверях были кое-где сбиты, кое-где стерты, к тому же, шли не по порядку — или ему так показалось. Наконец он добрался до комнаты с вроде бы нужным ему номером, нажал на ручку двери, и на него пахнуло теплом. Оказавшись внутри,

он постоял, давая глазам привыкнуть к темноте. Фигурка на кровати слегка пошевелилась, и он услышал нечто, принятое им за приглашение.

— Сестра Роза, — прошептал он и включил фонарик.

В немом ужасе на него смотрела мать-настоятельница; и она наверняка стучала бы от страха зубами, если бы не сняла протез, который насмешливо скалился на него из стакана, стоявшего рядом на тумбочке. Перепуганный Сатклифф пролепетал нечто бессвязное. Парик тоже лежал рядом с кроватью, на подставке, а голову настоятельницы покрывал чепец. Сатклифф повернулся было, чтобы сбежать, но тут она включила свет и воскликнула:

— Мистер Сатклифф, что вы здесь делаете?

Как объяснить? Он вытянул руки, изображая лунатика, после чего с некоторой нарочитостью вздрогнул и спросил:

— Где я?

Получилось неубедительно.

Со временем эта история обросла множеством подробностей и обрела новые сюжетные линии, в зависимости от обстановки, в которой ее излагали, и воображения рассказчика; некоторые варианты принадлежали самому Сатклиффу, у

которого уже появилась сочинительская привычка украшать, это были первые всходы тех произведений, которым в дальнейшем предстояло выйти из-под его пера. Так, в одной из версий матушка наставила на него инкрустированный жемчугом револьвер и прострелила ему пальто — на самом деле, никакого пальто не было. В другой не менее экстравагантной версии она широко развела руки и ноги и закричала: «Наконец-то Ты пришел за мной!» — таким манером принудив его к неподобающему, нечестивому соединению душ и тел. Но другого способа сохранить за собой место у Сатклиффа не было. Что произошло на самом деле? Она вскричала:

— Мистер Сатклифф, немедленно покиньте мою комнату!

И он тотчас подчинился.

Утром его вызвали в попечительский совет и приказали убираться, не дожидаясь ланча, — практически не оставив ему времени на сборы перед лондонским поездом. Ему было тошно еще и потому, что он предал Розу. Дело в том, что по пути на вокзал Сатклифф успел разглядеть, как она, напряженно выпрямившись, сидит в черном школьном автобусе (который порою служил и катафалком), между двумя картезианками с

гранитными лицами. У нее огнем горели щеки, а глаза были опущены.

Вернувшись в Лондон, Сатклифф отправился в то явно не процветающее агентство, которое нашло ему работу, и поведал об обстоятельствах своего увольнения менеджеру, маленькому кокни, который то сморкался, то кашлял, пока Сатклифф разглагольствовал. Услыхав, как Сатклифф оплошал, он печально покачал головой.

— Глупо как-то вышло, — повторил он в десятый раз. — Знаете, что бы я сделал на вашем месте? Поехал бы к врачу и попросил лекарство, которое выписывают лунатикам. — Он картинно вытянул руки вперед. — И тогда начальство не могло бы придраться.

Сатклифф присвистнул.

— Мне это не пришло в голову, — сказал он.

— В следующий раз будьте похитрее, — посоветовал человечек.

— И подальше от женских чар.

— Безусловно.

И сообразительный кокни снова склонился над замызганным каталогом вакансий, водя по строчкам большим пальцем со сломанным ногтем.

Итак, наш герой познал долгие мучения на голгофе культуры, прежде чем (после многих

унижений) сподобился славы и богатства. Разумеется, благодаря своим блистательным заслугам. И все же, оглядываясь потом назад, некоторые из тогдашних своих достижений он вспоминал с удовольствием. На вопрос о том, какими были последние слова Верлена, он отвечал любознательным отроковицам: «Счастье — это пахучий поросенок».

* * *

Оставив в покое Сатклиффа с его лихими юношескими авантюрами, Обри Блэнфорд снова начал вспоминать о самой первой встрече с Францией и с Провансом. И эти воспоминания были поразительно яркими — словно все происходило только вчера:

Вот они лежат в пруду, среди раскрывшихся лилий, прохладная вода плещется у самого подбородка, и они надышаться не могут тихим заброшенным садом, в котором, как и в доме, было полно неведомых существ, вроде призраков, только не всегда видимых. Двери открывались и закрывались по собственному усмотрению, на главной лестнице в полночь слышались шаги. Едва слышные голоса до того тихо шептали имена, что их можно было принять за шелест

плюща под порывами изменчивого ветра. При колебаниях температуры, когда кухонный жар поднимался на второй этаж, все шкафы начинали со скрипом распахивать дверцы, будто открывая объятия. Среди густой листвы мелькали какие-то мерцающие очертания, видимые лишь краешком глаза. Но стоило обернуться и присмотреться, ничего примечательного не было заметно. И еще на дорожке возле *огорода* была одна отошедшая плитка, которая каждую ночь издавала характерный звук: словно кто-то шел мимо и наступал на нее.

Иногда открываешь дверцу подвала, а оттуда выскакивает черный кот, не отзывающийся ни на имя, ни на уговоры, ни на ласку. Не обращая ни на кого внимания, он проходил по коридору и исчезал за боковой дверью. Был это настоящий кот? Или только призрак кота? Целый портфолио изысканных поз — любая бы украсила модное декоративное блюдо.

Уже намного позже Хилари рассказал, что однажды видел девушку в белом вечернем платье, она прогуливалась у пруда с лилиями и читала какое-то письмо; больше всего его поразило то, что черные дрозды будто не видели это создание — и пролетали сквозь нее… во всяком случае, ему

так показалось. Потом она свернула на тропку между деревьями, ведущую к дому, и он, весь обмерев, ждал ее появления, выйдя на балкон. Но она так и не появилась. Днем рядом с небольшим каретным сараем кто-то выбивал пыль из невидимого ковра. Казалось, тамошняя тишина была наполнена вещами и людьми, только и ждавшими случая, чтобы материализоваться. И это ожидание витало в воздухе постоянно. Констанс это нравилось; вечерами она всегда выключала свет и сидела в темноте, надеясь что-нибудь «увидеть». А вот Ливию это нервировало, раз в несколько дней она находила предлог, чтобы немедленно отправиться в поход или погостить в соседнем Авиньоне, где Феликс предоставлял ей крошечную гостевую комнату.

А еще портретная галерея, — три головы! Эта длинная галерея была продолжением дома: широкие почти во всю стену окна, на потолке мощные светильники в виде панелей; густые деревья оберегали ее от прямых солнечных лучей. Тогда она пустовала, потому что старая дама давно продала все портреты, особой ценности не представлявшие. Однако сохранила три сильно потемневших изображения, выполненных в типичной манере осторожных академиков

прошлого столетия. Краски на картинах почти осыпались. Подписи тоже были едва различимы, хотя под портретом хрупкого бледного юноши с чахоточным лицом мы все-таки разобрали имя Пьер, а под портретом темноволосой, полной внутренней силы девушки, по-видимому его сестры, — Сильвия. Третий портрет пострадал еще сильнее, невозможно было даже определить, мужчина на нем или женщина — но точно это был кто-то со светлыми волосами и прозрачными голубыми глазами — как у Хилари. Все три портрета были задрапированы черным бархатом, и это производило довольно странное впечатление, ведь никто не знал — почему. То ли этих людей кто-то оплакивал? То ли занавески означали особый религиозный обряд? Что-то вроде посвящения? Кто же все-таки эти трое? У нас не было возможности это узнать. На обратной стороне одной из картин желтоватыми выцветшими чернилами было написано: «Шато де Бравдан». Рассмотреть портреты можно было только дернув за золотой шнур, чтобы разошлись черные шторки.

Не менее заинтригованный, чем мы, Феликс Чатто не пожалел времени и сил, стараясь разгадать выцветшую надпись и отыскать место, где

должен бы был находиться шато — напрасно.

— Клянусь, в Провансе нет такого места, — вздохнул он, — хотя, конечно же, когда-нибудь оно проявится — в виде забытого средневекового названия. — Мы как раз сидели в кухне за дубовым столом и трапезничали. — А, может, даже лучше — не знать, я имею в виду этих персонажей, можно и дальше гадать, кто они, что они. Хотя придумать романтическую историю, достойную этого трио, довольно сложно. Кстати, вы напрасно сомневаетесь по поводу третьего персонажа — это женщина. А ногти просто не нарисованы.

Естественно, ногти ничего не доказывали, и Феликс знал об этом. И все же: зачем пыльные бархатные шторки? Эти люди были на тот момент мертвы?

Кстати сказать, три полустершихся персонажа и название, очевидно, придуманного шато изрядно повлияли на ход мыслей Блэнфорда; как неизбывные, неистребимые символы чего-то такого, к чему не было ключей, безвозвратно утерянных. И он печально сказал себе: «Если бы я верил в роман как *средство* воздействия, то непременно сочинил бы про это трио роман, в котором не было бы ни грана сходства с реальной

жизнью. Бравдан!»

Ливия повернулась к нему лицом; она сосала цветной леденец, купленный в деревенской лавке. Быстрым движением язычка она сунула леденец ему в рот и запечатала его горько-сладким поцелуем. Вот тут-то Блэнфорд и пропал. Столь внезапное счастье было невероятно острым, почти болезненным.

Лишь теперь, по прошествии долгих лет, переворошив кучи разных писем, он может выстроить плавную кривую *amor fati*[64] — привязанность к Ливии — классический пример. Если он спрашивал, какой была ее мать, ему всегда отвечала Констанс, но однажды, при других обстоятельствах, Ливия только посмотрела на него своими черными глазами, вдруг потускневшими, как мертвые улитки, и облизнула губы, словно собираясь ответить, но так ничего и не сказала. Констанс писала в письме: «Я помню старую-престарую даму со сверлящим взглядом голубых глаз, с впалыми щеками из-за отсутствия зубов, протезы ничего не меняли, так как были плохо подогнаны. До замужества она была актрисой, довольно заурядной. А постарев, в основном,

---

[64] Примечания: 64
Любовь к року, фатализм *(лат.)*.

предавалась безумным сожалениям о том, что былые радости, питавшие ее больное тщеславие, канули в прошлое. Дипломатический мир — мир добреньких изворотливых миног — иллюзорный фон для ее прихотей. Она вроде бы веселилась напропалую, но у демона случайности была крепкая хватка. Она всегда гонялась за мишурой. Но вот красота поблекла, и все ей стало ненавистно — в первую очередь она возненавидела своих дочерей из-за их юной прелести. Великое предостережение о неизбежности расплаты и распада будто бы ее не касалось. Итак, она постепенно превращалась в прах, а мы постепенно расцветали. И тогда ее обуяла лютая злоба, а потом и ненависть, которой, надеялась она, с лихвой хватит, чтобы отравить нам жизнь и искалечить души — даже когда ее уже не будет в живых! Она твердила, что ее груди сделались дряблыми только потому, что она слишком долго кормила нас. Она, видите ли, испробовала все, чтобы вернуть им упругость, не решилась только на хирургическое вмешательство. Даже дурацкие *ventouses*[65] надевала, которые якобы должны были сделать их твердыми. А мы… мы лишь все

[65] Примечания: 65
Банки *(фр.)*.

сильнее ощущали эту нарастающую ненависть, ничего не понимая. Только теперь, когда все в прошлом, что-то стало проясняться. Великое дело — научиться прощать. Взгляните на Ливию!»

Он глядел на Ливию, на ее лицо, которое вызывало в нем неодолимый трепет счастья. Его даже не столько ранило, сколько удивило, когда юный Сэм заявил, что у нее глаза, как у дохлой рыбы, и что в волосах у нее перхоть, и вообще, он сам никогда не смог бы в такую влюбиться. Все дело в восприятии. Поэтическое восприятие устроено таким образом, чтоб выискивать объекты страсти. Эта влюбленность, в сущности, его сформировала, подарила ему первую короткую историю, которая оказалась самой значительной в его долгой жизни. Что и говорить, без Ливии, без тогдашней страшной встряски он ни за что не взошел бы на этот мучительный незатухающий костер, не угодил в порочный круг, в котором она была своей. Это все происходило в Париже, где Ливия в то время занималась живописью, что-то в духе кубизма. Он-то сам был до такой степени простодушен и неискушен, что не распознал в этих очаровательных, хотя и порочных персонажах их сути, а они вели себя очень осторожно, чтобы «малыш» ни о чем не догадался.

Так же жила и она, наслаждаясь двусмысленностью, среди добрых друзей, гомиков и лесбиянок, безусловно, по-своему весьма обаятельных и восприимчивых. Будучи изгоями, они старались занять солидное общественное положение, что было весьма предусмотрительно, поскольку в большинстве были людьми довольно апатичными, и хорошо это осознавали. В их общении с иными людьми чувствовалась некая неуверенность… они ощущали себя какими-то плоскими, одномерными, почти непроницаемыми для импульсов извне. Перезваниваясь по нескольку раз в день, они как будто успокаивали себя: да, мы реально существуем. Еще они выпускали каталоги, где говорилось об их благосостоянии, о творческих успехах, которые были своего рода удостоверениями *жизнеспособности* личности.

Позднее, когда Констанс вкусила (пожалуй, даже больше, чем следовало) знаний,[66] она гораздо четче сумела обрисовать жестокий парадокс самоидентификации Ливии; абсолютный нарциссизм, который выражается в извращенности, порожденной недостатком материнской любви. Но вот что самое ужасное: сексуальное

---

[66] Примечания: 66
Намек на изучение методик психоанализа. *(Прим. ред.)*

удовлетворение Ливия могла получить лишь в воображаемом инцесте с предавшей ее матерью, в пародии на любовный акт. Однако малейший намек на истину вызывал поток ругательств, в устах Ливии они звучали еще чудовищнее, похожие на отвратительные надрывающие сердце вопли больной птицы. Ему вспомнилась фраза из черной записной книжки, в которой он пытался зафиксировать словами кое-какие особенности ее натуры. Глядя на Констанс, и с жалостью, и с раскаяньем, и с ненавистью, его Ливия думала: «Нет, никто так не бесит, как непрошибаемые праведницы, с их естественной и беспомощной добротой». Но ведь и Констанс пришлось пережить разочарования и обманы, и далеко не сразу она сумела понять, что многое абсурдно и фальшиво. И вот что она однажды написала: «Любовь — это банановая кожура, которую насмешница жизнь бросает под ноги мужчинам и женщинам, чтобы посмотреть, как они поскользнутся и рухнут на тротуар». Самое главное, она поняла и простила свою сестру, ведь она любила ее, и так счастлива была бы видеть ее счастливой, что не переставала верить, вопреки всему: их с Ливией отношения одолеют любые невзгоды. Блэнфорд никак не мог вспомнить, когда он сделал эту

запись в своем дневнике: «Боюсь, вся ее жизнь — это сплетни и курение; я женился на болтушке и снобке». Но и это было еще не самое худшее; ощущение потери нарастало, делалось все более мучительным, по мере того, как Ливия мало-помалу обретала уверенность в себе и уже не так рьяно сохраняла свою тайну.

У разума есть свои пределы, телесные пределы; стало быть, их легко достичь, вот вам простенькое умозаключение. Сам виноват, думал Блэнфорд, наклоняясь, чтобы помешать золу. Сам утроил эту подмену. Мыс Констанс слишком долго раскачивались для того, чтобы узнать друг друга получше. Ну да ладно. Ослепленный непривычным счастьем, я случайно услышал телефонный разговор Ливии и Трэш, ее милашки с острова Мартиники, и насторожился. Совершенно незнакомым мне голосом она сказала: «Просто я решила женить его на себе». Обернувшись, она увидела, что я стою в дверях, и сразу положила трубку. Я промолчал, и через мгновение она успокоилась — наверное, потому что я не стал ничего выяснять. «Это Трэш, — только и сказала она, — мы собираемся сегодня послушать оперу». Ей было прекрасно известно, что я терпеть не могу оперу. Но на этот раз, узнав, где они собираются

сидеть, я тоже купил себе билет — на галерку. В театре я быстренько нашел их места, вот только заняты они оказались другими, совершенно незнакомыми мне людьми.

Подобные открытия кому-то в горе, а кому-то и в радость, все зависит от контекста. По-настоящему обидным было удостовериться в своей чудовищной неопытности. Блэнфорд только теперь это понял. Ливии была уготована трогательно-прекрасная судьба сделать из него мужчину — естественно, те, кого мы проводим через обряд посвящения, на всю жизнь получают наше невидимое клеймо — знак самой жизни. «Невинный дурачок, дитя Природы, не я ль учила тебя е...!» — могла бы воскликнуть она, как это сделал при схожих обстоятельствах Сатклифф, не преминувший вспомнить строчку из Джона Донна. Тем не менее, период пылких иллюзий обещал продлиться дольше, чем лето. Может, даже хватило бы на всю жизнь, если бы... Если бы по роковой случайности он не наткнулся на письмо, которое она забыла спрятать или порвать. И тогда все встало на свои места. Его сердце сжалось — от горя и отвращения; отнюдь не из-за попранных моральных устоев. Его поразил обман, жестокий, никому не нужный. Едва ли не в то же мгновение

он возненавидел обособленную кучку бесполых монстров — *les handicapés*[67] а заодно и Париж, который всегда казался ему чересчур гротескным, однако был теплым и живым, дарил много ярких впечатлений. Как он пережил тот август, когда невозможно было дышать от постоянных мыслей о том, что он не один, что он делит ее с парижанкой, у которой черное сердце? Блэнфорд принялся писать ей письма, оставляя их повсюду в квартире. Он переехал в меблирашку, однако свой ключ оставил у себя и приезжал работать в набитый книгами кабинет. Душа его все еще кровоточила, наслаждаясь ее красотой и воспоминаниями о ее потрясающих безумствах в постели; в то время он написал поэму, в которой очень метко нарек ее «жарким созвездием». Поэму опубликовал журнал «Критик», но Ливии он его не показал. Значит, королевой ринга была Трэш? Ему казалось, что он, упав с дерева, ударился головой… или нырнул в пустой бассейн. Однако почти автоматически Блэнфорд продолжал делать записи в черной записной книжке. («Новая модель интимных отношений будет каким-то образом замешана на смерти как на самом главном

[67] Примечания: 67
Увечные *(фр.)*.

жизненном опыте. Любовники будут всплывать на поверхность животами кверху, мертвые от истощения».) Он сгоряча подробно изложил свою новую идею Констанс, но письма не отправил. Спустя много лет, обсуждая с ней то время, он порадовался, что не отправил. Констанс занималась куда более серьезными проблемами и все еще была слишком скованной по причине сексуальной неопытности. Кажется, именно в то лето она собралась выйти замуж за Сэма — что тоже стало потом предметом длительных и подробных размышлений. Однако пережитый шок отчасти благотворно повлиял на Блэнфорда. Он сразу научился видеть реальную жизнь вокруг, словно прежде его окутывал густой туман, который вдруг рассеялся. Вот это была настоящая инициация, настоящее пробуждение и вступление в зрелость. Он вдруг увидел, например, что эти две влюбленные козочки делали с мужем Трэш, вполне благочестивым мужчиной. Росточка он был небольшого, кудрявенький, коричневенький… Интересно, знал ли он, что творилось за его спиной? Наверное, догадка маячила где-то на краешке сознания, пугала его — пока в виде тревожного предчувствия. Сначала он погрузился в летаргию — обычная реакция после потери

крови; обе вампирши отлично знали, как подступиться к жертве!

Однако прежде чем высасывать его кровь, они предприняли ряд отвлекающих маневров. Сделали его богатым и модным консультантом у кинозвезд, банкиров и всякой твари такого же пошиба. Они придумывали ему разные развлечения и следили за тем, чтобы он не пропускал вечеринок и премьер. Лет шесть он не имел ничего с Трэш, хотя отношения их были вполне нежными и дружескими. Однако он все раньше и раньше возвращался домой, его мучила усталость и первые смутные симптомы диабета; в конце концов он стал обедать вместе с детьми в детской, а потом сразу же укладываться в постель; он часто зевал, и вид у него был совершенно отрешенный. Покинув поле битвы, он каждый вечер оставлял *champs d'honneur*[68] свободным для влюбленных. Пару раз заходила речь о том, не найти ли ему замену Трэш — прелестный *repoussoir*[69] наподобие Ливии, но где уж… у него не было сил на подобные подвиги. Настолько мастерски они провели кастрацию его чувств, что у бедняги не осталось

---

[68] Примечания: 68
Поле чести *(фр.)*.

[69] Примечания: 69
Здесь: контраст *(фр.)*.

никаких потребностей. Ну а Трэш, *animatrice de petit espace*,[70] так было даже удобнее: тихенький умиротворенный господин в полосатой пижаме. Собственно, она была его импресарио, ведь это она подвела его к богатству и славе — чего же еще желать мужчине? И Блэнфорд понял, что страшная судьба прирученного Загреуса ждет его самого, если он утратит бдительность. Надо было что-то делать. И он написал в одном из писем, адресованных Ливии: «Я пришел к выводу, что брак со всеми его взлетами и падениями, ошибками, искушениями, воскрешениями — для нас невозможен. Старый, порядком потрепанный на протяжении веков, брачный контракт был все-таки изобретен для тех, кто любит, и даже с благоговением. Все-таки это главное. Вся ирония в том, что ты просто не способна меня любить. Вот что меня терзает».

Он остался один на один с горой исписанных тетрадок — попытки экзорцизма. Однако дьявола изгнать не удавалось. Это было такой же нелепой затеей, как, например, организовать фонд борьбы с плохой погодой. Тем не менее, одиночество научило его самодисциплине. Нет ничего пре-

---

[70] Примечания: 70
Вдохновительница маленького кружка *(фр.)*.

краснее Метода.

Теперь о Блэнфорде; прежде чем написать первые фразы первого романа из серии К, он закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и подумал о Плеядах. Для него они символизировали высшую форму искусства — его сущность, выраженную в покое и чистоте. Ничто не могло сравниться с этим созвездием, если речь шла о благородной суровости, элегантности. Он специально думал об этом идеале гармонии, чтобы совладать с довольно опасными наклонностями, которыми он наделил этот клубок конфликтующих между собой и даже взаимоисключающих черт по имени Сатклифф — писателя, перемежавшего молитвы бесконечными «черт побери», прежде чем начать *свой* роман.

Блэнфорд принимал слишком много снотворного, и его часто мучил один и тот же кошмар: он помогает двум нимфам со сломанными крыльями взлететь, но — увы… Еще ему виделось, как они лежат вместе на песке — лицо Ливии напоминало пустую детскую площадку в ожидании малышей, ее высокий, неопределенных очертаний бледный лоб… Длинный средний палец, который тайком добывал блаженство.

И что за радость тешиться проклятьями в ад-

рес такой-сякой Трэш? Если отвлечься от всей этой гнусной ситуации, чем она плоха? Вполне симпатичная особа. Вот только слишком широко разевает рот, когда засовывает туда еду, просто какой-то бегемот. М-да. А ведь когда она смеялась, ее глаза молили о помощи. Тогда он лишь смутно догадывался о чудовищной душевной незащищенности, которую обе старательно скрывали, она разрушала и опустошала — она была как бы негативом его собственной опустошенности. Однажды на улице Сен-Оноре он, сидя в баре, ждал толстого американского бизнесмена (они были единственными поставщиками инвалидных колясок, эти благодетели), к нему подошел знакомый дантист, завязался разговор. Они едва друг друга знали, но господин этот буквально вцепился в Блэнфорда, словно молил его о чем-то, словно надеялся, что их разговор поможет разрешить какую-то проблему. Однако утешителями оба были никудышными. Так что там у Трэш? Он однажды сказал себе, что у нее порочное жадное личико истинной француженки, но и сам понимал, что это неправда. У него было тогда такое чувство, будто мозги остывают и капля по капле стекают вниз, в носки. Самое время сочинить оду «Слезы кастрата о благе разврата» — однако ин-

тонация была совсем не той, и он подарил идею Сатклиффу, когда тот — весьма кстати — явился ему со своими собственными жалобами и хныканьем. А потом еще надо же что учудил — вдруг возненавидел бедный Париж, несправедливо, честное слово. Начал тогда замечать немытые головы, дешевую краску, с подленькой педантичностью констатировал: слишком много медных блондинок с черными полосками у корней волос. В том августе все перестали брить подмышки… Город вонял, как большая дымящаяся от жары подмышка. Вонь была едкой, как пот танцора. А сексуальные оргии… поганые извращенцы, скопище мокриц. Ладно, сам же явился туда за чем-нибудь терпким, остреньким, так чего же теперь ныть? Хорошо бы умереть, подобно Сатклиффу, в объятиях лесбиянки-тамбурмажоретки, с тоской мечтая о нормальном смачном совокуплении: бедра к бедрам. В самом деле, он мог бы даже его перещеголять. Стать католиком, чтобы сыграть в леденящей кровь сцене последнего прощания, чтобы паук на потолке, и тени священника и нотариуса… А вот этого не надо, услышал он голос Констанс, да он и сам знал, что не надо. Эх!

Пережив шок ошеломляющего предательства

Ливии, Блэнфорд неожиданно обнаружил, что может теперь читать чужие мысли. Это было как-то неловко; он поймал себя на том, что опускает глаза при встрече с новыми людьми, чтобы легче было вслушиваться в их голоса. Именно голос поставлял ему самую точную информацию. Окружающие недоумевали: что это он вдруг стал таким необычайно застенчивым? (В какой-нибудь скромной, почти убогой спаленке Сатклифф слушал, как его застывшая, точно оловянный солдатик, жена говорила: *«Chéri, as tu apporté ton Cadeau Universel?»* И он отвечал: *«Oui chérie, le-voilà»*.[71]

[71] Примечания: 71

Милый, ты принес свой универсальный подарок? — Да, милая, вот он *(фр.)*.

Глава третья
Бессонница консула

Заместитель консула угодил в когти демона бессонницы, королевской болезни; он лежал с плотно закрытыми глазами в своей спальне-клетушке, где были скрипучая кровать, старый комод и потрескавшееся зеркало. Его ни на миг не отпускали тревоги, похожие на мутный раствор кислоты, он лежал и словно наяву видел, как темные мысли летят стаями на множестве экранов его сознания. Томительные часы бодрствованья давили на сердце так, будто это были целые столетья. Воспоминания прорывались из самых разных периодов жизни, сгрудившись на переднем плане памяти, сражались за его внимание. У них не было формы и какого-то определенного порядка, однако они были очень живыми и изматывающими — одновременно шелковистые и колючие, как шипы. Ночь за ночью ему были обеспечены видения, приносившие с собой лишь ощущение безысходности и беспомощности. Этот красивый и получивший отменное воспитание молодой человек когда-то страстно мечтал служить в «Английском

банке» (блистательные успехи в учебе вполне позволяли ему рассчитывать на это), однако был исключительно по недомыслию продан в рабство собственной матерью, обожавшей его так пылко, как обожают единственное чадо. Как такое могла случиться? А очень легко. «Ты безусловно создан для *дипломатической* карьеры», — изрек в один прекрасный день дядя Феликса, лорд Гален, пытаясь сыграть на его честолюбии, ловко дирижируя оркестром юношеских амбиций. Однако мнения самого юноши никто никогда не спрашивал, а он был слишком слаб, чтобы противостоять этому домашнему пирату, который после смерти отца стал любовником матери Феликса. Мальчик рос хилым и не очень решительным, и повзрослев, сделался еще более робким. Потому и оказался в Авиньоне — всего лишь в ранге заместителя консула, незавидное начало дипломатической карьеры, впрочем, на службе он особо не усердствовал. Так и прозябал, полумертвый от скуки и презрения к самому себе.

Ведомство не удосужилось — хотя бы ради соблюдения приличий — объявить эту должность почетной,[72] что, возможно, подвигло бы Галена

[72] Примечания: 72
В этом случае ему бы не платили жалование.

назначить ему содержание. А так Феликсу платили как простому клерку в адвокатской конторе. Единственный помощник, который полагался ему по протоколу, и тот был нанят на неполный рабочий день. Он должен был следить за. незначительными расходами своего начальника и печатать отчеты, если тот писал их. Собственно, отчитываться было не в чем, ведь когда в Авиньон приезжали британские подданные, они в консульство не заглядывали. Вилла утопала в пыльных олеандрах и пуансеттиях. Если бы только его мать могла видеть его — Слуга Короны! Издав нечто похожее на язвительный смешок, он повернулся на бок. И все же она должна гордиться им. Неожиданный всплеск не совсем осознанных желаний и надежд вызвал в памяти картину, от которой у него всегда перехватывало дыхание, словно он загнал шип под ноготь. Тогда он открывал глаза и явственно видел ее, всю высохшую, кожа да кости, в инвалидном кресле. Глядя на пыльную голую электрическую лампочку, свисавшую с потолка, Феликс в тысячный раз задумался о своей жизни. Его отец умер, когда он был еще совсем маленьким; через несколько лет мать завела долгий, не нарушающий рамок приличия роман с его братом, энергичным Галеном

(все чрезвычайно осмотрительно, никаких двусмысленных ситуаций). Эти отношения длились, пока прогрессирующий паралич не приковал ее к креслу-каталке, которое возил специально нанятый помощник — в перчатках, в длинном сером плаще, в шляпе-котелке. Феликс слышал знакомое шуршание узких шин на гравиевых дорожках в садах Феликстоу, Хэррогита, Борнмута и прочих курортов. Когда ее недуг стал слишком тяжким, она из гордости порвала связь с Галеном — ей было невыносимо его обременять, мешать его блестящей карьере. Гален принял ее решение с радостным облегчением, хотя и чувствовал себя предателем. Разумеется, он клятвенно пообещал, что она ни в чем не будет нуждаться. Связь с ней он поддерживал через врачей, но напрямую не написал больше ни разу, ибо этот лихой «пират» всегда испытывал суеверный страх перед бумагой и чернилами. Ему вдолбили, что письмо — это документ, который может сыграть с тобой злую шутку, если вдруг зайдет речь о суде, вот откуда эта непристойная боязнь. Но даже если бы он, вдруг расхрабрившись, написал ей, она не ответила бы, поскольку не могла держать ручку; говорила она с большим трудом, весьма нечленораздельно. Нижняя челюсть у нее отвисла и

слегка перекосилась, и от этого изо рта постоянно текли слюни. В нескрываемом ужасе от своего состояния, она лишь молча смотрела черными глазами, в которых тлел смертельный страх. Ее помощника звали Уэйдом, и он украшал свой котелок перышком фазана. Теперь он был ей роднее сына и любовника. Теперь она жаждала лишь одного — умереть, избавиться от всего этого кошмара… Уэйд каждый вечер не меньше двух часов читал ей Библию.

Феликс застонал и повернулся лицом к отвратительным обоям с назойливыми, грубо нарисованными каретами. Тяжело вздохнув, он попытался словно с разбега провалиться в сон, как если бы прыгал с высокого утеса… Ничего не вышло, потому что теперь другие мысли, более приземленные, зароились в голове, как блохи, оккупировавшие его матрас, несмотря на порошок Китинга. На сей раз его изводили служебные неприятности, грянувшие, как только он попытался выписать новый флаг для флагштока, кое-как закрепленного на балконе второго этажа. Во время традиционных гуляний на Троицу, которые завершались великолепным галопом ка-

маргских *gardiens*,[73] какой-то кретин разрядил в воздух ружье — *un feu dejoie*[74] и в священном английском флаге образовалось несколько дырок, так что теперь он напоминал реликвию с поля битвы в Фонтенуа.[75] Феликсу больно было видеть флаг милого отечества в столь плачевном состоянии, и, составив подробный рапорт о происшедшем, он попросил у Лондона новый. Но не тут-то было! Вокруг имперского символа завертелась бурная и весьма желчная переписка; Ведомство настаивало на том, чтобы виновный был найден и отдан под суд за содеянное, и чтобы суд обязал этого злодея заменить флаг; а коль скоро этого не случится, писали из «Рабочего отдела» (Департамент обслуживания посольств), на флаг должен раскошелиться сам Феликс. Это предложение ввергло Феликса в дикую ярость. Туда-сюда летали полные яда депеши на дипломатических бланках. Лондон стоял на своем. Надо найти виновного. Феликс мрачно улыбался,

---

[73] Примечания: 73
Стражники *(фр.)*.

[74] Примечания: 74
Салют *(фр.)*.

[75] Примечания: 75
Селение в Бельгии, где во время англо-французской войны (1744–1748) французские войска маршала Морица Саксонского разбили англо-голландские войска (1745).

вспоминая опоясанный ремешком шлема подбородок всадника, и букеты искр, которые высекал копытом рысак этого шутника из булыжной мостовой. А ведь шутник чуть-чуть не попал в Феликса, со своего балкона наблюдавшего за процессией. Чуть правее, всего на фут, и появилась бы вакансия, требуется консул… Представители Короны с удовольствием дали бы объявление в «Тайме». Феликс и сейчас, будто наяву, ощущал ветерок, поднятый пролетевшей мимо пулей, и едкий запах кордита[76] от боевого снаряда, явно изготовленного в домашних условиях. А как же флаг?

Да, флаг! Может быть, все же самому позаботиться о «деликатной штопке»? Ну не совсем самому, конечно. В городе недавно открылась новая мастерская, где, среди прочих, предлагали и такую услугу. Однако нелепое чувство стыда удерживало Феликса. Не унизительно ли? Консул Ее Величества в заношенном костюмчике мечется по городу с дырявым флагом, ищет, где бы его залатать. Унизительно. Однако, если все оставить как есть, назло начальству, существует опасность, что какой-нибудь консульский шпик

---

[76] Примечания: 76
Бездымный порох.

из Марселя донесет на него. Феликс вздохнул и повернулся с боку на бок, словно хотел отвернуться от этих бесплодных терзаний. Да, ловко тогда Гален занял отцовское место, всё взял на себя, оплату школы, налог на наследство, ренту за дом, и так далее. Собственно, он и в самом деле стал ему отцом, да еще таким образцовым. Распоряжения он отдавал коротко и ясно; и подчинялись ему беспрекословно, будто он был самим Господом Богом. Потрясенному и испуганному ребенку ничего не оставалось, как слушаться дядю. Гален, на самом деле, требовал благоговейного поклонения, но Феликс был способен лишь на молчаливое повиновение маленькому человечку с множеством золотых коронок, которые ярко сверкали при свете огня в камине, когда он расписывал великолепные перспективы, кои сулит служба в Департаменте иностранных дел.

И вот Феликс тут. Прислушивается к разбойничьему свисту мистраля, набросившегося на город: он колотит в скрипучие ставни, он трясет ненадежный флагшток, играя на нем, точно на варгане. Консульский знак внизу тоже пострадал от пуль, но повреждения были не особенно большими. Первое, что приходило в голову — какой-то голодный британец пытался в отчаянии

отхватить от него кусок, добиваясь защиты. «Помните, мистер Чатто, — напутствовал его министр иностранных дел, вручая соответствующие документы, — служение Британии и Короне требует самоотверженности и полной самоотдачи. Я знаю, вас ждет много испытаний; и вам придется собрать все свои душевные силы, чтобы достойно их преодолеть. Искренне желаю вам удачи». Будь он в менее мрачном настроении, наверное, сейчас бы хрипло усмехнулся, вспомнив это напутствие. Но, хотя плечи его действительно инстинктивно дернулись, будто от смеха, лицо оставалось бледным и отрешенным, как бывает при обострении гайморита, когда аспирином делу не поможешь. Из сада доносился запах пыли… пыли и мимозы. Между порывами ветра воздух тотчас наполнялся обычными шумами, в том числе и колокольным звоном в храме Святого Агриколы. К этому времени зрители уже наверняка покинули театр и заполнили площадь, и, несмотря на сильный ветер, сейчас ненадолго оживут кафе; слишком холодно для иных развлечений, остается только юркнуть в бар и выпить горячего *«к grog».* В сущности, еще не так уж и поздно. Подобно всем несчастным, склонным к мигреням из-за хронического гайморита, Феликс

привык к бодрствованью, к черным ночам, разматывающимся перед ним лентой одиночества.

Настоящая Голгофа начиналась далеко за полночь, когда он вставал, заваривал в кружке вербену и медленно одевался, подолгу разглядывая себя в зеркале ванной комнаты или смущенно наблюдая за своими манипуляциями у зеркала в шкафу. Вот он натянул одежду, потом следовало долгое завязывание старого студенческого галстука, затем наступал черед поношенного студенческого блейзера с эмблемой на кармашке. Кто этот смутно знакомый призрак? Он чувствовал себя некой бестелесной субстанцией, когда вглядывался в свое испуганное, словно бы чужое, лицо. Он надевал черную фетровую шляпу, прятал в нагрудный карман бумажник, после чего шел в гостиную и какое-то время изучал репродукцию, висевшую над камином: пасторальный пейзаж с козами и кипарисами. Вглядываясь в картину, Феликс продолжал прислушиваться к порывам ветра, радуясь, что они становятся слабее. Возможно, минут через двадцать, мистраль опять угомонится. Феликс еще немного подождал, прежде чем отправиться на часто — слишком часто — совершаемую ночную прогулку по унылому городу, который он постепенно стал

считать самым печальным городом на свете. Его высокие холмы, особая история, его древние памятники — все это опостылело консулу, он умирал от тоски и скуки; мысленно он издавал неистовые крики — один, второй, третий… хотя, разумеется, губы его оставались сомкнутыми, а лицо невозмутимым, как положено консулу и Слуге Короны.

Расчет оказался верным: ветер продолжал слабеть; откуда-то донесся бой курантов, а с реки — долгий стон баржи, похожий на мычание призрачной коровы. Лизнув палец, Феликс провел им по каминной полке. Горбатенькая горничная, которая каждое утро в течение часа прибирала в комнатах, тщетно боролась с пылью, проникавшей через неплотно закрывавшиеся ставни. Что касается пропитания, то Феликс сам стряпал что-нибудь незатейливое или, перейдя площадь, заходил в маленькое скромное кафе «У Жюля», где можно было купить бутерброды или поесть горячей рыбы с непременным красным перцем. Открыв дверь кабинета, Феликс постоял немного, глядя на своего единственного, и то лишь воображаемого гостя: на себя, пишущего отчет о флаге. Ну и мебель, поистине восхитительное уродство! Феликс прихлебывал вербеновый чай

и размышлял обо всей этой мерзости запустения, водя носком замшевого ботинка по грязной плитке. В стене мыши прогрызли дыру, которую он заткнул плотным шариком из особо дурацкой депеши от лондонского начальства. Этот хулиганский поступок немного его тогда успокоил и приструнил мышь — хотя одному богу известно, чем собиралось поживиться бедное создание в его доме. Книги? Феликсу разрешалось пользоваться консульской библиотекой. Было у него и немного своих книг в чемодане под кроватью, главным образом, стихи. Он взглянул на полупустой шкаф со справочниками: в общем-то их было вполне достаточно, чтобы «оставаться на уровне». Каталог сотрудников министерства с несколькими приложениями. Сведения о давно забытых лондонских коллегах действовали на Феликса умиротворяюще. Когда же ему хотелось позлорадствовать, он вытаскивал какую-нибудь жуткую скукотищу вроде «Патера» и читал (двигая губами) скромный параграф с перечислением всех своих прежних должностей, погружаясь в постепенное диминуэндо[77] в направлении фатального назначения. Консульский агент в

[77] Примечания: 77

Музыкальный термин, означающий постепенное уменьшение силы звука.

Адене. Феликс с трудом удержался от громкого «ура», до того он терпеть не мог «Патера», пока был вынужден «ходить в присутствие» в Лондоне. Вот и Сопвит тоже — еще одна победа здравого смысла. Феликса отправили служить в Рангун. В сравнении с ним Авиньон не худшее место. Но он не может даже съездить в Париж или Ниццу, нет денег, Гален ведь ни за что не даст ему свой большой медлительный «Гиспано», с пучеглазым черным шофером, а ведь это авто исколесило все побережье, вздымая белую пыль в молодых оливковых рощах… Так-так, чем еще могла бы поживиться тут уважающая себя мышь? «Консульскими обязанностями» в шести томах? А вот консульские штампы и выцветшие валики для нанесения краски, которые могли бы еще исправно работать, если нанести на них чернила. «Основы международного права» Вагнера — многостраничная и малопонятная компиляция. «Поведение британского подданного за рубежом» — руководство для резидентов. «Словарь трудностей английского языка» Скита. «Консульский реестр». «Малый Оксфордский словарь». И все это для того, чтобы он грамотно писал отчеты и депеши. Еще несколько учебников грамматики и детективов. Вообще все было довольно убогим,

и любой, заглянувший сюда (говорил он себе), сразу понял бы, что Чатто очень беден, а лорду Галену либо нет до него дела, либо он специально держит племянника в нищете. Заместителю консула в подобных отдаленных местах платили буквально гроши, и, естественно, они не получали консульские *frois,* то есть деньги на дополнительные расходы, которые можно было бы промотать на развлечения. Более того, у Феликса вообще не было иных источников дохода, и он постоянно ломал голову над тем, как уложиться в смехотворное жалованье. Даже когда кто-то приглашал его, Феликс отказывался прийти — из боязни, что не сумеет ответить должным образом. Нищета придает человеку невероятно затравленный вид; и хуже всего нищета при баснословно богатых родственниках, которые не могут не «опекать», даже если постараются. В провинции при столь скудном бюджете все становилось кошмарной проблемой: визит к врачу, операция, зубные коронки, разбившиеся очки, зимнее пальто. Эти мысли не давали Феликсу покоя, лишали уверенности в себе, отравляли ядом выпадавшие изредка скудные радости.

Ночь за ночью он ворочался на шершавой простыне, изнемогая от бессонницы и неотвязных

мыслей. Он прокручивал в уме свою жизнь, и она разматывалась, будто лента непрерывных горестей, в обратном направлении, от настоящего к смерти отца и к грустным школьным дням. (В его характеристиках всегда писали: «Мог бы достичь большего, если бы поменьше мечтал».) Единственным утешением Феликса стали книги, а потом он начал изображать горячий интерес к католицизму, потому что так ему удалось завести друзей, и было чем убить время. Он чувствовал, что если не найдет себе полноценного занятия, невыносимое бремя скуки и тоски доведет его до сумасшествия, он заболеет, как тогда это называли, «мозговой горячкой». Всякий раз, подумав об этом, он неслышно шептал: «О Господи, только не это». Боже упаси, надо с кем-нибудь разговаривать! Когда Феликс получил сообщение Блэнфорда — о том, что тот летом будет жить неподалеку от Авиньона, к глазам его подступили слезы, он не смог сдержать короткого рыдания. Словно камень упал с души.

Все эти долгие одинокие ночи Феликс ощущал себя почти так же, как сам город — все в прошлом и ничего в настоящем. Интересно, известно ли Галену о гостях, знаком ли Блэнфорд со стариком? Узнать негде! Галену никогда даже в голову не

приходило сообщать о своих частых отъездах и приездах, но он точно несколько месяцев в году обязательно проводил в полуразрушенном шато, который, как предполагал Феликс, не восстанавливал исключительно из скупости. Он объездил всю Европу, следуя вдоль ниточек паутины, которую сплел благодаря богатству, играя в банковские и политические игры. И повсюду его сопровождал негр Макс, слуга и шофер, который при определенном освещении был не просто коричневым, а темно-фиолетовым, а также немой (буквально) секретарь. Гален сам выбрал его, со смехом откомментировав, что тот умеет отдавать приказания и добиваться их исполнения. Секретарю не требовалось слов, достаточно было кивка.

И еще, куда бы Гален ни ехал, туда же отправлялся Вомбат, восседая на мягкой бархатной зеленой подушке с монограммой в виде короны. Его родословная давала ему такое право, ибо Вомбат воистину был императором теперешнего странного, довольно унылого дядиного дома, дома, оставшегося без присмотра матери Феликса. Макс обожал хозяйского кота, носил его очень почтительно, словно камергер — королевский ночной горшок. А полуослепший, к тому же стра-

давший астмой Вомбат нрава был дикого: если протянуть к нему руку или сказать «кис-кис», он, сразу же ощерившись, шипел или угрожающе горбил спину. Гален выпивал иногда вечером пару бокалов вина, и это настраивало его на сентиментальный лад — тогда он сообщал Максу, что, мол, кот — его единственный друг, ведь все остальные любят не его, а его деньги. Только Вомбат любит его по-настоящему. Но стоило ему протянуть к зверю руку, как у того раздувалась шея и выгибалась спина, словно у кобры, с шипением раскрывающей свой капюшон: дескать, не приставай, старый!

Увы, о Феликсе Гален почти не вспоминал, хотя на каждое Рождество присылал ему дешевенькую открытку с изображением падуба и малиновки. Подпись всегда была его собственной, но адрес на конверте написан корявым почерком секретаря. Итак, летом — пыль, ветер, шум, порошок от блох и ритуальные шествия грязнуль-монахинь и священников; зимой — гололед и стужа, и обмелевшая река, воды втрое меньше, чем летом. *Le cafard*,[78] одним словом, лютая тоска, хуже не бывает. У него не было сомнений, что когда-ни-

[78] Примечания: 78
Тоска *(фр.)*.

будь из-за ночных шатаний его случай назовут «прогулочной» паранойей.

Открытку Блэнфорда он положил на стол, как драгоценный талисман; наклонился пониже, еще раз прочитал, сделал несколько глубоких вздохов, чтобы справиться с волнением. Потом он запер маленький стенной сейф, где лежали длинные блоки марок и шесть незаполненных паспортов, и вышел в сад, с мягким щелчком захлопнув дверь. До чего же он ее ненавидел, и этот вечно заедающий замок! Дверь была стеклянной, состояла из четырех квадратных витражей с очень волнующими сюжетами; когда на них падали солнечные лучи, начиналась настоящая вакханалия цветов. И если кто-то в эти часы шел по холлу, лицо его делалось то ярко-желтым, то кроваво-красным, то синим, то зеленым, то мертвенно-бледным. Такие сугубо театральные световые эффекты обычно здорово пугали несчастных посетителей.

Феликс поднял воротник пальто, повесил на руку трость, надел перчатки и начал свой неспешный мученический ночной променад.

Луна клонилась к западу, в сторону зубчатых крепостных стен; едва завернув за угол скотобойни, где всю ночь звенела проточная вода,

словно это был общественный писсуар, он увидел знакомого маленького фонарщика, вышагивавшего прямо перед ним со своим, похожим на пастушеский, посохом, которым гасил уличные светильники — город мог позволить себе удобные и чистые электрические лампочки всего лишь на нескольких улицах. С эгоистическим сожалением Феликс подумал, что ему будет очень грустно, когда все улицы засияют электричеством, ведь маленькие фонарщики не только помогали сориентироваться во времени (огни гасили ровно в два часа), но скрашивали своим присутствием его унылые прогулки — хоть какое-то общество… Феликс огибал дымчато-серые стены с зубчатыми крышами. К этому времени даже цыгане уходили в свои шатры, а они были самыми неугомонными гуляками, успел заметить Феликс; а он все шел и шел за маленьким фонарщиком, который шагал почти беззвучно и останавливался лишь затем, чтобы погасить огонь в очередном фонаре. Казалось, он срывает головки пылающих цветов, одну за другой; и сразу наступала фиолетовая ночь, полная теней и четко очерченных силуэтов. На улице Сен-Шарль Феликс мысленно пожелал спокойной ночи своему знакомому и резко свернул вправо — в сторону ворот Сен-Шарль,

которые в этом месте протаранили массивную глухую городскую стену. Здесь была, скажем так, авансцена бастиона — пыльный *terrain vague*,[79] кое-где утыканный высокими платанами с едва проклюнувшимися зелеными листочками. Пустырь был почти не освещенный, отличное местечко для темных делишек, можно без хлопот перерезать горло прохожему, устроить драку или прилечь в обнимку со шлюхой. Цыганам оно тотчас приглянулось, и они разбили тут свой лагерь, несмотря на блюстителей порядка, которые время от времени приказывали им убираться. Но цыгане плевать хотели на приказы. Сейчас костры уже догорали, так как все разбрелись по своим повозкам, за занавесками слабо мерцали ночные огни. Кое-какие огоньки можно было разглядеть в шатрах и самодельных укрытиях, там эти люди лежали вповалку, тесно прижавшись друг к другу, как новорожденные котята, чтобы проще было согреться. Феликс и завидовал им, и боялся их, и как только дробь его шагов утихла (когда он вышел за ворота), рука инстинктивно потянулась в карман за электрическим фонариком, хотя до сих пор Феликс пользовался им

---

[79] Примечания: 79
Пустырь *(фр.)*.

только при крайней необходимости.

Цыганские костры почти погасли, и даже ослы с собаками как будто спали. Но вот из шатра поменьше вышла девушка, разбуженная его шагами, она возникла словно из земли, и неуверенно направилась к нему, тоненьким голоском клянча милостыню. Девушка двигалась, словно прелестный котенок, широко зевая и вытянув перед собой сухощавые руки. На вид ей было не больше шестнадцати, а яркие залатанные лохмотья придавали ей сходство с Пьеро. На пригожем личике отражалась уверенность в собственной неотразимости, обычная для цыганок. Феликс почувствовал острое желание, в голове у него помутилось… Сине-черные тени от мощных равелинов сгущались в непроницаемую надежную тьму. Почему бы ему не затащить эту пташку в одно из черных укрытий и не запустить холеные консульские коготки в податливую смуглую плоть? Стоит пообещать ей денег, и она тут же согласится.

Увы! Оставалось одно «но» — деньги! Сколько она потребует за свои ласки? Этого он не знал. Зато точно знал, что у него не хватит смелости, нет, не хватит, нарушить все границы, определенные хорошим воспитанием. Чудовищное отчаяние

охватило Феликса, когда он отмахнулся от этой искусительницы. Торопливо проходя мимо, он почувствовал, как она хищно вцепилась в его рукав. Босые ножки ступали по земле совершенно бесшумно. Ну и ударила бы его, а после бы изнасиловала — с уничижительной невозмутимой гордостью, пока он будет валяться без чувств… тогда, по крайней мере, его не будет мучить стыд за столь циничный разврат. А как насчет платы за гонорею, которая почти наверняка будет ему обеспечена? Лечение будет дорогим, да еще болезненным. Это он знал точно, поскольку однажды провожал перепуганного приятеля-студента в больницу на Грик-стрит. Бедняга расплачивался за грехи своего двадцать первого дня рождения, проведенного по традиции в «Мешке гвоздей». Из сочувствия Феликс несколько раз ходил с приятелем на первые радикальные «процедуры» и наблюдал за этими кошмарными манипуляциями со страхом и отвращением. Даже само помещение внушало ужас: длинные, с мраморными стенами кабинки с унитазами, тихое урчание воды, ряды высоко закрепленных белых емкостей с длинными тонкими трубками — клизмы… Неужели это единственный способ лечить нечистую болезнь? Вливают в несколько этапов

марганцовку (жидкость Конди), которой пациент должен писать, со всей силы. Потом — очистительные процедуры на весьма чувствительной слизистой оболочке внутри уретры, где скапливается инфекция. Хирург засовывает маленький, похожий на металлический зонтик, катетер в член и постепенно открывает его наподобие зонтика, расширяя вход. Это чтобы разъединить пораженные участки — для дальнейшей обработки. Настоящая пытка. Разок такое увидишь, будешь помнить всю жизнь.

Достаточно было воспоминания о муках приятеля, и Феликс почувствовал, будто на спине его выросли крылья, нет, он ни за что не станет связываться с цыганкой. Ускорив шаг, он свернул в сторону прелестного вокзала, окруженного черными пальмами. Поначалу цыганочка, видимо, не хотела отступать, но победила зевота, и, с чувством плюнув ему вслед, она направилась к шатрам. Последний поезд уже ушел, первый утренний еще очень нескоро. Где-то у невидимых причалов послышалось звяканье молочных бидонов, которые заранее переставляли в темноте в ожидании утренних телег. Вокзальный буфет тоже оказался запертым в этот час, но одинокая лампочка — без абажура — продолжала гореть.

Приникнув к замерзшему окну, Феликс видел, как старый крестьянин и его жена моют стаканы и подносы и метут обшарпанными соломенными метелками пол, выложенный плитками. Ему очень хотелось выпить грога, но ведь не откроют, пока первый поезд клацаньем и скрипом не покончит со здешней тишиной. Фиакры как стояли, так и стоят перед главным входом под часами, стрелки которых уже три месяца показывали двадцать минут третьего. Неужели их никогда не починят? Замерли, будто истуканы, кучера, завернувшись в старые одеяла, да и лошади тоже вроде бы спали — стоя.

Ворота Сен-Рош, ворота Сен-Шарль, ворота Республики — через эти можно попасть прямо в центр города, на пульсирующую жизнью маленькую площадь, вокруг которой сосредоточились все самые важные объекты — мэрия, красивый старый театр, памятник погибшим с позорными, но очаровательными оловянными львами и размахивающей флагом Марианной… До чего же детально он изучил все эти почти карикатурные символы; теперь он был не глазеющим в восхищении туристом, вдохновленным романтической историей города, а одним из сорока тысяч его жителей, его душа уже почти забальзамиро-

валась в унынии авиньонской тишины, мрачных соборов, магазинчиков и кафе с закрытыми на ночь ставнями. Самым ужасным было то, что здешний вариант считался наилучшим из тех, на какие мог рассчитывать молоденький консул, если, конечно, ему не обломится назначение в столицу или крупные города, вроде Марселя, Лиона, Рима… Многолетнее послушание во всяких глухоманях, вроде теперешней, возможно, вознаградится постом генерального консула, хотя и это будет вне основного фарватера дипломатии — ибо «настоящие» дипломаты — особая раса, свой профсоюз, закрытый круг.

Повернувшись спиной к вокзалу, Феликс направился к массивным воротам Республики и вошел внутрь крепости. Летом он обычно брел в противоположном направлении, к подвесному мосту, соединявшему город с островом; место это было довольно зловещим, там ужасно темно, хоть глаз выколи, мало ли кто подкрадется сзади. И вообще, в такую холоднющую и ветреную погоду он всегда предпочитал двигаться против часовой стрелки, чтобы прятаться от стихии за древними стенами. Он двинулся к маленькой часовне Серых Кающихся Грешников, неловко притулившейся к старому руслу с неутомимыми

огромными водяными колесами, от которых постоянно доносятся плеск воды и свист. Одолев Сен-Маняньен, попадаешь на внушающую ужас улицу Бон-Мартине[80] (название всегда вызывало у него некое смятение, хотя он и сам не мог понять, что именно так его волновало: позднее Блэнфорд нашел завалившийся в дальний угол памяти фрагмент головоломки). Улица была совсем короткой, но до того темной и узкой, что прохожие, буквально протискиваясь вдоль домов, молили Бога отвести от них руку злодея с ножом или удавкой. А заканчивалась она — и уже можно было видеть свет в конце этого весьма темного туннеля — прямо над каналами; этой частью города владели кожевники и красильщики, и, несмотря на то, что здешние ремесла остались, скорее, в прошлом, водяные колеса, которым под силу было сдвинуть и пароход, крутились днем и ночью.

Здесь тьма обретала фактуру мокрого бархата; Феликс остановился, как всегда, перед часовней и шепотом процитировал невидимую надпись над входом. Обыкновенно он доставал фонарик, чтобы прочесть все имеющиеся надписи. Здесь

---

[80] Примечания: 80

Бон-Мартине — фр. Bon martinet — многохвостная плетка, которой в старину пугали детей. *(Прим. ред.)*

было владение Серых Грешников — Черные располагались в другом конце города. Он толкнул дверь часовенки, и она со скрипом отворилась. Иногда ему хотелось посидеть минутку-другую на скамье, в полном мраке. На стене был электрический звонок с именем священника — так сказать, дежурного духовного отца, который в любую минуту готов выслушать исповедь. Однажды ночью Феликс «опозорился», именно так он бы выразился, если бы вздумал с кем-нибудь пооткровенничать. Почувствовав себя особенно несчастным, он пришел сюда помолиться; но как только он опустился на скамью и уставился на темную жуткую статую, которая должна была бы пробудить неизведанные доселе чувства, душа его чуть было не отлетела, он едва не задохнулся. Ему показалось, что он сходит с ума, вот тогда ему стало ясно, что означает выражение «бороться с черным ангелом». Правда, это скорее напоминало схватку Лаокоона с морскими змеями, из мощных скользких объятий которых тот так и не смог вырваться… В часовне больше никого не было, эхом отдавалось в тишине тяжелое судорожное дыхание Феликса. Наконец, он не выдержал: встал и подошел к звонку. Под звонком на карточке было напечатано имя дежурного священника

— *Менард.* Феликс нажал на кнопку, и его охватил ужас. Что же он натворил! Замогильный звон колокольчика медленно замирал в недрах часовни, но никто не отзывался. Феликс же продолжал прислушиваться, чувствуя себя полным идиотом и разом забыв про муки одиночества. Призывать священника в два часа ночи — это же неприлично! А что если бы его в самом деле мучили сомнения, касающиеся веры? Кризис на религиозной почве… Тогда ни один священник ни единым словом не укорил бы его из-за позднего часа — как врач, которого среди ночи разбудил бы умирающий. И все-таки Феликс чувствовал себя безответственным кретином, явившимся в церковь в неподобающее время. Как бы то ни было, ответом на его отчаянный зов была тишина. Он чуть склонил голову набок. Снаружи, на темной улице кошачья парочка завела свою жуткую любовную песнь. Где же он может быть, здешний священник? Феликс чувствовал себя не просто дураком, но преступником, не достойным внимания и сочувствия из-за своего эгоистического поведения. Развернувшись, он бросился к двери и распахнул ее. Снаружи продолжала шипеть вода, поскрипывали неугомонные водяные колеса. Феликс бесшумно затворил дверь и

прижался лбом к холодной дубовой панели, так как его охватил жар. И в этот момент раздались шаркающие шаги и щелканье ключа в исповедальне. В конце концов священник отозвался на его призывы. Феликса вновь обуяли стыд и ужас. Он выскочил в уличный мрак, оставив священника с его часовней темноте и тишине. Дурацкое представление! После ему было очень непросто в этом покаяться, но не священнику, а Блэнфорду, который вскоре стал его спутником в ночных походах, когда они отправлялись на поиски Ливии. Именно тут, рядом с часовней, Блэнфорд распутал клубок смутных ассоциаций, делавших улицу Бон-Мартине столь незабываемой и значительной. Маркиз де Сад!

— Для меня этот город знаменателен прежде всего вот чем. Двумя фигурами из авиньонского, так сказать, бестиария, которые символизируют грандиозность размаха человеческих страстей и пороков. Две полярные точки. Я имею в виду Лауру Петрарки, который придумал совершенную романтическую любовь, и маркиза де Сада, который плеткой загнал эту любовь обратно в несчастное детство. Вот уж в самом деле парочка ангелов-хранителей!

Феликс упрямо шагал к следующему бастио-

ну, к угрюмым воротам Тьер, откуда он и начал пересекать по диагонали спящий город. Пару раз ему попадались существа, неподвластные дреме, как и он. Например, старик на велосипеде, проезжавший мимо, но до того медленно, что, казалось, он отправился в путь давным-давно — возможно, еще в эпоху плейстоцена. Его велосипед подпрыгивал на булыжной мостовой, но совершенно бесшумно. А сам старик не смотрел ни направо, ни налево — может быть, спал? Но вдруг он закашлялся, и у Феликса душа убежала в пятки. Маленькая зеленая площадь Бон-Пастер дремала среди платанов, под которыми жители ближних домов оставляли детские коляски, велосипеды, тележки, их скоро заставят трудиться, едва откроется рынок. Еще с другого конца улицы он заметил проблески света в похожем на пещеру железном укрытии, где стояли три трамвая. В пять часов их визг перебудит всех горожан — ибо маршруты трамваев проходят повсюду. Другого общественного транспорта тут не было — два больших тряских автобуса были нововведением, и их отдали туристам; они коротали ночь у отеля «Крийон», и в десять повезут своих пассажиров

осматривать Эг-Морт[81] и Камарг.[82] Смутная фигура с фонарем и канистрой бензина двигалась между сонными трамваями, пора было готовить их к рабочему дню. Рассвет пока был только предчувствием, он еще не коснулся очищенного мистралем, усеянного звездами неба — едва заметный отсвет грядущего пробуждения; но уже кто-то тронул тонкую струну в необозримом далеке, и эхо донесло этот звук, ибо птицы, обитавшие в кронах деревьев, укрывавших своей сенью чудный старый рынок, принялись топорщить крылья, расправлять хвосты и пробовать голос. В «Клиник Боек» он увидел огонек под кофейником — в спиртовке. В банке «Фуа» ночной сторож, зябко поведя плечами, впустил двух пухлых старушек — это уборщицы. Поблизости кто-то невидимый насвистывал мотив популярного танго и вдруг умолк, словно смутившись.

В этот час Катрфаж наконец засыпал в отеле «Принц», не выключив света — он не выносил темноты. Что бы делал Феликс, если бы не *мысль*

---

[81] Примечания: 81

Эг-Морт — приморский город, известный своими памятниками средневековой архитектуры.

[82] Примечания: 82

Камарг — заповедник в дельте реки Роны, состоящий из островов, мелководных участков, солончаковых лугов, болот. Место массовых зимовок многих птиц.

о несчастном Катрфаже, о бедняге Катрфаже, который тоже бодрствовал всю ночь среди сорока тысяч населения, один-одинешенек, как и сам Феликс? Эта мысль согревала, с ней не так мучительно было слоняться по городу. Худенький юноша, сам того не ведая, стал товарищем консула по несчастью. Нищий ученый тоже был рабом лорда Галена. Катрфаж напоминал сонного ворона в своем порыжевшем черном *tablier*,[83] который надевал, когда работал; об этот фартук он, прервавшись, вытирал стальное перышко; он копировал итальянскую скоропись, столь же прекрасную, как арабская вязь или китайские иероглифы. Однако зачем Галену понадобились таланты бедного ученого, умеющего расшифровывать и копировать средневековые манускрипты, какое-то время оставалось тайной…

Этот смуглый истощенный юноша много чего пережил, прежде чем оказался тут, в плохо освещенном номере «Принца». Замурованный в гостиничных стенах, он с рабским усердием корпел над прожектами лорда Галена. Когда-то он служил в Церкви — был пономарем, а потом

---

[83] Примечания: 83
Фартук *(фр.)*.

викарием, однако с ним приключился какой-то скандал, по маленькой деревушке поползли, как водится, злые сплетни. Приход у него отобрали и лишили сана, совершенно несправедливо, считал он. От его истовой веры не осталось и следа, ее сменило всепоглощающее чувство безнадежности, свойственное человеку, потерпевшему крах. Как будто мрак, обступавший узенькое поле христианских доктрин, прорвался сквозь преграды и завладел его душой. «Одержим бесами» — в какой-то мере это было верное определение, ибо теперь он был убежден в том, что Бога не существует, что атеизм — единственно достойная позиция для разумного человека, такого, как он. Всю свою юность он потратил на поклонение какому-то Мумбо-Юмбо.[84] Охваченный горьким разочарованием — ведь подобное прозрение не сделало его счастливым — он стал изучать Зло, причем с той же целеустремленностью, с какой прежде посвящал себя ортодоксальному благочестию. Выбранная дорога вела его по невидимым ступеням вниз, к нумерологии, темным тайнам и символам, к сумрачным пределам алхимии и астрологии. Заодно он изучил обыкновенную,

[84] Примечания: 84
Идол некоторых западно-африканских племен.

без всякого налета демонизма, математику и стал, к собственному удивлению, неплохим специалистом. Это была случайность, но весьма удачная случайность, позволившая получить работу в фирме лорда Галена, в отделе «Общие направления»; где лорд собрал четырех молодых математиков, они анализировали графики прогнозов, предсказывали, как дальше будут вести себя шкалы индексов. Над большими и красивыми графиками Гален проводил иногда вечера напролет, гадая, что продавать, что покупать. Статистическая группа предоставляла ему примерную картину состояния его капитала и, хотя там были кое-какие погрешности, но обычно его сотрудники многое угадывали верно. Именно у Галена Катрфаж нашел то, что его устраивало; с ним считались, скажем так. Поскольку он боялся темноты и не мог заснуть до рассвета, то работал в основном по ночам. Сгорбившись над старенькой чертежной доской в унылом кабинете, он утыкался длинным носом в бумаги. У него был вид сонного ворона. Ногти он обкусывал до самого мяса, пальцы были вечно в чернилах, брюки — обтрепанные в тех местах, где он стягивал их прищепками, прежде чем сесть на велосипед. Крошечные черные мышиные глазки сердито

блестели и были полны нетерпения. Сухой кашель и постоянно державшаяся температура предрекали туберкулез; да и вся его конституция свидетельствована о том, что у него *poitrinaire*,[85] и как-то его даже отправили в санаторий, где ему делали так называемое «поддувание». Все напрасно, туберкулез не отступал.

Предательский кашель, который порою вынуждал его сгибаться пополам, так его истязал, что на глаза навертывались слезы, однако совершенно не влиял на качество работы, несмотря на поистине убийственную скуку того, чем ему приходилось заниматься.

Завершая ночную вылазку, юный консул всегда делал небольшой крюк, чтобы постоять под освещенным окном; вдохнуть, так сказать, немного мужества и страсти этого неутомимого раба. В эти минуты в нем бушевали разные чувства, которые он испытывал к дяде — ненависть, обожание, изумление, — поднимаясь и опускаясь в его душе, подобно морским волнам. Да, он ненавидел Галена; нет, потому что как же можно ненавидеть такого человека? Гален бывал очень обаятельным, чудаки и самодуры часто такими бывают.

---

[85] Примечания: 85
Слабая грудь, чахотка *(фр.)*.

Каждый день он пару раундов боксировал со своим фиолетовым негром, пыхтя и сморкаясь, вытирал перчаткой нос — с видом бывалого профессионала. Его противник и в самом деле был когда-то профессиональным боксером, он легко порхал по рингу (сооруженному в саду), как мотылек, твердо зная, что не должен бить хозяина — иначе Гален мгновенно скончается. Вот они и разыгрывали нелепую пантомиму, причем черный боксер постоянно задевал спиной канаты. На негре были зашнурованные ботинки из тонкой кожи и разукрашенная перевязь с ярко сверкающими медалями. Время от времени он делал вид, будто наносит удар — именно делал вид, — останавливая кулак возле маленького подбородка своего соперника. Сам же Гален, вероятно, метил в луну, настолько его удары были неточными. Негр уворачивался, но иногда позволял ударить себя в фиолетовый лоб, издавая при этом глухое рычание, означавшее восхищение.

Одно удовольствие было наблюдать за Максом! Негр просто не способен был двигаться неуклюже, каждое движение напоминало танцевальное па. Даже это его притворное метание по рингу со свирепой, как у разъяренной гориллы, гримасой — даже оно было легким, словно ветерок, измен-

чивым, неуловимым, случайным; это порхание было своевольным и непредсказуемым, как порхание белой капустницы среди цветов. Однако каждый жест был тщательно просчитан, даже когда его руки висели, словно рукава пиджака на вешалке. Невозможно было предугадать, когда он вскинет руку для удара, нацеленного точно, как жало пчелы. И еще он постоянно что-то напевал себе под нос, нежные мелодии, в основном, блюзы. Иногда Макс давал совет своему партнеру: «Дышите глыбже, сэ-э-э-р», — а потом, покачав головой, добавлял: «Ишь как умаялись». И Гален послушно старался дышать «глыбже». После двух раундов почти бездыханный старикан поворачивался к «публике» (чаще всего ею был бедняга Феликс), и говорил: «Видал? Вот в чем секрет моего железного здоровья».

Вставал Гален очень рано и велел везти его на вокзал — смотреть, как первый поезд отбывал в Париж; подобный ритуал он проделывал всю жизнь, в каких бы краях ни оказывался. Гален был помешан на поездах. Запах угля и бензина, толчея на платформе, возгласы пассажиров, носильщики с тяжеленными чемоданами — весь этот неописуемый хаос и одновременно идеально отлаженный порядок — каждый раз пьянили

его, будоражили кровь и душу. А прощания! Жизнь во всей ее полноте, все разнообразие жизненных ситуаций можно было увидеть, глядя на прощавшихся любовников, друзей, супругов, на прощание с детьми и любимыми собаками. Щелканье закрываемых дверей, поцелуи, пронзительные свистки, красный флажок и ровный шум двигателей, исторгающих белые плюмажи в голубое небо, — вся эта кутерьма до сих пор вызывала у него слезы. Вероятно, это один из тех жестоких парадоксов, на которые так щедра судьба, ведь железная дорога ассоциировалась с единственной трагедией в жизни Галена — необъяснимым исчезновением его дочери, совсем еще девочки. Гален потратил целое состояние, чтобы найти ее или хотя бы разгадать тайну ее исчезновения. Вероятно, такое случается каждый день, если судить по газетам, которые какое-то время на все лады обсуждают трагедию, а потом теряют к ней интерес… Пятнадцать школьниц под присмотром двух монашек из парижского монастыря Пресвятого Сердца отправились из Сидкота на воскресную экскурсию в Лондон. Когда они прибыли на вокзал Ватерлоо, одной девочки не досчитались — дочери Галена. Можно представить, сколько версий было

рассмотрено для объяснения этого невероятного факта. Выпала из поезда? Нет. Убежала? Поезд шел без остановок. Одноклассницы сказали, что на полпути она вышла из купе, чтобы пойти в уборную. И больше не появилась. Гален был вне себя от ужаса и никак не мог поверить в то, что произошло. Все окрестности были тщательно прочесаны по приказу едва не обезумевшего от горя отца. Прошли годы, но боль не утихла; в комнате Галена было множество фотографий дочери и разрисованных ее рукой Рождественских открыток. При одном упоминании ее имени он не мог сдержать слез. Однажды в Лондоне он излил душу своему подчиненному Катрфажу, как раз в то время основательно изучавшему алхимию. Сам того не сознавая, Гален хотел показать, что и он не железный, что память о дочери не дает ему покоя, ему хотелось завоевать сочувствие этого мальчика с обкусанными ногтями, такого замкнутого и неразговорчивого. К его удивлению Катрфаж вынул маятник с кольцом и попросил карту Лондона и Суррея,[86] чтобы этим священным орудием исследовать маршрут того фатального путешествия и, может быть, найти

[86] Примечания: 86
Суррей — графство на юго-востоке Англии.

разгадку.

Как зачарованный, Гален следил за колебаниями маятника, зажатого в тонких пальцах. Наконец Катрфаж произнес голосом, не допускавшим возражений: «Ее вообще не было в поезде, детям велели солгать. Монашки хотели скрыть свою оплошность. Еще на вокзале ее увела с собой цыганка». Гален даже пошатнулся — от радости и надежды. Неужели она все еще жива? В сущности, во всех викторианских романах именно цыгане были повинны в пропаже детей, да и взрослых тоже. «Она жива? — спросил он с тревогой. — И где ее искать?» Однако этого Катрфаж не знал — или сказал, что не знает. На самом деле, ему не хотелось заходить слишком далеко, поскольку он устроил демонстрацию, чтобы добиться власти над смешным воинственным человечком. И его замысел удался. Гален теперь часто заходил к нему поболтать, и неизбежно разговор сводился к одному и тому же: где находится Сабина. Старик начал тщательное изучение всех цыганских таборов, была создана особая, наподобие звездной, карта их перемещений по Европе. Он разослал на поиски своих агентов, снабдив их фотографией Сабины. На ежегодном сборище всех цыган его агенты поджидали их повозки в Сен-Мари-дела-

Мер. Своему французскому служащему Гален уже приписывал сверхъестественные способности — этот поистине бесценный мальчик в один прекрасный день, возможно, отыщет ключ к разгадке, узнает, где его дитя! Их дружба становилась все более тесной, и однажды Гален предложил Катрфажу новую работу, секретную, — ту, которую он не мог больше никому доверить. Катрфаж, как бы дико это ни звучало, теперь охотился за спрятанными сокровищами, пытаясь напасть на их след в грудах весьма противоречивых старинных документов, так или иначе связанных с тамплиерами и их ересью.

Иногда Феликс останавливался чуть поодаль от приветливо сиявшего желтого квадрата света, падавшего из окна искателя сокровищ. И тогда он оказывался на площади, где когда-то стояла виселица, и представлял на ней себя; как его освещает скудный свет луны; как его труп раскачивает резкий ветер, как гремят при каждом порыве кандалы… Лентяй и трус, если это можно квалифицировать как преступление. И бестолковый, к тому же. Не то что Катрфаж. Тот, несмотря на очевидную юношескую неопытность, а также на неистовое стремление постичь великие эзотерические тайны, сохранял замечательное,

сугубо французское чувство меры, не забывая про собственные интересы. Только благодаря его предприимчивости Феликс получил возможность изредка пользоваться «Моррисом», благо, которое они с Катрфажем делили вполне по-дружески. Этот трудяга попросил у Галена какую-нибудь машинку для поездок по Провансу, ведь ему необходимо изучать всякую древность и руины, и по ходу дела консультироваться с местными знатоками. Ездил он и впрямь довольно много, но зато в перерывах между экспедициями «Моррис» доблестно служил консульству, где его миссия была совсем иной. Феликс объезжал красивые окрестности (впрочем, почти их не замечая), переполненный одиночеством, стараясь заглушить его великолепной едой и роскошными здешними винами; хоть Авиньон и уступал Лиону в богатстве и разнообразии кухни, тем не менее в округе было чем полакомиться. Даже в этих, самых бедных своих уголках, французские кулинарные доблести казались неистощимыми человеку, выросшему на незатейливом английском меню.

Однако гастрономическое изобилие не могло заполнить эмоциональный вакуум, Феликс напрочь лишился сна, а ведь нормальный здо-

ровый сон отнюдь не роскошь для человека его возраста. И вот вам пожалуйста: бесконечные ночные бдения, и это в городе, где после наступления темноты жизнь замирает. Есть, правда, несколько грязных девиц, тайком промышляющих по ночам, вполне миленьких, но пресных, к тому же в два, с закрытием последнего кафе, где можно потанцевать, уже ни одной из них не доищешься. Только у цыганок есть изюминка и живость, и еще храбрость, которой обделен он сам. Искателям ночных радостей волей-неволей приходится «идти к цыганам», рискуя нарваться на полицейскую облаву и опозориться, представ перед судом. А это уж совсем ни к чему… Феликс покачал головой. Бездомные коты, умудрившись опрокинуть мусорные баки у «Мирен», лакомились рыбьими головами и остатками овощей. Проходя мимо них, Феликс размышлял о незавидной участи консулов и, полный дурных предчувствий, смотрел на луну, с маниакальным упорством, с унылой медлительностью приближающуюся к краю бледнеющего неба. Он зевнул. Где-то Феликс прочитал, что собаки, если им не давать спать четыре дня, умирают. А консулы? Он зевнул еще раз, сладко-сладко.

Consummatum est.[87] Ночное бдение почти на исходе. Впереди, в темноте, он расслышал уютное пыхтение больших пекарских печей в подвальчике — с потрескавшейся вывеской «Pain du Jour»[88] на уровне тротуара. Булочная была открыта, хотя свет еще не зажигали. За прилавком дремала укутанная в черную шаль женщина, — нахохлившаяся грачиха, подумал Феликс. Треньканье звонка разбудило ее, и она тут же выпрямилась, готовая обслужить покупателя. Маленькая комнатка благоухала райскими запахами — на прилавке появились батоны и круассаны, *fougasses*,[89] пончики и бриоши. Чуть погодя Феликс медленно шел домой, вдыхая аромат двух завернутых в бумагу круассанов. Ветер стих, как обычно, только перед самым рассветом. Феликс распахнул заржавевшую садовую калитку и вошел в затхлый домик, отозвавшись на привычный запах новым приступом отчаяния. Боже, даже пальма совсем уже посерела от пыли — зато кошмарный азиатский ландыш на

---

[87] Примечания: 87
Свершилось *(лат.)*.

[88] Примечания: 88
Свежий хлеб *(фр.)*.

[89] Примечания: 89
Сдобные лепешки *(фр.)*.

балконе сиял чистотой, горничная регулярно протирала его мокрой тряпкой, не пропуская ни одного листика.

Феликс пошел на кухню и сварил себе кофе. В уголке стоял деревянный ящик, который жутко скрипел, пока он его вскрывал. На ящике красовались знаки отличия Представителей Короны, Габбитаса и Спида. Он заказал им эту посылку накануне отъезда из Лондона. Сказано — сделано. Для того Представители Короны и существуют, чтобы скрашивать суровые будни сосланных в глушь дипломатов чем-нибудь сладеньким и прочими подарочками. Подарок, предназначенный ему, оказался весьма скромным: две бутылки виски, две — джина, две — белого игристого испанского вина и две — «Басса».[90] Вот вам и вся выпивка. Прямо скажем, маловато. Зато кухонной утвари было в избытке, правда, куда более подходящей для Африки, чем для Европы; однако Загранкомандировка для Представителей Короны не просто служебная командировка, всенепременно с заглавной буквы, как слово «Ад». Эти чертовы сверточки можно было подарить приятелю-дипломату на Рождество — не надо

[90] Примечания: 90
Сорт пива.

ломать голову и тратить время на магазины. В Министерстве их называли «утешительными призами» — скромное невинное утешение для мучеников, вынужденных влачить жалкое существование среди примитивных существ, описанных Киплингом, или же на задворках Европы вроде Франции с ее лягушачьими лапками и грязной водой.

Некоторых банок, например, со сливовым джемом, уже не осталось. На столе в кухне стояла банка паштета из копченой рыбы, бутылка «Джентльменской Радости» и маринованный салат «Мэйнве-ринг». Усевшись за стол, консул пристально вгляделся в эти безукоризненно британские продукты. «Имперские анчоусы», ароматная горькая настойка «Ангостура». Бобы со свининой, имперский формат. Соус «Ли и Перрин»… Накатила тоска по дому. Успокоила Феликса открытка Блэнфорда, сулящая великолепное разнообразие на следующее лето; но это когда еще будет… Феликс налил себе большую чашку кофе и потянулся за молоком в холодильник, то есть в ящик со льдом, однако льда там уже не было, одна только вода. Молоко подозрительно попахивало. Ладно… вот и солнце. Стало быть, еще одна ночь позади. Сегодня его очередь

кататься на «Моррисе». Феликс принялся распаковывать ящик, пряча банки в шкаф, расставляя их с суматошностью старой девы, следя, чтобы были хорошо видны все надписи. Потом им вдруг овладела странная блажь, и он сделал то, чего делать совсем не стоило: намазал круассан паштетом и со стоном проглотил кусок. Оказалось очень вкусно.

Оставались еще целых два часа до прихода служанки, она постучит в дверь, и чтобы случайно не проспать, Феликс взял с тумбочки маленький будильник, поставив стрелку на одиннадцать, завел пружину. Потом он разделся и, зевая, улегся в свою нетронутую постель, выключив все лампы за исключением ночничка, поскольку собрался, как обычно, «учитаться» до упаду, то есть до сонного состояния; тем более что и книжка попалась весьма подходящая — «Руководство для зарубежных служащих». У нее был синий переплет с королевским гербом, очень похожий на обложку — увеличенную — паспорта. Текст этого министерского устава не обновлялся уже лет сорок, судя по невероятно большому объему фолианта. Вместе с Библией и Молитвенником книжицу эту в обязательном порядке вручали молодым чиновникам, впервые отправляющимся за рубеж.

Проверенные временем советы и инструкции были самым лучшим снадобьем для страдавших бессонницей консулов. Взять, например, главу под названием «Советы путешественникам»:

Служащие обязаны иметь при себе мягкие ночные колпаки; мягкие туфли на смену ботинкам, дорожный несессер со швейными принадлежностями, пару теплых дорожных пледов, бутылку «Боврил»,[91] небольшую спиртовку, бутылку спирта, чашки, блюдца, ложки и печенье. Не следует забывать о плотном мешочке для двух смоченных водой губок, о мягком полотенце, о фланелевой салфетке для лица, о щетке и расческе. Подушки должны быть из пушка чертополоха или одуванчика, чтобы их легко было сворачивать. Очень полезно иметь длинное свободное пальто, чтобы проще было расстегивать под ним одежду, с глубокими карманами. Обязательно прихватите лишнюю пару перчаток. Всегда берите с собой «книжку» с мыльными листиками, чтобы удобно было мыть руки. Достав влажную губку и оторвав мыльный листик, уставший и пропыленный путешественник всегда может освежить лицо и руки. Неплохо брать с собой

[91] Примечания: 91
Мясной экстракт для бульона.

ингалятор, банку с горчичными листьями, мензурку, липкий пластырь, бутылку с водой и фляжку с бренди — на случай внезапного недомогания или обострения какого-либо недуга во время поездки.

Этот милый нудный вздор убаюкал консула, и ему приснилась длинная вереница почтенных, довольно неприметных, однако же храбрых мужчин в пробковых шлемах, за которыми следовал багаж из фляжек с бренди и спиртовок. Он тоже присоединился к этому долгому и бессмысленному сафари, тем самым навсегда лишив себя возможности наблюдать отлив и прилив модных акций на симпатично разрисованных схемах Катрфажа. Какого черта понадобилась «пара теплых дорожных пледов»? Разве недостаточно одного? Феликсу во что бы то ни стало захотелось это узнать. Однако его окончательно сморил сои: книга упала на ковер, и он автоматическим неосознанным жестом выключил ночничок. Его изумительно крепкий здоровый сон будет потревожен будильником ровно за десять минут до прихода служанки, наводящей порядок в маленьком доме.

В положенный час раздался визг трамваев, следом зазвонили колокола, которые так когда-то

раздражали Рабле; но Феликс ничего этого не слышал.

Глава четвертая
Летнее солнце

Наконец-то пришло лето, настоящее лето, и обещанный приезд четырех гостей в старое поместье стал явью. В знаменательный день Феликс пребывал в таком волнении, что не смел ни на минуту покинуть пристань, возвышающуюся над быстрой зеленой водой — боялся упустить долгожданных гостей. Он, как безумный, бродил по причалу — на самом ветру; и, разговаривая с самим собой, то и дело пил кофе в маленьком бистро «Навигация», стоявшем чуть ли не в воде, хозяином которого был одноглазый матрос.

Встречающих оказалось не так уж мало, они ждали на quai vive[92] первого гудка, когда пароход одолеет последний поворот, — и торжествующих криков пассажиров при виде панорамы Авиньона, что означало конец путешествия. Консул уже несколько раз успел наведаться в шато — на машине и на велосипеде, а один раз даже пешком; попасть внутрь он не мог, по-

---

[92] Примечания: 92
Плавучий причал *(фр.)*.

скольку ключи находились у нотариуса Беше, так что пришлось разок-другой устроить себе пикник в безнадежно заросшем сорняками саду и potager.[93] Усевшись под одной из высоких сосен, вдыхая ее терпкий острый аромат, он съедал все свои шесть сэндвичей, запивая их красным вином и мечтая о приятной компании, которой он скоро будет наслаждаться. Его мечты были не напрасны — обаяние и веселость прибывших превзошли все ожидания; Феликса сразу же приняли как своего, и поместье Ту-Герц стало его вторым домом. Вечера они обычно проводили вместе, усевшись за старинный кухонный стол, играли в очко. Однажды ему удалось вытащить на обед Катрфажа, который там даже немного повеселел и до того осмелел, что решился показать несколько хитроумных карточных фокусов. Но больше всего Феликса радовало отсутствие лорда Галена. Старикан решил подлечить свою печень в Баден-Бадене и отбыл, причем ни словом не обмолвился о том, когда намерен вернуться. Это было чудесно. Консульство теперь почти постоянно было закрыто, да и Катрфаж забросил свои письменные принадлежности, забыл о картах

---

[93] Примечания: 93
Огород *(фр.)*.

Крестовых походов, пришпиленных к стенам его комнаты, и принял участие в серии, скажем так, не совсем пристойных экскурсий в цыганский район — в квартал под названием Ле Баланс.[94]

Ливия приехала чуть позже, прямиком из Мюнхена.

Ее появление привнесло в отношения молодых людей нечто новое. Холодная безмятежность девушки и ее железный характер произвели огромное впечатление — в первую очередь, конечно же, на безмерно восприимчивого Блэнфорда. Однако и Феликс по-своему тоже был совершенно покорен, она по-сестрински подшучивала над ним, играя на тайных струнах юношеской страстности. И он ни в чем не мог ей отказать; даже когда она попросила пустить ее в гостевую комнату, в этот прославленный альков (она была слишком независимой, Ту-Герц ее стеснял), он промямлил «ну конечно», хотя ему было очень неловко селить кого-то на консульской вилле. Блэнфорд же, услышав ее просьбу, побледнел. Блэнфорд тогда побледнел.

Однако несмотря на дивное, ослепительное, роскошное разнообразие развлечений в те памят-

---

[94] Примечания: 94
Весы *(фр)*.

ные первые дни, исподволь начинало созревать нечто гораздо более значительное, неизбежно в будущем их подстерегали изменения в чисто дружеских отношениях. Неразлучные Сэм и Хилари были первыми заводилами в разных приключениях и путешествиях; однако после приезда Ливии Хилари стал ощущать некоторую скованность, взгляд льдисто-голубых глаз становился настороженным и задумчивым, когда он наблюдал за Феликсом и Блэнфордом, которые не смогли вынести нагрянувшего шторма, и шли ко дну. Сэм и Констанс как-то умудрились сохранить дружескую безмятежность — впрочем, странствующему рыцарю, рожденному для испытаний, это было нетрудно. Сэм состоял не из плоти и крови, а из плоти и прочитанных книг. В улыбчивой блондинке Констанс он нашел даму сердца, не хватало лишь башни, где ее можно было заточить… Естественно, все эти психологические тонкости были осмыслены гораздо позже — а пока события чередовались с такой стремительностью, что не поддавались никаким оценкам. К тому же Блэнфорд замечал много такого, в чем, будучи еще совсем неискушенным юнцом, не мог разобраться. Позже он приписал часть своих заблуждений Сатклиффу, чтобы воспроизвести

удивление, испытанное им, как только правда (но какая именно?) прояснилась. Когда Ливия однажды обожгла сигаретой запястье Хилари, он ее отшлепал — и через миг они, как дикари, вцепились друг другу в волосы. Что ж, братья и сестры вечно дерутся…

Они нашли себе в деревне горбатую служанку, которая приходила каждый день; а до того она долго работала serveuse[95] в борделе, это они уже потом узнали. В борделе она научилась разбираться в помыслах мужчин — стоило ей войти в спальню, как все тайное становилось явным: она читала спальню, как прочие смертные читают книгу. Не хуже бывалого сыщика она умела воссоздать картину происшедшего; разбросанные подушки и одеяла, каждая мелочь многое ей говорили. Она часто улыбалась чему-то. Однажды Блэнфорд, проходя мимо (дверь была открыта), увидел, как она взяла подушку и стала ее нюхать. Потом покачала головой и улыбнулась. Обернувшись и заметив Блэнфорда, служанка хриплым голосом воскликнула: «Мадмуазель Ливия!» Но застилала-то она кровать Хилари. Смысл некоторых сцен постигаешь не сразу; мно-

---

[95] Примечания: 95
Служанка *(фр.)*.

го-много позже Ливия вдруг укусила его, вонзив в мякоть ладони свои белые зубы, и тут он сразу все вспомнил. Он вспомнил конец лета, и как напрягся Хилари, когда он спросил: «Хилари, что скажешь, если я однажды попрошу Ливию стать моей женой?» Холодные голубые глаза сузились, а после вдруг вспыхнули от какой-то вымученной радости; Хилари так крепко сжал тогда его плечо, что Блэнфорду стало больно, но ни слова ему не сказал. Позднее, за ланчем, он неожиданно произнес: «Думаю, Обри, тебе надо как следует все взвесить». И Блэнфорд сразу понял, что он имеет в виду Ливию. Иногда требуются годы, чтобы уловить какую-нибудь крошечную, но очень важную подробность в многомерных и многослойных смыслах наших поступков… Ведь и Сатклифф раз написал, обращаясь к нему, в одной из своих записных книжек: «Правильная девушка, старина, вот только пол ей достался неправильный. Не повезло!» В другой раз, уже в другой записной книжке старый писатель начертал: «Беспомощный гнев моей матери, взведенный, как спусковой крючок, чтобы одним выстрелом загнать меня в постель Ливии, или одной из ее соплеменниц». Потом новые детали, еще и еще — ибо теперь Ливия проводила иногда денек,

иногда несколько, в крошечной гостевой комнатке консульства, где стоял громоздкий нелепый шкаф, в котором Феликс выделил ей местечко для одежды. Когда Блэнфорд в конце лета сказал Феликсу: «Перед отъездом отсюда я собираюсь сделать Ливии предложение», — тот посмотрел на него странным, полным изумления, взглядом, который Блэнфорд приписал обыкновеннейшей ревности. И вот минула не одна тысяча световых лет, Блэнфорд в ту пору уже увековечивал для потомков странные маневры своего двойника Сатклиффа и однажды совершенно случайно столкнулся на платформе с Феликсом (это было в Париже, лил дождь), который отправлялся туда, на юг. И Феликс поведал, наконец, что означал тот давний взгляд. Он не стал повторять уничтожающий отзыв Катрфажа о специфических особенностях Ливии. Катрфаж тогда, один вечер в неделю проводил в консульстве, выполняя черновую работу, понемногу подрабатывал. Высказывание маленького клерка было совершенно неожиданным и кратким. Именно эта краткость потрясла тогда Феликса, простая констатация факта. И все же… он на всякий случай заглянул в комнату гостьи, когда там убирала служанка. В обшарпанном шкафу он приметил мужские

вещи, которые разожгли его любопытство. Ему было точно известно, что по ночам она часто наведывается в район, где расположился цыганский табор. А почему бы и нет? Она была молодой, хотелось приключений, маскарада, вот и переодевалась в мужской костюм. Об этом Феликс не без раздражения сказал маленькому клерку, но тот лишь покачал головой и коротко уточнил: «Все понятно. Я и сам часто захаживаю Kgitanes[96]». И ведь действительно захаживал… Но учти (так говорил себе Блэнфорд), все это далеко не самое важное. Нет, не самое, — никто и ничто не заставит его хулить то, что он познал благодаря Ливии, что, говоря фигурально, зажгло пламя в его теле и душе, разом превратив недопеченного молокососа в мужчину. В определенном смысле, как раз *это* было самым ужасным; ведь он, почти неосознанно, наслаждался муками, которые она ему причиняла. Когда же он открыл душу Феликсу, тот стал восхищаться его верностью и благородством, что, естественно, совершенно взбесило нашего героя. «Боже мой, Феликс, — раздраженно простонал он, — при чем тут верность! Просто я попал в ловушку. И у меня нет выхода.

---

[96] Примечания: 96
Цыганки *(фр.)*.

Меня распирает ярость, но что толку!».

Однако не один он был за многое благодарен Ливии; Феликс тоже не стал исключением. Ведь Ливия часто составляла ему компанию в ночных прогулках. Именно она заставила его полюбить мрачный городок, можно сказать, сотворила настоящее чудо. «Venite adoremus»[97] гласила потрескавшаяся золотая табличка на часовне Серых Грешников, словно часовенка эта принимала и понимала чувства Феликса, его благоговейное обожание загадочной и эксцентричной девушки, ибо его любовь была безнадежна. Ливия покорно сидела с ним на скамейке в церковной тишине, прислушиваясь к ропоту воды, плещущей на непокорные лопасти колес. Не отнимая у него руки, она шептала: «Ты молись, если хочешь. У меня никогда не получалось». А он лишь еще сильнее напрягался от застенчивости, чувствуя, как щеки его заливает румянец, невидимый в темноте. Он готов был сколько угодно сидеть неподвижно, в одной позе, лишь бы чувствовать ее шершавую ручку в своей руке, это было блаженством. До чего же это было прекрасно, до чего романтично! И какой прелестной была в такие

[97] Примечания: 97

Приидите, поклонимся *(лат.)*. Слова из католической литургии. *(Прим. ред.)*

минуты Ливия. Она часто говорила о живописи, казалось, она все-все знает об Авиньоне, до тех пор вызывавшем у него лишь тоску, тоску узника. Что до цыганских замашек… что ж, это не мешало ей стать одной из лучших в Слейд-скул[98] в те годы, когда авторитет Огастуса Джона[99] еще не подвергался ни малейшему сомнению; каждая подающая надежды студентка мечтала стать вольной и независимой Кармен. Однажды ночью он совершенно случайно натолкнулся на нее в восточной части города, она шла в обнимку с молоденькой цыганкой; следом за ними, в качестве то ли защитников, то ли ухажеров плелись двое худых цыган, которые вели за собой мула. Обе были обтрепанными, как настоящие парии, и глаза их сияли нечестивым блеском — словно они только что совершили удачное ограбление. Ливия была в старых брюках и без туфель: еще одна причуда — ходить босой. В то лето она порезала ногу о консервную банку, и ранка воспалилась, пришлось ей на некоторое

[98] Примечания: 98

Слейд-скул — художественное училище при Лондонском университете, основано в 1871 г., названо в честь известного мецената и коллекционера произведений искусства Ф. Слейда.

[99] Примечания: 99

Джон, Огастус (1878–1961) — Валлийский художник. Автор многих известных портретов. Вел богемный образ жизни, много путешествовал.

время угомониться и прекратить свои ночные вылазки. Заботливый уход Феликса она приняла как нечто само собой разумеющееся. По вечерам возле консульства часто видели цыганку, но при появлении Феликса та мигом исчезала.

Но Катрфажа Ливии приручить не удалось; они ненавидели друг друга и даже этого не скрывали. Спустя некоторое время они пришли к оригинальному компромиссу, маленькому клерку умелым шантажом удалось залучить ее в помощницы, использовав ее связи с цыганами, поскольку среди многочисленных проектов лорда Галена были и такие, где очень пригодились их вольные нравы.

Предыстория этого компромисса такова: цыгане, как известно, занимали квартал Ле Баланс, облюбовав ветхие и пользовавшиеся дурной славой дома. Катрфаж надоумил их разобрать каменные полы и начать раскопки, чтобы добраться до той части культурного слоя, который хранил предметы древних эпох, когда Авиньону и не снилось «пленение пап». Амфоры, могильники, оружие, домашняя утварь, мозаичные полы — поистине это были чуть ли не самые богатые археологические находки той поры. Все эти сокровища были упакованы в мешки

и тайно перевезены в шато Галена на телеге, запряженной мулом. Поняв, что пикантные подробности ее «цыганских» похождений успели дойти до ушей Катрфажа, Ливия согласилась ему помогать, лишь бы он не рассказал кому-нибудь про ее сомнительные забавы; и в самом деле она спасла пару весьма ценных предметов, которые цыгане наверняка бы продали, естественно, они догадывались, что кому-то эти находки принесут хорошие денежки, куда больше, чем им платит Катрфаж.

Да, то лето запомнилось Феликсу не только дивными вечерами в Ту-Герц, но и долгими ночными прогулками в обществе надменной темноволосой босоногой девушки; ее тонкая фигурка была прямой, как стройное деревце, ее не пугали самые темные закоулки — даже те, где беднягу Феликса всегда одолевала дрожь. Взять хоть улицу Лонд, там единственный газовый фонарь, и тот висел на стене, столь замшелой и отсыревшей, что от нее веяло могильным холодом… Там столько темных незаметных дверей — отличное место для грабителей. Ливия не обращала внимания на подобные мелочи и продолжала вполголоса что-то рассказывать, хотя приходилось идти друг за другом, чтобы не испачкаться о грязную стену.

Ей очень хотелось отыскать в лавках знаменитую авиньонскую шаль, такая была когда-то у ее матери, еще до замужества. Но увы, в городе больше никто не делал этих тонких кашемировых платков.

Это Ливия приучила его сидеть и слушать, как просыпаются птицы на маленьких площадях вроде Ле-Бон-Пастер или Сквер-де-Корп-Сент с ее обшарпанным плещущим фонтаном; или на Сен-Дидье, расположенной немного под углом к остальному городу, но не менее запоминающейся. Как раз во время подобных ночных прогулок он, наконец, прозрел: ему открылась неповторимая гармония южного Средиземноморья, теперь он буквально упивался великолепием здешних звездных ночей. Какое это было счастье, вшестером расположиться под деревом рядом со старым бистро, например, у «Птицы», попивая молочно-белую анисовку, pastis, сидеть и ждать, когда над изъеденными временем зубчатыми стенами города поднимется луна. Один раз Ливия привела лошадей, одолжила у цыган, и они поехали к Пон-дю-Гар. Устроили там пикник, и всю ночь провели на крутом склоне горы, нависшем над жадеитово-зеленым Гардом, который, петляя, бежал к морю. Иногда и Блэнфорд присоединялся к

их с Ливией ночным прогулкам. Феликс злился и сразу падал духом, как только на сцене появлялся его друг. Но ведь и сам Блэнфорд был жертвой магнетизма Ливии — никак не хотел уйти, оставить их с Феликсом вдвоем, хотя мысленно проклинал свою назойливость и бестактность. А Ливия, похоже, радовалась, явно предпочитая его Феликсу. Помрачневший консул вынужден был смотреть, как эта парочка идет впереди, нежно взявшись за руки, он же в своем университетском блейзере обычно уныло брел сзади, бормоча под нос страшные ругательства и страдая от ревности. Впрочем, никто не принимал тогда все эти любовные симпатии и обиды всерьез — в них просто играла юность, их опьяняло чарующее ощущение летней неги среди олив и вишен Арамона и Фулка, Монфаве и Сорге. Часто, когда Блэнфорд мысленно возвращался в то безмятежное время, перед ним, как наяву, вставала эта картина: их компания на железном мостике, переброшенном через родник в Воклюзе; все неотрывно смотрят на взбудораженную форель и слушают рев воды, которая, вырываясь из узкой глотки расселины, мчится мимо, полная рыб, которым не нужно было даже плыть, их несла река.

Если бы Блэнфорд правда хотел понять тай-

ну своей страстной привязанности к Ливии, то наверняка вспомнил бы еще одну сцену из той благословенной поры. Однажды Феликс на несколько дней уехал, и Ливия вдруг назначила Блэнфорду свидание в маленьком музее — в центре города. Явиться он должен был… в половине пятого утра; кое-как проснувшись, Блэнфорд пришел вовремя. Босоногая Ливия была не одна — со смуглым цыганом. Они стояли у входа в здание, темного из-за тени. Еще только-только начинало светать. У цыгана в руках был огромный ключ в виде рычага, как выяснилось, от замка. Высокие двери с тихим шорохом открылись внутрь, и троица очутилась во дворе, выложенном красным булыжником — как только они вошли, из глубины сада, где росли высокие серебристые от росы платаны, послышались резкие крики. Оказалось, на лужайке кричали павлины. Надо было пройти через высокие стеклянные двери, — чтобы попасть во внутренний дворик, от которого в тот ранний час веяло несказанным покоем. Все время молчавший цыган ушел, оставив ключ Ливии. И теперь уже вдвоем они двинулись вдоль галерей с огромными акварелями мастеров итальянской школы: озера, виадуки, улицы, изобретенные воображением художника пейзажи — во все

времена года. А с темных портретов на них смотрели знатные дамы и забытые знаменитости, смотрели очень внимательно. Потом Ливия и её спутник оказались в греко-римском отделе, и уже оттуда прошли в маленькую залу со стеклянной крышей, где хранилось множество рукописей и документов.

Видимо, Ливия часто сюда наведывалась, потому что стала уверенно открывать шкатулку за шкатулкой. Потрясенный Блэнфорд увидел записи, в которых говорилось о замужестве возлюбленной Петрарки, донны Лауры, и, более того, несколько страничек, вырванных из писем маркиза де Сада. Это было удивительно: держать в руках белый листок, вчитываться в написанные выцветшими чернилами строчки. Он забыл, что и у знаменитого распутника, и у Музы Петрарки одна фамилия — Сад, и они родом из одной семьи… А утро такое тихое, такое раннее. Но вот Ливия подходит совсем близко, вот она в его объятиях; потом она заперла бесценные шкатулки и повела его на прохладную поляну, они сидели рядышком на скамейке, пытаясь скормить павлинам зачерствевший сэндвич, который Блэнфорд предусмотрительно захватил с собой.

— Скоро я вернусь в Германию, — сказала де-

вушка, — и мы не увидимся до следующего лета, если ты не поедешь со мной; но ты пока не можешь уехать, я знаю. Обри, в Германии назревают невероятные перемены; страна живет надеждой, вся страна. Рождается новая философия, которая сделает новую Германию лидером всей Европы.

Это заявление было несколько настораживающим, но Блэнфорд был не в ладах с политикой. До него доходили слухи о том, что в Германии сейчас неспокойно, что там мечтают о пересмотре границ — такова реакция на Версальский договор.[100] Однако от этих политических дрязг веяло такой скукой, и вообще, он был уверен, что новое правительство раз и навсегда покончит с этими безумствами. Да и как можно было думать о новой войне, тем более из-за всяких мелочей… Вот почему высказывания Ливии показались ему очень романтичными. Скорее из желания ее подзадорить — он обожал, когда у нее от волнения розовели щеки и она крепко сжимала руки — нежели из искреннего интереса, Блэнфорд спросил:

— И что же представлял собой старый мир?

Нетерпеливо смахнув упавший на глаза локон,

---

[100] Примечания: 100

Имеется в виду Версальский мирный договор 1919 г., по которому Германия возвращала часть земель целому ряду стран. *(Прим. ред.)*

она ответила:

— Старый мир умер в тысяча восемьсот тридцать втором году, вместе с Гете; тогда главенствовали гуманизм, либерализм и вера. Гете был символом этого мира, а эпитафию произнес Наполеон после встречи с Гете; это была непроизвольная дань восхищения всему тому, что разрушала Французская Революция. «Voilà un homme»,[101] — произнес Бони,[102] дитя Директории[103] и предвестник ленинизированной еврейской культуры сегодняшнего дня. После смерти Гете возник новый мир, который под эгидой иудео-христианского материализма превратился в огромный трудовой лагерь, вот так. Везде — в искусстве, политике, экономике — евреи выскочили вперед, и они задают тон. И лишь Германия хочет заменить этот этнос на другой, на арийцев, которые обеспечат новый расцвет вечных ценностей, как это происходило во времена Гете, он ведь был последним гением

---

[101] Примечания: 101

Здесь: Вот это человек! *(фр.)*.

[102] Примечания: 102

Бони — сокращенная форма от «Бонапарт»

[103] Примечания: 103

Директория (1795–1799) — Правительство Французской республики, сложившееся после свержения диктатуры якобинцев на завершающем этапе Великой Французской революции. *(Прим. ред.)*

возрожденческого масштаба, гением-универсалом. Почему бы не вернуться к этому?

Блэнфорд не представлял, как такое возможно, однако ее трогательный энтузиазм был настолько горячим, а ее поцелуи настолько обезоруживающими, что он сам не заметил, как закивал в ответ. Новый мир Ливии. Это звучало как «сад Гесперид», полный золотых яблок. Собственно, любая модель нового мира, в котором присутствовала бы Ливия, немедленно была бы пылко им одобрена. Он сказал:

— Ливия, милая, я люблю тебя. Расскажи обо всем этом поподробнее, по-моему, всем нам как раз и надо избавиться от воинствующей тупости.

И Ливия продолжила рассказ об этой потрясающей интеллектуальной авантюре. Ее наивность, вера в идеальное устройство нового мира, разрывали ему сердце. Но стоило упомянуть Констанс, как она вскричала:

— Не выношу ее упрямства, носится со своими еврейскими маклерами от психоанализа, сколько можно… венский раввинат. Все это мертво, давно мертво. Бесплодный конструктивизм, из которого торчат уши логического позитивизма! — Блэнфорду пришлось туго, потому что он почти ничего не знал ни о специфике метода, ни о

персоналиях. А Ливия все тараторила и тараторила: — Задолго до никчемных еврейских штучек, попыток препарировать человеческую психику, древние греки выработали свою собственную, куда более плодотворную и поэтичную, и при этом разумную систему. Так например, до горстки головорезов, которые управляли с Олимпа, были другие боги, скажем, Уран, правивший землей и кастрированный своим сыночком Кроном. Отрезанные гениталии, все еще подергивающиеся, кровоточащие, пенящиеся, были брошены в море, и эта пена дала жизнь Афродите. А какой из миров предпочитаешь ты? И что тебе кажется наиболее плодотворным?

У Блэнфорда едва хватило сил прошептать в маленькое ушко изрядную глупость:

— Я люблю тебя, и я согласен.

Она коснулась его лица — задействовав чувство осязания — и бедняга был окончательно зачарован; он был влюблен, он был до того счастлив и несчастлив одновременно, что согласился бы на что угодно, лишь бы к этому была причастна Ливия.

Потом они лежали на влажной траве, подложив руки друг другу под головы, и смотрели в чистое теплое небо, в котором постепенно разли-

вался солнечный свет и плыли светлые певучие облачка — герольды еще одного прекрасного дня. Скоро придется потихоньку отсюда выбираться, заперев высокие двери, а потом сонно плестись в Ту-Герц через оливковые рощи, серебрящиеся на ветру. Поцелуи ее маленького сурового рта с тонкими губами, иногда прерывавшиеся улыбчивым презрением или внезапной сдержанностью, были такими многообещающими, открывали перед Блэнфордом целую вселенную. Последние несколько ночей она обещала провести в его комнате. «Я приеду в Париж через три месяца, если ты хочешь меня». И Блэнфорд принялся быстро соображать, что бы такое предпринять, чтобы воспользоваться столь заманчивым предложением. Глядя в camera lucida глазного экрана, он видел еще одну многократно увеличенную Ливию, она заполняла собой все небо и парила над ними, словно древнегреческая богиня. Как все-таки ужасно, что ему придется делить это чудесное создание с другими — но что поделаешь, ведь они же договорились: все делать вместе и по мере возможности не разлучаться. Поначалу лето казалось бесконечным, а возвращение домой, на север — чем-то нереальным. Но когда отъезд стал неотвратимо надвигаться, друзья

решили, что нужно успеть увидеть как можно больше до неизбежного расставания, срочно на экскурсии… Только Констанс должна была остаться в Провансе, хотела привести дом в более или менее нормальный вид; Сэму, Хилари и Блэнфорду предстояло осилить последние выпускные экзамены и выбрать профессию. Центр тяжести потихоньку смещался. На рассвете, не в силах уснуть, Блэнфорд отправился к пруду с лилиями и увидел в рассветных сумерках, как обе сестры, совершенно нагие, идут по выложенной плитками тропе туда же, не нарушая сонного молчания. Тонкие, высокие, державшиеся прямо и даже горделиво, они были похожи на юных Граций, которые сбежали из пантеона богов в будничный мир, населенный простыми смертными, возжаждав романтических приключений. Блэнфорд отошел в сторонку и стал ждать, когда раздастся плеск воды, и тогда смело подошел к пруду и беззвучно, словно форель, поплыл. Все трое, размеренно дыша, лежали среди похожих на лотосы лилий, ждали, когда среди деревьев покажется солнце.

Это было похоже на сон — влажные головки сестер, словно оживший мрамор; сгустки тишины, окутавшие сад, вдруг были прорваны

короткой птичьей трелью. «Опасности и расставанья лишь обостряют страсть», — сказал кто-то из древнегреческих поэтов. Каким бы щедрым ни было это прекрасное лето, Блэнфорда угнетало приближение разлуки — ему придется остаться один на один с мучительным, кружащим голову желанием… Ее мокрые волосы плотно облепили голову, отчего она казалась обритой; прелестные ушки слегка оттопыривались и были похожи на трогательных беззащитных гномов. С залитого солнцем балкона, где обычно завтракали, они наблюдали за стремительными полетами стрижей; как замечательно птицы вписывались в этот сад, который Констанс клятвенно обещала не трогать, оставить все как есть. Тут было полно сокровищ: старые, но все еще плодоносящие деревья, земляничные полянки, и несколько засохших голых каменных дубов (какие же они крепкие, эти старые деревья!), под которыми росли трюфели.

Дни начали сливаться в один жаркий южный день. Зной, вода, солнце совершенно вытеснили из их жизни (за ненадобностью) календарные числа, названия дней недели, поди теперь разберись, когда именно и куда именно они отправлялись в старой, запряженной пони телеге, обследуя речные ущелья. А еще они в какой-то из

дней сели на игрушечный поезд и покатили к морю, чтобы провести ночь на берегу, а после как-то отправились посмотреть на представление с быками, это старинная игра «сорви кокарду», в смысле, с быка… Это происходило в покрытом пылью Лунеле. Ах, этот крошечный карманный поезд, как долго он тащился к плоскому равнинному Камаргу, чтобы они могли взглянуть на Гро де Руа. Все казалось таким праздничным. Вагончики сверкали чистотой — красные для пассажиров первого класса, желтые — для второго и зеленые — для третьего. И на каждом вагончике скромная надпись: PLM.[104] Они подолгу стояли на маленьких станциях, рядом с которыми машинист притормаживал, чтобы можно было соскочить в поле и нарвать немного лука. А когда умираешь от жажды, до чего же хорошо напиться прямо из колонки, это уже в Эмарге; собственно, вода предназначалась для двигателя, но, напоив машину, позволяли напиться и пассажирам. Однажды Хилари даже облился, пока они ждали другого поезда, который должен был доставить их в папские владения. Сухой летний зной был полон разных ароматов: с побережья долетали

[104] Примечания: 104

PLM — сокращение названия железнодорожной магистрали Париж — Лион — Средиземное море.

запахи песка и моря, с полей, где бродили отары овец, — тимьяна и розмарина. Иногда они пережидали на запасном пути, когда проедет поезд из Нима с маленькими черными камаргскими бычками, предназначенными для местной бескровной «корриды». Маленькие станции на дорогах в рай, блокпосты на краю земли; когда они возвращались с экскурсий, голова у всех шла кругом от солнца и моря. А вечерами Блэнфорд слышал милый голос Ливии, произносившей нараспев «аум»[105] — это она занималась йогой, устроившись где-нибудь в зеленых зарослях, чтобы заново зарядить энергией тело и насытить кислородом мозг. И он вспоминал фразу из другой жизни: «Человеческое сердце из мускулов и крови — это не сердце *ваджра*;[106] подобно лепесткам лотоса, створки нашего сердца открываются днем и закрываются ночью, когда мы спим».

Южная нега вторгалась и в их ласки, задавая им особый тон и ритм; с Ливией все было просто,

---

[105] Примечания: 105

Аум *(санскр.)* — основная мантра у индуистов (обычно произносится как «ом»), священный и сокровенный слог, символизирующий древнеиндийскую триаду: Брахма — творец, Вишну — хранитель, Шива — разрушитель. *(Прим. ред.)*

[106] Примечания: 106

Ваджра *(санскр.)* — здесь: абсолютная мудрость.

даже чересчур. Ему никогда не забыть ее резкого громкого: «Ха!» — когда она чувствовала приближение оргазма; это был крик японского воина, приготовившегося нанести удар мечом. А потом столь сильным был накал любовной схватки, что Ливия вся обмякшая, как будто у нее больше нет костей, лежала в его объятиях.

Устроившись между коричневых камней над Пон-дю-Гар, они ели свой ланч, любуясь парящими в вышине орлами, и все шестеро, словно по уговору, думали о ближайшем будущем. Что же теперь будет, как жить дальше? Пока больше всех повезло Блэнфорду, унаследовавшему кое-какие деньги, и еще он хотел устроиться куда-нибудь преподавателем — во всяком случае, очень на это надеялся. Потрясающе загоревший Сэм был менее уверен в своем благополучии.

— Доходов у меня никаких не предвидится, а с тем небольшим умишком, который мне достался по наследству, вряд ли можно рассчитывать на приличную работу. Сказать по правде, армия кажется мне pis aller[107] — военная романтика в общем-то не для меня.

Он был активным участником Оксфордских

---

[107] Примечания: 107
Крайнее средство *(фр.)*.

подготовительных офицерских частей и при удачном стечении обстоятельств мог быть направлен в пограничную часть. Констанс держала его под руку, почти черную от загара, и улыбалась ему доверчиво и спокойно. В их отношениях не было надрыва, тогда как Ливию и Блэнфорда уже грызла безысходность; они были на пороге ада, где их ждала судьба, похожая на безнадежного банкрота. Да, они зашли слишком далеко, повернуть назад было невозможно, даже если бы они захотели.

— Я сейчас вас удивлю, — сказал Хилари, — и, вероятно, расстрою. Мне, как иногда метко говорят, легла на душу католическая вера. И теперь я решил ее попробовать — если так можно выразиться. Я подумал, что после следующего триместра удалюсь от мира, посмотрю что и как, послушаю, что полагается делать. А на жизнь буду зарабатывать уроками. А там посмотрим, идти мне дальше или не стоит.

Улыбнувшись, он посмотрел на всех и неожиданно засмущался, теперь, когда он высказался вслух о своих чувствах, они утратили прежнюю весомость и значительность. Помолчав, Хилари спустился на свое любимое место над рекой, постоял там пару секунд, потом прыгнул «ласточ-

кой» в светло-зеленую воду, мерцавшую далеко внизу. Вздохнув, поднялся и Сэм, собираясь последовать примеру Хилари, потом — Блэнфорд. И тут, вероятно, под влиянием этой короткой беседы, он явственно представил собственное будущее.

У Блэнфорда было прелестное изящное колечко, которое он намеревался подарить Ливии, но его грызли сомнения, ибо речь могла идти только о предложении руки и сердца — лишь так он мог передать всю серьезность своих чувств и намерений. А Ливию все вроде бы и так устраивало; она смотрела на него и слегка улыбалась, довольно жесткой улыбкой, не отнимая у него своей руки. Им предстояла встреча в Париже! Ах! В кафе той великой эпохи, когда люди умели сходить с ума от любви, поэтому первым делом заказывали чернила и бумагу, конверты и марки, и только подав все это, озабоченный официант, мчался за cassis.[108] Вот как рождались великие любовные письма, которые посылали пневматической почтой, или с мотоциклистом в шлеме, подобным самому Меркурию, доставлявшим их в течение часа.

---

[108] Примечания: 108
Наливка из черной смородины *(фр.)*.

В конце концов Блэнфорд решил послать ей кольцо по почте, когда она вернется в Париж. В предпоследний вечер они отправились бродить по оливковым рощицам, и Ливия вдруг заявила:

— Обри, я всегда представляю тебя писателем; люди, которые постоянно все записывают в дневник, как ты, и есть самые настоящие писатели.

От нее не укрылась его привычка почти каждый вечер на ночь глядя записывать в школьную тетрадку свои мысли и наблюдения. Такая уж у него была слабость, ею грешат многие жертвы одиночества. Дневник был его отдушиной еще со школьных лет. Благодаря этим тонким тетрадкам на свет появился Сатклифф. Дело в том, что однажды одноклассник стащил у него дневник и насмешливым ехидным тоном стал зачитывать куски горстке гогочущих учеников. Это было мерзко и унизительно, чтобы эта пытка больше не повторилась, Блэнфорд, в качестве ширмы, изобрел персонаж, которого назвал С. Затем вывел на обложке: «Тетрадь для заметок» и не поленился переписать несколько цитат, ну будто бы он делает выписки из прочитанных книг. И вот, потихоньку-полегоньку, С. начал обретать свои собственные, а не только Блэнфорда, мысли и черты, легкомысленный и чудаковатый тип с

расщепленным сознание, то есть приговоренный к писательской карьере со всеми вытекающими из оной огорчениями и радостями. Блэнфорд дал ему фамилию одного из знаменитейших в ту пору игроков в крикет — тоже, чтобы никто не привязался; в конце концов мало ли кого он имеет в виду, в крикете — сплошные Сатклиффы. И все же Сатклифф состоялся — уже спустя долгие годы — лишь благодаря цитатам из монологов одинокого, затравленного интеллектуала, одним словом, изгоя; Блэнфорд прятался в своем герое от внешнего мира, который был таким отвратительно мещанским, равнодушным к духовным проблемам. Позднее, когда Сатклифф, этот великий человек начал свою полную приключений, грешную жизнь в его рукописях, Блэнфорду пришлось придумать ему нечто вроде гимна, первая строчка которого звучала так: «Гнева отцовского бойся». Но это было гораздо позже. А пока он просто заглянул в глаза Ливии и твердо проговорил:

— Едва ли мне хватит воображения, слишком уж я занудлив.

Но права оказалась она.

Не сводя глаз с ее улыбающихся губ, он почему-то подумал, как замечательно не быть слепым! Ливия спросила:

— Кто этот С, на которого ты все время ссылаешься?

Итак, она тайком читала записи! Не моргнув глазом он ответил:

— Сократ.

Перед его глазами вдруг возник огромный упитанный детина с розовыми, тесно сжатыми коленками, с пенисом en trompe-l'oeil,[109] как он выразился бы, обожающий играть гантелями перед открытым окошком. Да, это был он, Сатклифф, вечно сомневающийся и с вечным хаосом в чувствах — один из тех писателей, которые теряют форму из-за постоянного вынашивания очередного литературного ребенка. Может быть, он поэт? Ну да, стихи он писал. Некоторые даже удалось напечатать в «Изиде». Надо будет послать какие-нибудь Ливии, чтобы поддержать ее веру в его необыкновенный творческий потенциал. Она научила его нескольким асанам йоги, и теперь каждое утро Блэнфорд послушно принимал разные позы, представляя, как она сидит среди олив в позе лотоса, не требовавшей от нее ни малейших усилий, и распевно произносит «оммм»; или лежит в позе «мертвеца», отрешившись от

---

[109] Примечания: 109
Одна лишь видимость *(фр.)*.

своего тела, от земных желаний, и медитирует, «постигая небо». Он побаивался, что все эти асаны — просто баловство, причуда, хотя не мог не признать, что после подобных упражнений чувствует себя лучше.

Благодаря этим неизведанным закоулкам и забытым тропинкам он, спустя много лет, сумел отыскать тучного пьяницу, подлую обезьяну Сатклиффа, чей длинный подрагивающий нос сразу краснел при появлении виски, а волосатое тело было счастливо снова ощутить бодрящее тепло алкоголя каждым нервом. Как и почему появился этот невероятный alter ego? Теперь уже не узнать.

Ливия с любопытством смотрела на него — змея, выстреливающая раздвоенный язык…

Тут на плохоньком велосипеде появился Феликс Чатто — привез приглашение от лорда Галена; тот давал прощальный обед перед своим отъездом в Берлин. О Господи… какая же мука натягивать носки на опухшие ноги, а потом — втискиваться в туфли, выуживать из шкафов рубашки и галстуки… Однако отказать старику никак нельзя. В конце концов это будет неплохой тренировкой перед возвращением к цивилизованной жизни — после упоительных

провансальских каникул…

Глава пятая
Лорд Гален обедает

— В детстве, — произнес лорд Гален как бы вскользь, но весьма значительно, — я прочел книгу «Сага о паровом котле» и до сих пор ее помню. Она была в красном с золотом переплете с изображением парового котла, а начиналась так: «Паровой двигатель — великий творец Добра».

Никто не понял, шутит он или говорит всерьез. А лорд впал в задумчивость и оттопырил верхнюю губу. Шофер Макс, теперь ставший то ли мажордомом, то ли итальянским адмиралом, судя по форме, придуманной специально для него, старательно разрезал жареных цыплят на подогретых блюдах, прежде чем подать их на стол. На его черных парадных брюках был широкий золотой кант, а на отворотах фрака — знаки sommelier[110] — хозяина Погребов. Это он приехал на «Гиспано» за пятью обитателями Ту-Герц, и они прониклись к нему благодарностью, потому что дорога от одного шато до другого была

---

[110] Примечания: 110
Ключник, смотритель винного погреба *(фр.)*.

длинной и пыльной.

Гален редко и исключительно под настроение наезжал сюда, в свой «замок», не менее колоритный, чем его владелец. Дом этот построил ему один греческий воротила, занимающийся поставками оружия, у них с Галеном были какие-то общие проекты. От старого шато оставили всего одну башню. Все остальное снесли, чтобы соорудить современную виллу — угнетающе игривого вида, но с прекрасным тенистым садом. «Вся эта ваша старина мне ни к чему, — твердо заявил им старик, норовисто вскидывая голову. — Я никогда не пил жизнь через соломинку, смею вас уверить». И упрямо вскинул подбородок.

Вначале дом назывался «Акрополем», но лорд Гален, верный типичной еврейской «скромности», переименовал его в «Балморал»;[111] большая, вся разукрашенная вывеска с новым названием неизменно вызывала у Феликса Чатто ужас — ему привили весьма утонченный вкус. От внутреннего убранства дома, от кичливой роскоши его тоже коробило; такой дом могла бы заказать удачливая, но невежественная актриса, где-нибудь в Каире. Инкрустированное дерево,

---

[111] Примечания: 111
Балморал — королевский замок в Шотландии.

кожа, кретон; гостиную на втором этаже снизу подпирали спиралевидные колонны, до того ярко разрисованные, что напоминали старинные шесты парикмахеров.[112] В общем, все очень современно, и всюду витал душок распутства. В тот вечер они обнаружили в доме еще одного гостя, который великолепно вписывался в интерьер дома, в его присутствии золотые узоры, блестящий атлас и обивка из алой кожи уже не казались нелепыми. Раньше никому из них не приходилось встречаться с принцем, они о нем даже не слышали. Вскоре выяснилось, что хотя в жилах этого египтянина действительно течет королевская кровь, он бывалый бизнесмен и давний партнер старика Галена. Да, его присутствие придавало столь недоставшую восточному убранству законченность, ибо одет он был в переливчато-серый, как голубиные перья, костюм; модные лондонские гетры, лишь слегка прикрывавшие крошечные, до зеркального блеска начищенные ботинки, были того же цвета. На сером жилете поблескивали перламутровые пуговицы, широкий галстук необыкновенно удачно оттенял худое лицо, которое тоже было серова-

[112] Примечания: 112

Опознавательными знаками парикмахерских когда-то служили шесты, окрашенные по спирали в красный и белый цвета.

того цвета; было в этом лице что-то орлиное. На лацкане поблескивала золотая белка, а на пальце сверкал перстень со скарабеем.

Лорд Гален представил гостей друг другу, с едва заметной елейностью добавив:

— Принц Хассад — мой давний деловой партнер.

Принц оказался на редкость застенчивым человеком; пожимая руки, он смущенно кивал головой; кисти у него были маленькие, словно птичьи лапки, костлявые, и, видимо, после каждого пожатья ему хотелось потрясти рукой, слишком хрупкой для подобного испытания. Рядом в кресле лежали богато украшенная мухобойка и великолепная феска со сверкающими золотыми кистями; зеленая лента удостоверяла не только королевское происхождение гостя, но и то, что он совершил традиционное паломничество в Мекку. Поначалу молодые люди решили, что экзотические аксессуары и экзотическое происхождение — это все, чем может быть интересен принц, но через несколько минут забыли про экзотику. Рядом с ними сидел скромнейший человек, можно сказать, восточный святой, вполне однако жизнелюбивый. Слегка наклонив голову, он чуть исподлобья смотрел на юные лица и

застенчиво улыбался. Английским языком он владел почти в совершенстве, а по-французски говорил вообще без акцента, даже интонации были типично французскими. В ответ на похвалы принц с улыбкой пояснил:

— Я учил эти языки с детства. Что еще делать в королевском гареме? Только учиться.

— Шампанского, — произнес Гален, царственно взмахнув рукой, и тут же со стороны альпийской горки, устроенной в зимнем саду, раздался хлопок пробки. Там невидимый и неслышимый секретарь колдовал у бара для коктейлей. Шампанское! Что может быть приятнее в летнюю жару! Принц сделал несколько глотков и поставил бокал на соседний столик; ему стало гораздо спокойнее, когда выяснилось, что все говорят по-французски, а не только по-английски.

Естественно, Констанс тотчас его очаровала — своей смешливостью и беглым французским; он чаще обращался к ней, когда рассказывал о себе и о традициях своей страны, — видимо, ему казалось, что во французских деревнях гостю полагается развлекать хозяев рассказами.

— Я еду на север, в Германию, путешествую в своем экипаже, и лорд Гален любезно согласился составить мне компанию, ему нужно заключить

кое-какие сделки, для Египта.

На лице Галена отразилось замешательство; он предложил гостю продолжить путешествие в его элегантном автомобиле, однако принц спокойно, но твердо отклонил приглашение. Ему милее было огромное парадное ландо, запряженное четверкой лошадей, — прямо скажем, весьма неэффективное средство передвижения. Мало того, он намеревался посетить по пути парочку кафедральных соборов. Лорд Гален считал, что это, в сущности, блажь, нездоровая сентиментальность. Однако миниатюрный принц не собирался отказывать себе в таком удовольствии, хотел увидеть то, что полагается видеть высоко образованному восточному человеку за границей. Галену пришлось покориться. Однако ночью, уже в постели, лорд Гален даже застонал, вспомнив о предстоящем передвижении по Европе в королевском экипаже, с черепашьей скоростью. В это время ландо стояло в гараже Галена, где два темнокожих «садху»[113] в ливреях скребли и мыли лошадей.

Не стоит даже говорить, что принц мгновенно покорил обитателей Ту-Герц и нашел с ними

---

[113] Примечания: 113
Садху — индийские бродячие отшельники.

общий язык, да и Чатто, и даже неразговорчивый Катрфаж прониклись к нему симпатией. Маленький клерк по случаю торжественного обеда надел галстук и, судя по раскрасневшемуся лицу, заранее выпил немного для храбрости. Наверно, принц понял, в каком тот состоянии, и решил беднягу подбодрить, он улыбнулся ему, задал несколько вопросов на своем аристократическом французском языке, и через несколько минут Катрфаж совершенно освоился, настолько, что заговорил по-английски, и вполне бойко, но с очень сильным акцентом. Светская вежливая беседа была прервана Максом, который, хрипло откашлявшись, объявил, что гости могут садиться за стол, если желают. Принц погасил сигарету с золотым ободком и попросил разрешения вымыть руки, после чего его личный слуга, высокий нубиец, препоясанный (знак отличия королевского кавасса) алым кушаком, подал ему воду, потом полотенце, а в конце гигиенической процедуры опрыскал королевские персты духами. Принц помазал духами и лицо, прижав к нему ладони, после чего, скромно потупившись, подошел к столу, возле которого все стояли в ожидании. Лорд Гален усадил его между сестрами, принц, видимо, обрадовался, и не теряя даром времени,

снова начал болтать с Констанс.

Из кухни доносились стук тарелок и голоса трех молодых фермерш, которых Макс нанял специально для этого вечера; сам он ел отдельно, в кабинете.

— Каждый год, — весело произнес лорд Гален, — я устраиваю небольшой прощальный обед перед отъездом из Франции. Но сегодня я впервые имел честь пригласить за мой стол принца.

Сказав это, он, весь просияв, оглядел гостей. Принц Хассад, застенчиво улыбнувшись, протестующе изобразил губами moue,[114] словно эта фраза привела его в замешательство.

— Я счастлив быть вашим гостем, — сказал он, — и крайне признателен за те усилия, которые вы прилагаете ради осуществления своего романтического проекта, правда, мне пока трудно в него поверить. Мы, египтяне, народ очень недоверчивый.

— Что верно, то верно, — добродушно пошутил Гален, — однако наш маленький проект отнюдь не голые фантазии, позвольте вам заметить. У нас намечены вполне четкие направления и методики поиска. Это сокровище ведь не плод

---

[114] Примечания: 114
Гримаса недовольства *(фр.)*.

фантазии, а, Катрфаж? Принц с сомнением покачал головой.

— Как инвестиция? — пробормотал он почти неслышно.

Он махнул рукой, отсылая стоявшего за его креслом слугу, который обязан был пробовать каждое блюдо, поданное господину. Видимо, принцу не хотелось, чтобы в комнате были ненужные свидетели, если разговор зайдет слишком далеко. После этого он внимательно оглядел сидящих за столом.

— Может быть, после обеда вы позволите ознакомиться с уже имеющимися материалами, чтобы я смог судить о проекте на более весомых основаниях?

Сказав это, он с решительным видом повернулся к Ливии и попросил рассказать, какие памятники стоило бы посмотреть. С обычной своей напористостью она тут же вызвалась быть его гидом, если он, конечно, желает. Принц несколько опешил, но был ей благодарен.

— Здесь есть на что посмотреть, — с сожалением вздохнул лорд Гален, — но я так и не смог никуда выбраться.

Чудовищных размеров кот, лежавший в углу на бархатной подушке, сипло замяукал, учуяв

запах жареных цыплят. Лорд Гален с королевской щедростью отрезал кусок от своего цыпленка и передал Максу, велев отнести угощенье коту, который «отблагодарил» того поистине змеиным шипением. Надо сказать, субтильный принц весьма энергично орудовал вилкой и ножом, и вскоре на его тарелке лежала вторая порция горячего, правда, овощи он переложил на другую тарелку, предпочитая есть на французский манер — наслаждаться мясом и овощами по отдельности. Не отказался он и от бокала вина «Тавел», которое, как истинный знаток, поднял, глядя на свет, и явно любуясь топазовым блеском.

— Хоть я и мусульманин, — признался он, — но не фанатик, люблю хорошие вина, это моя страсть. Однако приходится вести себя осторожно, чтобы жена ничего не заподозрила.

Он мило хохотнул и опять занялся едой.

— Ничего страшного, — успокоил его лорд Гален, — если пить понемножку, это не такой уж большой грех, вполне безобидное удовольствие.

Катрфаж то молчал, то становился чересчур разговорчивым, то краснел, то бледнел; Феликс слишком хорошо знал его, чтобы не понять в чем дело. Эти перепады настроения означали, что Катрфаж опять начал баловаться абсентом.

В какой-то момент он вытащил из жилетного кармана маленький маятник и, протянув руку к бокалу, стал смотреть, как он раскачивается над вином. Остальные же с интересом смотрели на Катрфажа, словно ждали какого-то фокуса. Увы, их ожидания были напрасны. Понаблюдав пару минут за мечущимся шариком, Катрфаж убрал волшебный инструмент и осушил бокал, после чего громко рыгнул. Все снисходительно улыбнулись, однако Катрфаж на этом не успокоился и, обведя всех присутствующих налитыми кровью глазами, знаком велел Максу налить ему еще. Макс подчинился, но сначала с тревогой покосился на босса.

В это время лорд Гален был занят беседой, и сей маленький казус не привлек его внимания. Он обсуждал с высоким гостем прелести жизни в Германии и предстоящее приятное путешествие, которым они будут очень скоро наслаждаться.

— Приятное и, надеюсь, выгодное, — добавил он. — Братья Круппы приедут на собственном поезде в Австрию, и мы непременно подружимся, ну да, очень подружимся.

Старик до того расчувствовался, что на глаза его навернулись слезы. Это будет очень важная встреча, уверял он принца. Нубийцы получат,

что хотят, задешево, потому что насчет них у него есть определенные планы. Феликс повернулся к Блэнфорду:

— Похоже, он не знает, что там сейчас творится, — прошептал он.

Катрфаж верит своему маятнику, тогда как Феликс полагается на прогнозы биржевых таблиц «Файнэншл Тайме». Зловещие перемены в Германии уже давно не давали ему покоя; кстати, даже умники из Министерства иностранных дел выказывали через свои дипломатические каналы озабоченность сложившейся ситуацией, а Гален с умилением обсуждает финансовые спекуляции и деловые интересы всех регионов мира, как будто в Германии тишь да гладь и для иностранцев самое время вкладывать капиталы в ее экономику.

При иных обстоятельствах Феликс предпочел бы промолчать, однако на сей раз любопытство взяло верх, и он не выдержал:

— Лично мне очень не нравится то, что там происходит. Удивительно, как вас это не пугает.

— Что *это?* — негодующе переспросил лорд Гален.

Феликс не упустил возможности коротко, но точно обрисовать состояние дел в Германии, а

также возможные последствия. Лорд Гален слушал его со снисходительной усмешкой, однако очень внимательно; слушая, он катал из хлеба шарики и бросал их в рот. Он вежливо молчал, дав племяннику выговориться, и, похоже, его совершенно не смущали кивки и одобрительные реплики старины принца, который, видимо, не хуже Феликса знал об опасных тенденциях у немцев, только более философски к этому относился. Втайне принц был рад, что Феликс вмешался, ибо сам он не решился бы возражать лорду Галену, зато теперь он мог прояснить для себя множество деталей, пока еще не слишком понятных. Приглядываясь к лицам гостей, принц старался понять, не блефует ли лорд Гален, сохраняя потрясающую невозмутимость, не играет ли он с ним, говоря фигурально, в покер? Только на кону не сотня фунтов, а крупные инвестиции…

Как ни странно, Ливия как будто была на стороне Феликса, она то и дело кивала, соглашаясь с его опасениями. В конце концов, речь зашла об отношении немцев к евреям, и тут лорд Гален решил, что с него достаточно. Он поднял руку, добродушно, но решительно останавливая племянника.

— Все, что ты говоришь, действительно насто-

раживает, но уверяю тебя, Феликс, мне известно и другое. Причем, учти, я был там и видел все собственными глазами. Когда газеты только-только начали трезвонить о немецком антисемитизме, я обратил на это внимание и даже немного испугался. Как представитель Манчестера, я не мог проигнорировать такое отношение… к ним. — По какой-то причине он не любил слово «еврей» и старался не произносить его — возможно, из-за ассоциаций со школой? Он предпочитал использовать уклончивое выражение «представитель Манчестера», это звучало почти как «выпускник Оксфорда». — Как представитель Манчестера, — повторил он тише, но более напористо, — я не мог проигнорировать это. Меня это затрагивало и как человека, и как финансиста. И что я сделал? Решил сам проверить, отправился туда, лично проанализировал положение в стране и претензии оппозиции к правительству. Итак, если бы у меня возникли хоть малейшие сомнения, разве я стал бы вызывать вас из Египта? Проделать такой путь, а? Из самого Египта, а? Так мучить старого друга?

Наступила долгая пауза, во время которой лорд Гален и принц безмятежно улыбались друг другу. Но Феликс покачал головой, а Ливия посмотрела

на Галена с откровенным любопытством: действительно ли он ни в чем не разобрался, или прикидывается, пытаясь обмануть принца?

На самом деле лорд Гален обманывал только себя.

— Я добился встречи с лидером национал-социалистов. Личной. Мы провели с ним выходные, обсудили его планы, он поделился своими мечтами, сказал, что его огорчает…

Гален с победным видом оглядел всех и выдержал эффектную паузу. Потом продолжал, понизив голос:

— Усомниться в заверениях такого человека невозможно; его искренность абсолютно убедительна. И потом, он ведь не юнец с горячей головой, а взрослый мужчина, всю войну прошел в звании простого сержанта. Он говорит о том, что видел собственными глазами, почувствовал на собственной шкуре. Слышали бы вы, как просто и трогательно он говорил о страданиях своей страны, о том, какое унижение ей пришлось вытерпеть по милости Союзников.[115] Его единственное желание — устранить недоразумения и жить в мире со всеми. Он весьма

[115] Примечания: 115

Имеются в виду страны, объединившиеся против блока Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии во время Первой мировой войны.

подробно изложил мне свои взгляды на политику, свои убеждения — милейший человек, я чуть не расплакался. Мы и вправду слишком жестоко обошлись с немцами. И он имеет право на обиду. Однако человек он серьезный и разумный, да и взгляды у него вполне умеренные. Он сам это сказал. Тогда-то я прямо спросил про антисемитизм, в котором обвиняют его партию. Он не лукавил — я видел это по его лицу, по тому, как он держался. Он выразил уверенность, что я не из тех, кому можно заморочить голову; я, конечно, волен делать собственные выводы, но он может поклясться, что все это ложь. Газеты выполняют заказ его политических оппонентов, устроили настоящую травлю. Да, его партия считает, что было бы целесообразно создать на Востоке второе еврейское государство, более стабильное, чем подмандатная[116] Палестина. Он говорил горячо, убежденно — я редко кому мог поверить так, как ему. Он показал мне меморандум, подготовленный демографическим отделом его партии, очень солидный обстоятельный документ. Разработка модели еврейского государства на десять миллионов душ. Он спросил, что я думаю об

[116] Примечания: 116
То есть под управлением Великобритании.

этом. Представляете, какое я почувствовал волнение! Это же давняя сокровенная мечта иудеев — иметь свою землю. Как приятно было узнать, что современный политический лидер уделяет время подобным проблемам. И знаете, что он мне сказал? «Видите ли, лорд Гален, в некоторых вопросах мы еще большие сионисты, чем сами сионисты». У меня сложилось о нем самое лучшее впечатление.

Гален обвел взглядом своих гостей, на лицах которых отражались разные эмоции — от вежливого непонимания до скептицизма. Феликс слушал своего дядю с изумлением и страхом, Ливия — с робким сомнением, не издевается ли он над принцем? Остальные просто смутно представляли, о чем речь, и вообще им было безразлично, правду говорит Гален или врет. Лишь принц, казалось, получал удовольствие от рассуждений Галена и был хорошо знаком с обсуждаемой ситуацией. Его умное смугло-серое лицо то и дело испещряли мелкие складочки — от улыбки, такие складочки получаются на тонких шелковых платках. Он спросил с азартом:

— А что контракты, а? С P.G.[117]

---

[117] Примечания: 117

То есть с Parteigenosse *(нем.),* с «партийным товарищем»

Лорд Гален кивнул.

— Я как раз к этому веду. Напоследок мы обсудили финансовое положение его партии. Оно, мягко говоря, ненадежное, потому что ему противостоят мощные силы, которым требуются совсем иные лидеры во главе страны. Если он не получит власть, тогда прощай мечта о новом еврейском государстве! Я задумался. Стал прощупывать его на предмет иностранных инвестиций. Знаете, что он сказал? Что непременно предоставит солидные концессии тем, кто выручит его сейчас. Я взвесил еще раз то, что было обговорено, и понял, что ситуация складывается весьма многообещающая — и для меня, и для моих партнеров. Но я привык действовать с оглядкой, поэтому еще раз прощупал почву. И окончательно убедился, что такой случай выпадает раз в жизни: мы пополняем партийную кассу, а позже эти вливания принесут нам баснословные концессии. Я со многими советовался, одни твердили, что я спятил, другие, что ему нельзя доверять. Однако мои аргументы возымели свое действие, и мы надеемся в ближайшее время подписать соглашение, он одержит победу на выборах, в основном, благодаря нам; а пока документ, над которым мы бились полночи, был торжественно подписан мной и

им в присутствии свидетелей. Документ у меня здесь, и я собираюсь показать его вам.

Взяв в руки картонный тубус, он извлек оттуда свернутый лист бумаги, который развернул и продемонстрировал гостям. Документ был отпечатан на машинке, а внизу красовалась впечатляющая сургучная печать с орлом. Прочитать текст издалека было невозможно, а Гален, продемонстрировав драгоценный документ, вновь бережно уложил его обратно в тубус, радуясь своей расторопности, о чем свидетельствовала его довольная улыбка. Принц сделал вид, будто аплодирует необыкновенной предприимчивости хозяина дома.

Ливия заявила, что ей нехорошо и, судорожно прижав к губам салфетку, вышла из-за стола, — ничего страшного, успокоила она собравшихся, просто надо подышать свежим воздухом. Остальные тоже вскочили, готовые помочь, но им было велено оставаться на месте. Ослушалась только. Констанс.

— Ничего страшного, но лучше мне пойти с ней, — сказала она. Девушки отправились в сторону газонов и остановившись возле зеленой сочной лужайки, Ливия бухнулась на колени, потом легла и скорчилась, медленно поворачиваясь

с боку на бок. Эти устрашающие судороги на самом деле были вызваны неодолимым приступом смеха, бедняжке даже пришлось впиться зубами в кулак, чтобы хоть немного совладать с собой. Сестра, присев рядом на корточки, с улыбкой смотрела, как Ливия катается по траве, и терпеливо ждала, когда та устанет смеяться. Но вот, достав носовой платочек, Ливия вытерла глаза. — Старый дурак дает им деньги, — произнесла она все еще дрожащим голосом. — Представляю, как они веселились. — Переводя дух, она поднялась с земли и позволила Констанс отряхнуть ей платье. — Я боялась, что лопну от хохота прямо на глазах почтенных гостей и придется объяснять, что на меня нашло. Прости, я не хотела. Но это же дико смешно.

Констанс мало занимали проблемы Германии, и она не очень представляла, что там происходит, так ей было спокойнее. Взяв сестру под руку, она повела ее назад. В столовую они вошли в тот момент, когда принц говорил:

— У меня тоже есть автомобиль для багажа, но это грузовик, потому что вещей слишком много.

Он вздохнул. На самом деле, как выяснилось позже, речь шла об очень большом фургоне — вроде фургона для перевозки мебели. Помимо

вещей принца, в нем размещались также трое слуг. В тот вечер фургон в сопровождении любезного полицейского уже доставили в Авиньон, к отелю, где обосновался принц. Египетское посольство сообщило авиньонским властям, что принц совершает путешествие по Франции.

Французские таможенники испытали легкий шок, исследуя содержимое фургона; все сундуки принца были из редких пород дерева, обиты разноцветным шелком и украшены тонкой филигранью. Были там и роскошный гроб, достойный самого Тутанхамона, и дорогие столы для бриджа, посуда и столовое серебро, которых хватило бы для банкета на тридцать персон. Когда позднее принц показывал своим новым молодым друзьям эти чудеса, в том числе четырех своих любимых соколов (на случай, если ему захочется устроить охоту), он пояснил, что все эти излишества (с точки зрения простых смертных) для египетского принца — прискорбная необходимость, ибо никогда не знаешь, что тебя ждет. Никогда. Однако, повторяю, эти откровения прозвучали позже, когда принц более тесно познакомился с молодыми людьми.

Но вернемся в шато Галена. Несколько минут все сидели молча, а потом перешли к коньяку

и сигарам, Гален громко грыз орехи, продолжая рассуждать об инвестициях. И опять хрупкий принц всех удивил, налегая на коньяк не меньше остальных.

— О другом нашем деле — о спрятанных сокровищах — мы поговорим позже! — добродушно, даже весело проговорил он, чем уязвил Катрфажа, смотревшего на него во все глаза.

Клерк успел изрядно напиться, отчего пришел в крайнее возбуждение, и все понимали, что он может отмочить какую-нибудь глупость. Феликс, глядя на него пытливым и одновременно нежным взглядом, ждал: разразится он страстной речью, насчет тайных сокровищ или нет. По правде говоря, молоденького француза, человека весьма чувствительного, раздражал скептицизм принца, эти его улыбочки. А ведь работа, которой они занимались, весьма серьезна, так почему же, недоумевал бедный малый, почему лорд Гален не поставит этого египтянина на место, не объяснит ему, что к чему?! Но тот посиживал себе, катая хлебные шарики, и о чем-то размышлял, тем временем улыбка принца становилась все более ироничной.

— История эта очень давняя, — заговорил наконец лорд Гален. — За этим сокровищем кто

только не охотился; денег извели на поиски — не сосчитать, и все напрасно. Этим занимались весьма крупные, специально созданные консорциумы. Но лишь совсем недавно были найдены документы, которые, возможно, помогут нащупать правильный путь к цели. Сокровище, вернее сокровища, наверняка существуют и точно известно, что исчезли они во время судов над еретиками-тамплиерами. Учтите, тамплиеры были банкирами королей, в их руках скопились несметные богатства. Судя по судебным документам, расшифрованным и опубликованным в Тулузе, палачей куда больше интересовали финансы грешников, чем их религиозные убеждения. Куда же подевалось Сокровище тамплиеров? С ересью разобрались быстро — инквизиция хорошо знала свое дело; но казначей короля Филиппа Красивого желал выудить у тамплиеров, куда они, черт возьми, всё попрятали. Вот почему так затянулись судебные разбирательства, хотя с тамплиерами можно было бы разделаться за два-три месяца. Чего добивались эти изуверы? Они надеялись получить хоть какую-то зацепку, которая навела бы их на сокровища. Королю требовалось только это — ибо казна его была пуста.

Гален умолк и обернулся к Катрфажу, чтобы тот подтвердил все сказанное. Но Катрфаж с мрачным видом разглядывал свою тарелку. Принц однако перестал улыбаться, вспомнив, сколько легенд и преданий сложено в его родном Египте о сокровищах тамплиеров. Его тоже охватил азарт. Сомнения постепенно рассеивались. Не будь во всем этом рационального зерна, едва ли делец Гален, известный своей хваткой и чутьем, так рьяно за это взялся бы. Тут принц сообразил, что своим насмешливым тоном, наверное, обидел Катрфажа, поэтому с покаянным видом наклонился к нему и ласково коснулся худенького запястья. Катрфаж мгновенно оттаял и повеселел.

— C'est vrai,[118] — сказал он смотревшему на него с выжидающей улыбкой старику, — у нас есть весьма ценные сведенья. Вполне возможно, клад хранится в давно забытом склепе, заросшем травой. В каком-то шато, или в часовне, или в монастыре. Опознавательным знаком служит сад из олив, посаженных особым образом, вот, взгляните…

Вынув из кармана конверт и ручку, он нарисовал фигуру из деревьев: четыре дерева по углам

---

[118] Примечания: 118
Здесь: вы правы *(фр.)*.

квадрата, и пятое в самой середке.

— Я думаю, — проговорил Гален, — вам стоит заглянуть в отель к Катрфажу, посмотрите, что он успел накопать. Уже проделана грандиозная исследовательская работа. В конце концов мы вышли на Авиньон, но еще стоит осмотреть ближайшие его окрестности. Придется перерыть все архивы в старых шато и часовнях вокруг Авиньона; а храмов и часовен тут полно, сами понимаете, все-таки центр католичества в тот период, когда тут папская резиденция. Но шансы есть, да-да, шансы безусловно есть. То маленькое дельце с королем Иоанном[119] дает мне право доверять своей интуиции. Помните? Тогда тоже все выглядело как абсолютная авантюра, но мы же не прогадали, верно?

Это правда. Разговорившись как-то на приеме с молодым историком из Оксфорда, Гален весьма заинтересовался одним фактом; каким-то образом речь зашла о всяких сокровищах, и молодой дон[120] перечислил несколько таких не найденных сокровищ, историю которых он изучал. Особенно поразительной была судьба затонувших

---

[119] Примечания: 119
Король Иоанн (1167–1216), правил Англией с 1199 г.

[120] Примечания: 120
Преподаватель, член совета колледжа в Оксфорде и Кембридже.

богатств короля Иоанна, покоящихся в Северном море, точнее, в заливе Уош. Глубина там, между Норфолком и Линкольнширом, небольшая, дно твердое, песчаных наносов почти нет, приливная волна умеренная. И все же несколько поколений искателей кладов так и не смогли напасть на след. А богатства были несметными, поистине бесценными, все остальные потери такого рода были просто мелочью в сравнении с этой… Слово «бесценные» воспламенило душу лорда Галена, который всегда считал себя коммерсантом от Бога, наделенным гениальным чутьем, сродни поэтическому. Сделав пометку в красной сафьяновой записной книжечке, он созвал совещание.

Естественно, лорд Гален знал, что все найденные сокровища — собственность государства, но государство может вознаградить удачливого искателя, однако не обязано. И лорд Гален подсчитал: удастся договориться с правительством о пятнадцати процентах, овчинка стоит выделки. Премьер-министр был его личным другом, и они как раз собирались вместе пообедать на следующей неделе. Лорд Гален воспользовался ситуацией. Ему было дано добро. Договоренность на столь высоком уровне не нуждается в гарантиях и контрактах. Наш искатель сказал,

что достаточно обменяться письмами, удостоверяющими состоявшуюся сделку. Конечно же, риск был. Баснословной дороговизны проект мог закончиться ничем. А правительство ничего не теряло. Короче говоря, Гален сумел привлечь достаточно капиталов и вволю потешить свои романтические деловые амбиции. Размах был грандиозным. Уош обследовали даже с самолетов, нанятым инженерам велено было создать необходимые агрегаты, чтобы определить место, так сказать, погребения корабля, а потом извлечь его на поверхность. Два с лишним года длились работы, но все завершилось удачей. Лорд Гален стал знаменит на Флит-стрит[121] не меньше, чем в Сити. Да и прибыль оказалась солидной.

— Признаю, — виновато произнес принц. — Риск был щедро вознагражден, скептики посрамлены.

Гален принял восхищение принца и милостиво кивнул.

— Вот почему я подумал о вас. мой дорогой принц, когда мы занялись нашими теперешними поисками. Возможно, этот проект еще более безумен, чем охота за казной короля Иоанна.

---

[121] Примечания: 121
На лондонской Флит-стрит находятся редакции крупнейших газет.

И охотников тут было гораздо больше. Кстати, не исключено, что кто-то уже нашел клад храмовников, но держит это в тайне, не хочет отдавать сокровища чиновникам. Однако я уже договорился со здешним правительством. На тех же условиях, что тогда с англичанами, и это сулит весьма неплохой заработок для членов нашей экспедиции. Теперь все зависит от науки, от удачи и от проницательности Катрфажа, который готов познакомить вас со всем, что нам известно.

Катрфаж придирчиво посмотрел на принца и важно кивнул.

— Мы непременно все обсудим, — произнес он тоном, исключающим возражения.

— Конечно. Мы же хорошо понимаем друг друга, верно? — отозвался принц, еще раз погладив его руку с пылкой восточной сердечностью.

После этого разговор снова стал общим, но гостей из Ту-Герц вдруг одолела зевота, хотя было еще не поздно. Свечи почти догорели, облепленные каплями воска. Макс погасил их и поставил новые.

— Пожалуй, — сказал Феликс, — нам пора собираться домой.

Лорду Галену стало вдруг очень неуютно при

мысли о том, что придется провести ночь только в компании астматика кота. В его дрогнувшем голосе даже промелькнула умоляющая нотка, когда он воскликнул:

— Ну куда же вы так рано! Давайте перейдем на террасу, выпьем по прощальной чаше на свежем воздухе. Кто знает, когда теперь свидимся снова!

От этих слов у Блэнфорда перехватило горло, и он посмотрел через стол на Ливию. Она улыбнулась ему с нескрываемой нежностью, но он был так сосредоточен на своих эмоциях, что не ответил на ее улыбку. До чего же она загорела — стала почти как цыганка! Неожиданно ему тоже стало страшно неуютно — от внезапно накативших досады и разочарования, лишь позднее он поймет, что это было предостережение свыше; но иррациональный и безграничный ужас перед тем, что ждет их всех впереди, в первую очередь его самого и Ливию, заглушил эти чувства. Его утешительница Ливия, подарившая ему на время чудесный оазис тепла и любви среди этого огромного и враждебного пространства. Тьма уличная (они-таки вышли на террасу) теперь соперничала густотой с тьмой неосвещенных окон столовой.

Снова подали виски и кофе, и глаза гостей понемногу привыкали к слабому свету звезд. То тут,

то там в густой траве, которую все лето не косили, вспыхивали светлячки. Легкий ветерок подул с севера и принес приятно освежавшую прохладу, а, значит, утром (отметил Феликс, невольный любитель рассветов) будет много росы на листьях и на оконных рамах.

— Красота, — произнес лорд Гален с непривычной нежностью в голосе, показывая рукой на усеянную звездами черноту, на прихотливо клубящиеся сгустки тумана, которые то растягивались, то сжимались, то вновь являли взорам вибрирующие глубины ночного неба Прованса. Слышно было, как в доме зевал своим фиолетовым ртом Макс, убирая со стола; каждый раз, когда он проходил мимо дряхлого полуслепого Вомбата, тот царапал когтями его щиколотки.

Лорд Гален думал о долгих одиноких часах подстерегающей его бессонницы — так, наверное, терзается осужденный преступник, зная, что впереди у него годы и годы заключения. Он начал принимать снотворное, поначалу оно помогало, но потом заметил, что таблеток, увы, требуется все больше и больше. Именно ночью мысли о дочери возникали сами собой, и тогда настигала тупая боль, своего рода душевная невралгия, отравлявшая его покой. Иногда он звонил среди

ночи секретарю и приказывал принести шахматы. И они молча сидели над доской до первых проблесков рассвета, будивших в парке птиц. А иногда лорд отправлялся гулять по ледяной росе, и высокая влажная трава заглушала шум его шагов. В таких случаях он, как правило, больше и не ложился. Так и бродил до половины шестого, пока в комнате Макса не звонил будильник. Вскоре отчаянно зевающий негр подавал ему завтрак, на кухне, вафли с кленовым сиропом. Гален ел с жадностью, отослав зевающего секретаря в его комнату. Еще несколько минут, и пора было ехать по пыльной дороге вниз, в город, чтобы не пропустить первый пассажирский поезд в Париж…

Прокрутив это все в голове, лорд Гален опять почувствовал усталость и тоску.

— Наверно, вы все хотите спать, — наконец проговорил он с горечью. — Я вижу, Феликс, как ты зеваешь и потягиваешься — не очень-то вежливо.

Феликс едва не подпрыгнул, изображая предельное внимание, и виновато покраснел. Ему тоже не давали покоя мысли о предстоящей ночи; временная сонливость уложит его в постель, но через час или два его словно включат, как лампочку, а дальше… Дальше он непременно встанет,

чтобы сварить кофе, а потом потащится бродить по притихшему городу. Сейчас они улыбались друг другу, однако усталость, порожденная их мыслями, уже витала в воздухе, и наконец принц, опасаясь, что остальные не уходят из почтения к нему и его титулу, тихонько, по-арабски, вызвал свое ландо. Высокий мажордом, стоявший в дверях гостиной, так же тихо передал его приказ дальше. Вскоре раздался приглушенный шум, довольно длительный, и наконец средство передвижения путешествующего принца, громыхая, обогнуло дом и остановилось перед мраморной лестницей. Лошади выбивали искры из булыжников и негромко ржали. *Noblesse oblige.*[122]

Принц взял из рук своего слуги феску и мухобойку, а потом с улыбкой повернулся, чтобы со всеми попрощаться.

— Прошу прощения, друзья мои… — проговорил он, пожимая им руки с привычной быстротой. — Жду всех вас завтра в моем отеле в семь часов на коктейль.

Не дожидаясь формального согласия, он обнял хозяина дома, на французский манер ткнувшись губами ему в щеку. У него особый запах, запах

---

[122] Примечания: 122
Положение обязывает *(фр.)*.

камфары, как у мумии, подумал лорд Гален, в ответ разразившись вежливыми восторгами. Принц вскарабкался в свой экипаж и вновь обернулся к молодым людям.

— Могу я кого-нибудь подвезти? Мистер Чатто? Катрфаж? Нет?

Они приняли его любезное предложение, чтобы избавить Макса от лишних хлопот. Как только они уселись рядом с принцем, тот несколько неожиданно заметил:

— Сегодня я был бы непрочь повеселиться, если честно.

Ландо с грохотом тронулось с места, и принц что-то долго и азартно обсуждал на арабском языке со своими слугами. Похоже, он о чем-то их спрашивал. Потом, видимо, сообразив, что говорит на языке, недоступном пониманию его спутников, принц пустился в объяснения, обращаясь главным образом к Катрфажу:

— Я велел им отвезти нас в хороший публичный дом — в Авиньоне наверняка можно найти приличную *pouf*?[123]

Феликс едва не ахнул от изумления, зато Катрфаж словно бы предвидел нечто подобное,

---

[123] Примечания: 123
Проститутку *(фр.)*.

ухмыльнувшись, он хлопнул принца по коленке, консул ужаснулся этой фамильярности.

— Еще как можно, — сказал клерк, воздев руки вверх, словно призывая в свидетели усыпанные звездами небеса.

Посмотрев на блудливо улыбнувшегося принца, Феликс обомлел. Куда подевались его серьезность и светская любезность, его молчаливая сдержанность? Ей богу, он стал чем-то напоминать нагловатую мартышку. Его высочество был очень весел и полон энергии; он рвался в бой, мечтая о победах, не самых праведных и, прямо скажем, довольно вульгарных.

— Неужели ты потащишь его в тот притон? — сказал Феликс *sotto voce*[124] Катрфажу, тоже подозрительно оживившемуся, хотя и не так откровенно. Он был в легком подпитии, и с радостью поддержал бы любые, самые сомнительные выходки.

— Конечно, поташу, — ухмыльнулся он. — Наш милашка египтянин, пусть его немного почистят. Он будет без ума от Рикики. Вот представлю его старушке Рикики, и посмотрим, как она с ним управится.

---

[124] Примечания: 124
Шепотом *(ит.)*.

Бедный Феликс перепугался не на шутку. А принц опять заговорил по-арабски со слугами, не обращая внимания на своих спутников.

— Если он что-нибудь подцепит, — сказал Феликс, — дядя никогда тебе этого не простит. Короче, я умываю руки; слишком рискованно. Если дядя что-то пронюхает…

— Да шел бы твой дядя на х… — кратко, но очень емко, высказался Катрфаж.

Совет был весьма уместным и донельзя соответствовал желаниям самого Феликса. Легко сказать. А как его туда отправить? До подобных мыслей его довела настырность крепко припечатанного клерком дяди и отчасти надутые индюки из Министерства иностранных дел — никакого от них спасения. Тяжко вздыхая из-за этих назойливых мыслей, Феликс мужественно отговаривал себя от легкомысленного приключения, подавив все сожаления. На самом деле, он бы все отдал за вечер в хорошей компании и с удовольствием бы немножко пораспутничал. Да где уж ему! Громыхая и раскачиваясь, экипаж продвигался по темным оливковым плантациям к границе тьмы, за которой были видны городские огни; над кварталом цыган поднималась узкая струйка дыма. Было еще не поздно. Ухали совы, спрятавшиеся в

дуплах. Слабый шум города понемногу нарастал, заглушая кряхтенье экипажа, позвякиванье и скрип лошадиной упряжи. Обняв Катрфажа за плечи, принц радовался, как дитя, не скрывая отличного настроения. Теперь он изредка говорил что-нибудь на своем безупречном французском, словно хотел отблагодарить заботливого юного приятеля.

— У меня есть несколько причуд, — задумчиво проговорил он, — которыми иногда грешат мужчины моего возраста. Думаете, они поймут? Катрфаж лукаво усмехнулся:

— У Рикики ко всему привычны, там обслужат как надо. Кстати, их частенько посещает шеф полиции, значит, они под à l'abri,[125] и весьма могущественным.

Окончательно успокоившийся принц просиял и дружески сжал колено своего благодетеля.

Феликс лишь раз наведался в этот убогий притон, с Блэнфордом, но совсем по другому поводу. Однажды они всю ночь искали Ливию, и цыгане направили их к Рикики. Грязь, темнотища… да и сама Рикики выглядела довольно удручающе. В ответ на их стук она поначалу лишь слегка при-

---

[125] Примечания: 125
Здесь: под покровительством *(фр.)*.

открыла прогнившую дубовую дверь. На боковой улочке, где стоял ее дом, было темно, как в преисподней, воняло неисправной канализацией и дохлыми крысами. Соседние дома — и справа, и слева — то ли сами рухнули, то ли их снесли; и на их месте зияли пустые дыры. Все вокруг сплошь заросло сорняками. Блэнфорд заявил, что место, конечно, мрачное, но романтическое… конечно же, он привирал, чтобы себя успокоить. А Феликс так нервничал, что не мог даже говорить.

У Рикики были огромные груди, мощно напиравшие на ткань балахона, который был перехвачен в талии обычной грубой веревкой. Один глаз у нее немного косил, отчего казалось, будто она смотрит не на вас, а на кого-то еще, и это приводило в замешательство. Мало того, у нее еще была волчанка — багровая сыпь густо испещряла одну половину лица; и, хотя она старательно поворачивалась другой, время от времени ей все же приходилось выставлять напоказ больную щеку с частой сеткой набрякших сосудов, отчего щека казалась намазанной красным и фиолетовым лаком. Рикики держала в руке свечку, скудно освещавшую высокую лестницу за ее спиной. Где можно разыскать Ливию, она не знала, но, похоже, сразу поняла, о ком идет речь,

так как уверенно покивав, произнесла: «Сегодня ее нет». Это означало, что Ливия действительно захаживает в это далеко не респектабельное заведение. Самое забавное, что Блэнфорд совсем не расстроился, скорее, наоборот. Его восхищало бесстрашие Ливии, ей все нипочем, бродит где-то, делает то, что считает нужным, не дожидаясь, когда кто-то захочет ее сопровождать. Но Феликсу все это казалось взбалмошными и даже компрометирующими причудами.

Однако сегодня, приказал он себе, никаких экстравагантных экскурсий — он все-таки консул. Сославшись на головную боль, Феликс попросил остановиться на вокзале; еще было время посидеть в буфете с чашкой кофе — после общения с шумной большой компанией ему нравилось побыть в одиночестве, поразмышлять о своих скромных проблемах, отвлекшись от мировых. Поезд отправлялся на север, трогаясь, он выпускал клубы дыма, словно в ответ на чьи-то слова. Небольшие *fiacres* стояли, как обычно, на якоре, поджидая поезда. Позднее, когда бессонница выгонит Феликса на прогулку, возможно, он угостит лошадей сахаром, если почувствует себя уж очень одиноким; так проще всего подбить на разговор сонных кучеров.

Но пока Феликсу с лихвой хватало недавних разговоров. В своем грохочущем экипаже исчез в темноте принц. Из расположенных поблизости извозчичьих конюшен доносилось фырканье и топот застоявшихся лошадей. Звенели звонки, гудели провода. Авиньон готовился к ночи — долгому промежутку времени, которое надо как-то убить. Феликс зевнул — да, это, конечно, замечательно, но надолго ли хватит его сонливости? Он заплатил за кофе и в сгущавшейся тьме медленно двинулся к воротам Сен-Шарль. Совсем скоро он будет дома. Сразу разденется и все-таки ляжет в постель; да, ляжет, несмотря ни на что. Уже у самой виллы сердце его испуганно забилось: на ступеньке парадного крыльца сидел какой-то мужчина, курил и явно поджидал его. Был виден лишь силуэт; и Феликс никак не мог понять, кто же это, черт возьми?

Минуту-другую он топтался на месте, а потом, ругая себя за трусость, с *sang-froid*[126] видом направился к садовым воротам.

— А вот и ты! — весело воскликнул Блэнфорд. — А я подумал, что принц потащил вас куда-нибудь выпить.

---

[126] Примечания: 126
Хладнокровным *(фр.)*.

Феликс подробно описал свое путешествие в королевском экипаже, Блэнфорд коротко хохотнул.

— А мне вдруг расхотелось спать, — сказал он. — Мы попросили Макса высадить нас и прошли с четверть мили — в сущности, это совсем немного.

Отперев дверь, Феликс вошел внутрь, почувствовав знакомый затхлый запах. Запах его «служебной» виллы.

— Хотел спросить, ты не собираешься сегодня гулять?

За этим невинным вопросом консул учуял тоску одиночества и мучительное предчувствие чего-то неприятного.

— Что-то не так? — ответил он вопросом на вопрос, но Блэнфорд покачал головой.

— Все нормально. Просто наши восхитительные каникулы кончаются, жаль тратить время на сон. Я отправился домой вместе со всеми, как положено, но спать совершенно расхотелось, вот я и сбежал в город.

Что-то в этом длинном объяснении было не то… Феликс поставил на огонь чайник и полез за чашками и кофе. И тут вдруг понял, почему Блэнфорд говорил таким неестественно-бодрым тоном, всё встало на свои места. Ливия опять

сбежала, а Блэнфорд, сразу заскучав и возревновав, решил проверить, не отправилась ли она к Феликсу! Так оно и было. Блэнфорд ничего не мог с собой поделать, хоть и ругал себя последними словами. Он, как впрочем и Феликс, был жертвой ревности, она то накатывала, как волна, то отпускала, совершенно неодолимая. Сколько раз и тот, и другой уговаривали себя опомниться, мол, они должны быть выше столь унизительного чувства. Однако ничего не помогало. Размышляя об этом, Феликс налил себе и приятелю отвратительного жидкого цикория, после чего кисло усмехнулся и спросил (с невольным ехидством):

— Что, опять Ливия?

— Да, — неохотно признался Блэнфорд, — опять.

Феликс вдруг почувствовал жгучее презрение к ставшему маниакально недоверчивым другу. Он дал волю чувствам.

— Значит, ты решил, что ей захотелось остаться со мной наедине, погулять со мной по городу?

— Понимаю, Феликс, — смиренно кивнул головой Блэнфорд. — Именно так я и подумал. Мне ужасно неловко. Но я не мог не прийти. Мне необходимо отыскать ее. Извини, я же знаю, что тебе она тоже нравится. Но… но я просил ее стать

моей женой, потом, когда мы уедем…

Он смущенно замолчал, а его друг, сидевший напротив, пытался выразить свое неодобрение и досаду посредством не очень вразумительных жестов. Говоря откровенно, в самой глубине души, несмотря на искреннюю досаду и обиду он считал, что Ливия в жены не годится. Ее можно любить и, если повезет, спать с нею, но…

— Брак, — сурово изрек он, — это же совсем другое дело.

Блэнфорда покоробил наставительный тон Феликса.

— Да, — на сей раз он уже кисло усмехнулся, — совсем другое, и сейчас оно касается непосредственно меня, поэтому я и позволил себе сюда явиться. Но, если мое общество тебе в тягость, я могу уйти. Только скажи.

Феликса обуревали противоречивые чувства; если он будет один, только со своей бессонницей, Блэнфорд — отличная компания; но если тот спугнет Ливию… лучше бы ему убраться домой. Так что делать-то? Феликс отправился в спальню взглянуть на часы. Было уже поздно, Ливия теперь вряд ли появится. Вернувшись к безутешному Блэнфорду, он спросил:

— Ты вроде бы хотел пройтись?

Блэнфорд решительно покачал головой, но тем не менее произнес:

— Разве что только до логова Рикики, а вдруг она там? Ночь сегодня чудесная.

Ночь и правда чудесная, мысленно отозвался на эти слова Феликс, разливая по чашкам остаток кофе. Действительно, незачем ложиться, лучше погулять. Кроме того, он снова раскусил Блэнфорда: хоть ночь и чудесная, тот явно боялся идти в темный, полуразрушенный квартал. И Феликс не упустил шанса слегка поиздеваться над приятелем.

— Полагаю, к Рикики ты хочешь пойти один?

Блэнфорд посмотрел на него и ответил почти кротко:

— Ну что ты… Как раз наоборот. Ты же знаешь, этот район немного пугает меня — он пользуется дурной славой из-за притонов и цыган.

Откровенность Блэнфорда несколько смягчила Феликса, он снова пошел в спальню и сменил вечерний костюм на менее официальный, то есть на студенческий блейзер и шелковый шарф. Через полуоткрытую дверь он заглянул в знаменитый альков, который служил так называемой гостевой спальней, где Ливия иногда оставалась ночевать. Дверца небольшого шкафа была рас-

пахнута настежь; но он уже показывал Блэнфорду висевший там мужской костюм. Самому Феликсу не приходилось видеть Ливию в этом наряде, только пару раз — в потрепанных брюках, в которых удобнее шататься по городу. Блэнфорд тогда отмолчался — он всегда отмалчивался. О чем он думал? Поди догадайся. Нет, сам он на такой точно бы не женился, хотя завораживающая красота Ливии действовала на него не меньше, чем на Блэнфорда. Но к Ливии его влекло и кое-что еще. То, о чем он вспоминал не без стыда, поскольку никогда раньше ни за кем не шпионил. И тем не менее однажды вечером, уступив острому любопытству, он почти не соображая, что делает, зашел в ее комнату, открыл шкаф и обшарил карманы коричневого дешевенького костюма, будто заранее знал, что сейчас найдет — и действительно нашел листок бумаги, выдранный из тетрадки — любовное письмо, игривое и слащавое, такие пишут девчонки-подростки.

«Ma p'tite Livie je t'aime»,[127] — и так далее в том же «высоком» стиле, но со множеством ошибок и таким построением фраз, которое выдавало невежество и очень юный возраст автора. Феликс

---

[127] Примечания: 127
Ливия, моя малышка, я тебя люблю *(фр.)*.

тщательно изучил почерк, воспользовавшись лупой, всегда лежавшей у него на столе, и пришел к выводу, что письмо написано не безграмотной цыганкой, а школьницей. На этом детективные изыскания закончились, и, немного помедлив, он снова засунул письмо в карман, после чего, небрежно насвистывая, отправился в свой кабинет, радуясь, сам того не желая, что его соперника обманывают. Время от времени он мрачнел и отчаянно старался подавить столь недостойное жестокое чувство — ведь, в сущности, он был добрым малым, который верил в святость дружбы, как все мы в ту пору. Но эта тайная постыдная радость не желала исчезать. Иногда, шагая рядом с Блэнфордом, он мысленно повторял: «Ma p'tite Livie je t'aime», едва не бормоча эту фразу вслух. Подобное поведение было непристойным, он был сам себе противен, но ничего не мог с этим поделать…

Они допили кофе, и Феликс с обычной, несколько суетливой торопливостью поставил чашки и блюдца в раковину. Дожидаясь его, Блэнфорд курил, погруженный в невеселые думы. Любопытно, что его мучили поистине взаимоисключающие чувства. В сущности, его даже отчасти радовало отсутствие Ливии, эта времен-

ная разлука. С глаз долой — из сердца вон, как говорится. С некоторых пор он стал злиться на себя из-за слепой страсти, которая довела его до настоящего рабства, тогда как возлюбленная часто его даже не замечала, ее мысли витали где-то далеко-далеко. Столь сильное нежданно-негаданно нагрянувшее влечение изнуряло, мешая в полной мере наслаждаться красотой Прованса. Любовь — не предполагает ли она своеобразную жертвенную ограниченность? В первый раз он откровенно задал себе этот вопрос. Но ответа не было.

— *Avanti*[128] — позвал Феликс, который со скуки начал учить итальянский язык.

Пройдя по захиревшему саду, они двинулись по лабиринту темных улиц и переулков в сторону Ле Баланс, в этот разрушенный и заброшенный властями квартал, который спускался по склону горы к Роне.

— Не думаю, что я ей хоть немного нужен, — внезапно пробормотал Блэнфорд, швырнув сигарету на тротуар и свирепо растерев ее каблуком.

Ему до смерти хотелось, чтобы Феликс возра-

---

[128] Примечания: 128
Пошли *(ит.)*.

зил и утешил его, но Феликс не собирался его щадить.

— Наверно, так оно и есть, — безмятежным голосом отозвался он, вглядываясь в черное бархатное небо, и втайне ухмыльнулся.

Блэнфорд готов был тут же на месте задушить консула за его спокойствие. И решил, что непременно отыщет Ливию, даже если придется искать всю ночь; надо, наконец, устроить ей грандиозный скандал и выжать хотя бы одну слезу из этой сушеной ящерицы. А потом они помирятся и… и тут нахлынули приятные воспоминания. Не исключено, что она уже дома, забралась в его постель, а они слоняются по городу, как два идиота. От одной этой мысли он весь затрепетал, но всего на мгновение. Где-то на краешке внутренней клавиатуры — среди басовых клавиш — затаились мигрень и давняя неврастения. Поджидали удобный случай. Но у Блэнфорда в кармане всегда было несколько таблеток аспирина. Вот и теперь он достал одну и проглотил, не запивая. *Absit omen*.[129]

— Как тяжело. Я еще никого не любил. Это в первый раз. А шлюхи… их я боюсь.

---

[129] Примечания: 129
Чур меня *(лат.)*.

— Да ладно тебе! — тоном бывалого распутника проговорил Феликс. — Шлюхи необходимы. Поскольку нравы у нас пуританские.

— Однажды после особо веселой вечеринки я подцепил гонорею, — мрачно произнес Блэнфорд, — и это было уже совсем не весело. Пришлось потом черт знает сколько лечиться.

Феликс вдруг почувствовал искреннее восхищение. Значит, Блэнфорд перенес эти пытки в подпольной венерологической клинике с клизмами и писсуарами, где по стенам развешаны жуткие плакаты. Там изображены все возможные последствия, ну, если пренебречь презервативом. Все-таки его друг настоящий герой!

— Наверно, это было ужасно, — проговорил он с неожиданной теплотой.

— Да уж, — кивнул Блэнфорд, не без гордости, — ничего хорошего.

Они переходили с улицы на улицу, двигаясь от стоявшего на взгорке здания Ратуши вниз, к древним средневековым стенам, за которыми сразу же открывался вид на стремительную Рону. Свет Вильнёва на высоком мысу — вот и всё; а кругом — могильная темень, и сквозь медленно движущиеся клубы тумана изредка пробивается свет нескольких звездочек. Феликс прихватил с

собой фонарик, но почти его не включал. Звук их шагов на пустых улицах казался таким одиноким… он возникал будто сам по себе, ведь фигуры приятелей были совершенно невидимыми. Городские фонари встречались редко и были скорее приятным сюрпризом. А на последних двух улицах, которые надо было пересечь, чтобы попасть к Рикики, царил глухой мрак; тротуаров тут давно не было, а уцелевшие на мостовой булыжники были скорее опасны, чем полезны для пешеходов. Канализации как таковой не существовало, и ароматы были соответствующие. Дом Рикики стоял на углу, в *cul de sac*,[130] и вход был только с улицы. Вокруг — кучи хлама: сломанные стулья, осколки мрамора, куски жести, спутанные провода и прочий мусор. Уцелевший дом, напоминал последний уцелевший на челюсти зуб во рту; зияющие пустоши по обеим сторонам зарастали сорной травой, в которой торчали кое-где остатки кирпичных стен. Из окна лился на черную улицу желтый зловещий свет, однако в коридоре было темно, судя по черному окошку над дверью.

Королевского экипажа — Блэнфорд окрестил его «Тыквой принца» — не было видно. Но принц

---

[130] Примечания: 130
Тупик *(фр.)*.

мог отослать его в платную конюшню, где чистили и кормили лошадей. А сам мог поехать в другое заведение — хотя в городе насчитывалось немного столь же популярных борделей, тем более пользующихся поддержкой властей. А к Рикики власти относились лояльно, ведь она еще держала пансион для жильцов и была (невероятно!) приемной матерью для многих бездомных и брошенных деток. Тем не менее, отношение к Рикики было настороженное, все-таки хозяйка дома терпимости и водит дружбу с цыганами. Многие называли ее «творящая ангелов», так как детишки, отданные ей на попечение, были нежеланными и очень скоро отправлялись на небеса, чтобы составить компанию тамошним ангелам — такие ходили слухи. Но все неприятности она улаживала с помощью взяток, которые давала наличными или натурой, впрочем, в любом случае мелкие чиновники и полицейские часто к ней захаживали.

Итак, двое приятелей шагали по улицам неспокойного квартана с вполне понятной опаской, хотя Феликс пару раз принимался даже что-то насвистывать, чтобы приободриться.

Наконец они остановились у дома Рикики, и Блэнфорд робко постучал в дверь костяшками

пальцев. Однако никто не отозвался на этот негромкий зов — не вспыхнул свет, не зазвучали голоса. Невеселое ожидание затягивалось. Феликс подобрал камень и постучал более настойчиво, хотя ему очень не хотелось поднимать тут шум среди ночи. Что если бы окна открылись и оттуда посыпались бы страшные ругательства? Они бы бросились наутек, как кролики. Но никто даже не выглянул; из-за двери не доносилось ни звука, и это было очень грустно. Раздосадованный Блэнфорд ударил пару раз ногой, но поскольку на нем были теннисные туфли, это мало что дало. Молодые люди подождали еще, потом опять настойчиво постучали, но безрезультатно. Тишина и покой снова наполнили темноту, и их нарушали лишь аисты в своих неряшливых гнездах, устроенных на городских стенах. Где-то — не очень далеко, хотя казалось, что на другом конце света — очередной час пробили часы, хотя трудно было сказать, который именно.

— Надо же, ни звука, — потерянно прошептал бедняга Блэнфорд. — Но должен же там кто-то быть.

Они побрели прочь, Феликс включил фонарик, его луч выхватывал из тьмы кучи мусора, и в какой-то миг уперся в руины соседнего дома. В

уголочке были свалены пустые жестяные бочонки из-под оливкового масла, и они подсказали ему великолепную идею. Он подкатил один по заросшему мхом пятачку земли к стенке под единственное освещенное окно, перевернул этот бочонок, после чего залез на него, очень медленно и очень осторожно; не хватало еще рухнуть и сломать себе шею, а потом валяться тут, среди битых кирпичей и прочей дряни. Наконец ему удалось удержать равновесие и, прижавшись к стене, Феликс заглянул внутрь.

— Здесь у них уборная, — полушепотом доложил он. — Они не выключили свет, и дверь открыта. — И потом с судорожным вздохом вдруг выкрикнул. — Господи! Вот они где, голубчики! Вы только полюбуйтесь на старину принца!

Сгорая от любопытства, Блэнфорд кинулся за вторым жестяным бочонком, и вскоре тоже имел удовольствие заглянуть в уборную, через открытую дверь которой был увиден коридор, достаточно хорошо освещенный. Он вел во внутренний дворик с диванами и чахлыми растениями в горшках. Действительно принц возлежал на диване, совершенно умиротворенный; Катрфаж, в одной рубашке и в носках, причем красных, сидел рядом, прихлебывая виски, и

что-то вдохновенно ему рассказывал. Нескольких секунд хватило на то, чтобы разглядеть и более пикантные детали этой сцены, казавшейся абсолютно нереальной, словно все происходило в каком-нибудь маленьком театре.

Принц снял все, что было на его щуплом сером торсе; только крупные выпуклые соски, так сказать, прикрывали королевскую грудь, что не мешало его высочеству сохранять скромное величие. Нижняя часть его тела от талии до щиколоток была упакована в легчайшие трикотажные кальсоны, из прорези торчал королевский член с розовым, как у невинного младенца, кончиком. Катрфаж тоже выглядел весьма двусмысленно в своей рубашке и красных носках. Он что-то рьяно втолковывал Рикики, которая стояла в тени, поэтому была видна лишь наполовину, отчего казалось, будто клерк с жаром витийствовал перед двумя необъятными грудями, выпиравшими из-под грязной сорочки. Рядом стояла озадаченная карлица с чудовищно нарумяненным лицом, словно она собиралась выйти на арену цирка — наряд из тонкой кисеи едва прикрывал ее уродливое тело, а голову украшала фата. На ней было множество браслетов, цепочек и прочих украшений, в общем, разодета хоть куда, явно для

особого случая. Видимо, этим маскарадом хотели угодить принцу, но не вышло, и в данный момент дружок высокого гостя излагал его претензии: дескать, Рикики подсунула не то, что требовалось. Понять смысл столь бурной речи было нетрудно. Карлица оказалась слишком старой и слишком упитанной, совсем не во вкусе принца. Тем не менее, его высочество вел себя галантно, судя по тому, что отвратительная коротышка, сделав неуклюжий реверанс, набросилась на большую коробку с лукумом, которую клиент подтолкнул к ней поближе. Зубы карлицы, огромные и желтые, походили на игральные кости.

Видимо, Рикики никак не могла уяснить, что же требуется тщедушному человечку. Но вот принц соизволил вяло протянуть вперед руку, показывая, что хочет партнершу помоложе, очень-очень молодую. Что-то объясняя, он сопровождал свои слова изящной жестикуляцией. И в его порхающих движениях не было ни намека на обиду или злость. Он просил, а не приказывал. Все тихо-мирно, очень цивилизованно. Более того, он протянул коробку с рахат-лукумом и непонятливой Рикики, и та, выудив сладкий кубик, с хищной жадностью его проглотила, потом, слизав с пальцев сахарную пудру, вытерла

их о сорочку. И тут она вдруг вскинула вверх указательный палец, будто ее осенила гениальная идея, и засеменила прочь, а мужчины снова взялись за стаканы с виски. Карлица, этот уродливый призрак для суррогатных радостей, последовала за ней, срывая на ходу фату, так актриса стаскивает с головы парик, скрывшись за кулисами.

Оставшиеся в центре сцены мужчины (сравнение с театром напрашивалось снова и снова при виде ограниченного дверным проемом и ярко освещенного пространства) наполнили стаканы и заговорили совсем тихо. Катрфаж был очень красен и очень весел, видимо, чувствуя себя вполне комфортно без брюк, в одной грязноватой рубашке. Принц даже в кальсонах умудрялся сохранять королевский вид, хотя был чересчур уж худеньким. Он почесывал время от времени свой миниатюрный мужской инструмент и был само добродушие. Ждать им пришлось недолго, вскоре на сцену ворвалась Рикики, раскрасневшаяся от радости. Она держала за руки двух девчушек, наряженных словно для первого причастия. Толстый слой румян делал их рожицы похожими на маски, сквозь глазные прорези которых они смотрели с явным любопытством, без тени испу-

га. Для пущего эффекта толстуха остановилась чуть поодаль, а после развязно, но все же с легкой опаской, представила гостям своих подопечных. *Eureka!* Все ясно! Она вспомнила о том, что у нее есть парочка подходящих «ангелочков».

Результат можно было предугадать заранее. Принц засиял от удовольствия и стал похож на мальчишку, того и гляди начнет кувыркаться от радости. Поставив свой стакан, Катрфаж сложил руки на груди и милостиво улыбнулся Рикики, принц же протянул к ней руки и, взяв ее пальцы, сделал вид, будто хочет их благодарно поцеловать. Девочки слегка растерялись, но были вполне довольные происходящим. Они сосали леденцы. Поднявшись со своего ложа, принц ласково обнял обеих; потом он кому-то махнул рукой и сказал что-то по-арабски, после чего появился мажордом (видимо, обретавшийся в тени, так сказать, в кулисах), который вел на золотых поводках двух огромных холеных афганских борзых. Принц в восторге захлопал в ладоши и, хохоча, издал ликующий крик; затем с умиротворенной улыбкой посмотрел на всех. Вот теперь все в полном порядке, говорил его взгляд. Можно переходить к следующему акту…

Рикики распахнула боковую дверь, которая

вела в спальню, декорированную довольно экстравагантно. Там стояла широченная, отделанная позолотой кровать под ромбовидным зеркалом. Застелено это ложе было золотистым покрывалом, а на полке, прибитой выше, теснилось много куколок в народных костюмах. Стены были драпированы красными шалями и вся картина напоминала сцену из «Призрака оперы». Крохотные манекены, похожие на съежившихся детей, которых терпеливо и профессионально обрабатывали всякими консервантами, прежде чем нарядить арлекинами, арлезианцами, каталонцами и басками. Сюда-то старая сводня и привела принца, теперь уже он ласково держал за руки двух девочек. Собаки — без поводков — следовали за ним, как отлично выдрессированные слуги, знающие свои обязанности. Сцена была предельно пикантной и откровенной, поскольку актеры не знали, что за ними подсматривают… Да, настолько, что шпионы почти не чувствовали того отвращения, которое испытали в первые секунды.

Но тут как назло Катрфаж вошел в уборную и закрыл за собой дверь, прервав этот колоритный спектакль. Клерк уселся на стульчак, и началось куда менее эстетичное действо. Вскоре тайные

зрители услыхали стоны и кряхтенье — прямо под своими подбородками. Как быть дальше? Ни консулу, ни Блэнфорду не хотелось, чтобы их уличили в подсматривании. Только сейчас они поняли, до какой беды их довело любопытство, потому что спрыгнуть с высокого бочонка было не очень-то просто. Чересчур большой риск сломать ногу — в эдакой темени! Так бедняги и стояли на своих круглых жестянках, мысленно проклиная негодяя клерка и надеясь, что он не будет слишком долго торчать в туалете и распахнет дверь. Тогда они снова увидят спальню и уморительного египтянина. Однако какими бы захватывающими ни были сексуальные причуды посетившего священную Мекку распутника, вряд ли у них хватит сил до самого утра торчать под окном, практически не шевелясь. Оба соглядатая совсем приуныли, храня скорбное молчание, ибо никаких светлых идей в их горячие головы не приходило.

Растущее отчаянье и все более ощутимый дискомфорт рано или поздно вынудили бы несчастных на что-нибудь решиться, но судьба была все же к ним милостива: Катрфаж благополучно опорожнился и дернул за цепочку; и словно бы тоже повинуясь рычажку сливного бачка, дверь

распахнулась, вновь явив ярко освещенную сцену. Однако теперь дверь спальни была почти закрыта, и сколько консул с Блэнфордом ни тянули шеи, разглядеть, чем там занимался принц со своей свитой, им никак не удавалось. Рикики сидела вся размякшая, похожая на проколотую велосипедную камеру, и, пользуясь отсутствием принца, она снова совершила хищное нападение на коробку с липкими сладкими кубиками.

Сцену пересекла отвергнутая принцем маленькая горбунья — на сей раз голая — и уселась у выступа, накрытого разноцветными шалями, оказалось, что это пианино. Одним пальцем она наигрывала простенькую мелодию, извлекая из инструмента отрывистые звуки. Довольный Катрфаж разлегся на диване, держа с алчным видом бутылку. Разговоров больше никто не вел. Из спальни изредка доносились какие-то фразы, однако разобрать их не было возможности. В общем, теперь все выглядело довольно обыденно, ничего интересного, и Блэнфорд почувствовал, как сильно затекли у него пальцы на ногах. Пора было спускаться на землю и отправляться по домам. Едва он собрался призвать к этому своего напарника, как неожиданный сюжетный поворот придал спектаклю новую энергию, жи-

вительный драматизм.

С кудахтаньем и квохтаньем в комнату снова ворвался мажордом (очевидно, через парадную дверь, потому что снаружи был слышен скрежет петель) и потребовал, чтобы его сию минуту впустили к хозяину. Когда же ему посоветовали запастись терпением, кудахтанье сделалось на целую октаву выше, а гнев достиг апогея. Неподобающе смело (так они думали) он распахнул дверь спальни, открыв зрителям сцену почти домашней идиллии: принц на кровати в окружении детей и собак, на голове у него фата, которую надевают девочки для конфирмации, и обе подружки от души смеются над ним. Принц тут же вскочил, возмущенный неслыханной дерзостью, он совсем забыл про фату, и прямо в таком трогательном виде стал орать на слугу, который однако, продолжал что-то бормотать и яростно жестикулировать. Видимо, причина вторжения была действительно весьма уважительной. Побесновавшись пару минут, принц все же это уяснил и сел на кровать, чтобы выслушать несчастного. Но едва тот произнес несколько слов, принц резко дернулся, словно его ударило электрическим током, а потом с небывалым проворством спрыгнул с кровати и бросился в

другую комнату, а оттуда — в сторону входной двери, по-птичьи тоненьким голоском прокричав по-английски с сильным каирским акцентом: — Украли проклятую карету! Волнение и стремительный бросок принца и его слуги к двери были настолько впечатляющими, что все вокруг тоже всполошились и ринулись за ними, подхваченные волной отчаянья бедного египтянина. Блэнфорд и Феликс поддались всеобщей панике, мигом сообразив, что сейчас вся эта свора выскочит на улицу и обнаружит их тут — за постыдным занятием. Они живо спрыгнули на землю и при свете фонарика стали искать дорогу среди руин.

Со скоростью кометы принц и его слуга вылетели на улицу, а за ними, будто загипнотизированные, выскочили все остальные — Рикики, Катрфаж, голая карлица, девчушки и собаки. Остановившись, они стали растерянно озираться по сторонам, растерянно и гневно, ибо роскошный экипаж, который был оставлен перед входом, действительно исчез. Принц с досадой топнул голой ногой по бывшему тротуару, а его мажордом, чтобы окончательно удостовериться в пропаже, отбежал за угол и стал нервно всматриваться во мрак, напоминая гончую, которая ищет след. Через несколько секунд он вернулся, мотая

головой и изрыгая ругательства. Принц тоже крутился, как юла, осматриваясь, и поглядывал то на одного, то на другого, ища сочувствия.

— Кто мог это сделать?

Ему ответила Рикики, не так уж сильно удивленная пропажей:

— Цыгане это. Доверьтесь мне. Завтра я вам их найду.

Вся компания была настолько поглощена своей маленькой драмой, что появление Феликса и Блэнфорда никого не удивило. Их, можно сказать, едва заметили; но когда они заявили, что экипажа нет уже давно (им ли было не знать), то вызвали некоторый интерес. Карлица тут же сообразила, что это потенциальные клиенты и с кокетливой улыбкой сжала локоть Феликса — бедняга консул не на шутку перепугался.

— Я вызову полицию, — произнес принц тоном обиженного ребенка. — Сейчас же позвоню Фаруку.[131]

Это прозвучало не слишком убедительно, очень уж причудливый был у него вид: в девичьей фате и серых шерстяных кальсонах, в прорези которых болтался малюсенький член.

---

[131] Примечания: 131

Имеется в виду Фарук Первый (1920–1965), король Египта (1936–1952).

Не долго думая, Катрфаж увел приятеля обратно в дом наслаждений, Блэнфорд и Феликс юркнули следом — выпить и убедиться, что Ливии там нет. Катрфаж, вспомнив о том, что он тоже не в лучшем виде, бросился за штанами, а потом, разумеется, налил себе еще стаканчик виски. Принц с гордым видом удалился в спаленку, не забыв прихватить с собой собак и девчонок — и захлопнул дверь, приказав не тревожить его хотя бы часок. Блэнфорд потягивал виски и слушал треньканье пианино. Ему вдруг смертельно захотелось спать.

— Ливия ушла к цыганам, — с неприятной улыбкой сообщил Катрфаж.

Вот как… значит, она все-таки побывала тут, как обычно, надула обоих! Феликс украдкой посмотрел на товарища по несчастью, естественно, мысленно усмехнувшись. Но. Блэнфорд выглядел скорее злым, чем несчастным. Он твердил себе, что с этим пора кончать — давно пора кончать с этим безумием.

— Тупик, — произнес он вслух, но обращаясь исключительно к самому себе.

Наконец-то он начал прозревать — однако истина всегда похожа на всполох — раз, и нет ее, снова сумерки. Часть его «я» была все еще во

власти воспоминаний, подчинена гнетущему магнетизму Ливии, ее томительным поцелуям, от которых огонь вспыхивал в жилах, — эти чарующие виденья. К черту ехидные реплики клерка. К черту циника Феликса — слишком все было серьезно, слишком глубоко он погрузился в пучину безнадежности и колдовских чар, чтобы прислушиваться к чужому мнению.

Блэнфорд держал свои переживания при себе, не желая никого в них посвящать, нет-нет! Слишком он дорожил каждым граном радости и боли, которые сейчас испытывал. Какая ему разница, что делает Ливия, и какой у нее характер? Странная метафора пришла ему на ум, очень точно определявшая природу его влечения. Этой метафорой через много-много лет воспользуется Сатклифф, пытаясь уяснить причину своего неизбывного влечения к бледной призрачной Пиа, которая была «разжиженной» копией Констанс, сестры Ливии. Однако на самом деле метафору породила именно Ливия в эту сумбурную ночь. Метафору, понять которую смог бы только алхимик. Блэнфорд любил в Ливии «воду» — главное достоинство драгоценного камня. Ведь, по правде говоря, в женщине любишь именно это, не внешний облик, а тональность. Это внезапное

открытие было настолько уникальным, что Блэндорфу захотелось срочно отыскать клочок бумаги и записать свои мысли. Надо непременно занести их в дневник, но он опасался, что до завтра они выветрятся у него из головы.

Внезапно навалилась неодолимая усталость. Прочь отсюда, прочь из этого вертепа с его шумом и суетой.

— Я хочу домой, — зевая, произнес он, и Феликс неожиданно его поддержал. Блэнфорду было до того одиноко, что он готов был выскочить в уличную темень и неистово махать неведомым прохожим, пусть даже воображаемым. Катрфаж сказал, что ему тоже пора.

— *J'ai tiré mon petit coup,*[132] — застенчиво произнес он.

А как же принц? Что ему принц? Пусть остается; мажордом присмотрит, чтобы он живым и здоровым добрался до отеля «Империал», до своей нынешней резиденции. Уже и городской *fiacre* был вызван на замену «тыквы принца», и теперь стоял напротив двери. Ночь была почти на исходе, и все трое чувствовали себя совершенно обессиленными. Короче говоря, трое

---

[132] Примечания: 132
Отстрелялся *(фр.)*.

гуляк пешком отправились через весь город, с наслаждением вдыхая ночную прохладу, наполненную ароматом лимонов, мандаринов и жимолости. Первым компанию покинет Феликс, потом Катрфаж; ну а Блэнфорду хотелось где-нибудь посидеть, подумать, и пусть мысли о Ливии зреют, наливаются соком, как огромная тыква. Боль может приносить радость… такого он еще никогда не испытывал.

Ночь ждала их — необъятное брюхо тишины, в котором почти не были слышны обычные городские шумы. Где-то поблизости проехала «скорая помощь» с включенной сиреной; было что-то мстительное в ее завывании, подумалось Блэнфорду, будто она торопилась назад, в больницу, с трофеем в виде изувеченной плоти. Слышно было, как вой утихает — «скорая», выехав за крепостную стену, помчалась в сторону пригорода. Феликс сладко зевнул. Блэнфорд вдруг ощутил всю тяжесть своего нарциссизма, который осел глубоко внутри, как тесто или воск, плотным комком, ожидая, когда из него начнут лепить нечто ценное — но как? Пока еще ему не хватало нахальства думать о себе, как о художнике. Бессмысленное творческое кипение находило выход лишь в бессоннице или неожиданных слезах, так

случалось, когда вдруг его до боли трогала великая музыка или пронзительная красота пейзажа. Большинству людей эти неожиданные проявления красоты, эти редкие свидания с прекрасным дороги сами по себе, чтобы просто наслаждаться ими. Но Блэнфорд был из породы неуемных упрямцев, которым мало простого наслаждения — им нужно непременно осмыслить красоту и воссоздать в более доступном виде, увековечить мимолетные дары неуступчивой реальности. Что же делать? Он постоянно об этом думал и постоянно страдал оттого, что бессилен, что ничего не может сделать, что и делать-то, в сущности, ничего не нужно.

Ветерок пробежал по улице и завернул за угол, исчезнув в непоседливом кружении опавших листьев, утонув в невидимой реке, которая то легко и бесшумно, то с усилием и заметным — по мере их приближения — плеском одолевала расстояния. Когда встанет солнце, тысячи покрытых листьями платанов отразятся в зеленоватой воде. Наконец-то показалось консульство. Тротуары все еще сохраняли тепло, и, вымытые жавелевой водой, источали одуряющий запах. Феликса грызла ностальгическая грусть.

— Как жалко, что вы все скоро разъедетесь, —

сказал он, пытаясь утешиться мыслью о том, что после *такого* лета счастливых воспоминаний хватит на всю зиму, которая принесет с собой дождь, снег и слякоть. — Пожалуй, пора попроситься в отпуск, — продолжал он, оживившись: это был бы шанс встретиться где-нибудь с остальными, скажем, в Лондоне.

Блэнфорда волновали проблемы куда более серьезные — ведь в Оксфорде он последний триместр. Реальная жизнь расправляла крылья. Что станется с ним? Средства для насущных нужд у него будут — но что такое деньги, если нет страстной мечты, главной цели? Лудильщик, Портной, Солдат, Моряк… кем станет он? Когда он показал Ливии два коротеньких стихотворения, напечатанные в университетском журнале, она посмотрела на него как-то иначе, по-новому, с уважением; впрочем, возможно, у него просто разыгралось воображение. А сами стихи… что ж, неплохая стилизация, но ни грана живого чувства. Неужели она этого не поняла? Он тяжко вздохнул, делая очередной шаг. Похоже, Катрфажа тоже, несмотря на усталость, проняла тоска. Он глядел на черное небо и тряс головой, как мокрый мастифф.

— Жизнь дается лишь раз, — неожиданно про-

изнес он.

Феликс, зевая во весь рот, свернул к консульству.

— Не забудь, машина завтра моя, — напомнил он клерку, тот равнодушно пожал плечами.

У входной двери Феликс постоял минуту, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Скоро придет фонарщик и соберет распустившиеся цветы огней — пугливый, как белка. Скоро он опять останется один-одинешенек в этом жестоком городе, наслаждаться которым можно было, лишь глядя на него глазами Ливии… А его собственные глаза просто слипались, но он, пересилив себя, все же почистил зубы, прежде чем юркнуть под одеяло, — он гордился тем, что они такие ровные. А пока он чистил их, твердо сказал своему зевающему отражению:

— Я не стану перед сном заливаться слезами оттого, что на луне нет площадок для гольфа.

Это прозвучало как заклинание, как непреложный факт.

Блэнфорд и Катрфаж тем временем молча шагали рядом, и каждый думал о своем; однако чем ближе они подходили к маленькой площади, где светящееся окошко Катрфажа резко выделялось на фоне темного отеля, тем медленнее становил-

ся их шаг. Несмотря на чудовищную усталость, клерку не хотелось расставаться с Блэнфордом. Говоря по правде, он был трусоват и не любил по ночам возвращаться в свою комнату один, опасаясь каких-нибудь неприятных сюрпризов. В его воображении возникали причудливые персонажи: например, старый бродяга, развалившийся в кресле, поджидает его… или слепец с белой тростью и большой белой собакой. Не иначе как их посылал к нему сам дьявол. Катрфаж хмурился и тряс головой, стыдясь собственно глупости; и однако же пытался найти предлог, чтобы убедить Блэнфорда подняться вместе с ним по лестнице и войти в его комнату — чтобы ему наконец хватило смелости выключить свет и немного поспать.

Нелепым было предлагать выпить еще по стаканчику, но он уже слышал, как делает это, и Блэнфорд — надо же! — с готовностью принял приглашение. Клерк едва верил своему счастью. Унылая прогулка тотчас превратилась в веселое волнующее приключение, сонливости как не бывало. На самом деле Блэнфорда всегда тянуло взглянуть на удивительный кабинет, все стены которого были увешаны списками умерших тамплиеров и напротив каждого имени — дата казни. В углу стояла неубранная кровать и столик,

уставленный орудиями борьбы с бессонницей: пузырьки с таблетками и настойкой опия, пачки сигарет, стопки книг по алхимии и смежным наукам, со штампом музея Калве.

На каминной полке лежала пачка школьных тетрадей. Под кроватью стоял белый ночной горшок, разрисованный розочками. Всю середину комнаты занимали столешницы на козлах с привинченными лампами, наверное, на таких же архитекторы делают свои подробные чертежи — или что-то похожее на сооружения, где раскладывают обои, прежде чем нанести на них клей. В маленькой нише рядом с распятием — бутылка виски и несколько бутылочек с минеральной водой. В комнате пахло сыростью. Дом находился на теневой стороне улицы, и сюда никогда не заглядывало солнце. На всем — толстый слой пыли, туалет (и там же душевая кабинка) был в безобразном состоянии: на полотенцах пятна бриолина и почему-то губной помады. Оттуда жутко воняло. Куда ни глянь, метины от сигарет — даже на раковине коричневое пятно. Странно, как еще до сих пор обходилось без пожара. Катрфаж налил теплое виски и пододвинул гостю неудобный стул.

Однако Блэнфорд предпочел, стоя, рассматри-

вать списки тамплиеров с предполагаемыми датами смерти, и повеселевший Катрфаж с гордым видом следил за его взглядом.

— Нам удалось проследить судьбу каждого, — сказал он, — и мы точно знаем, что они очень надежно спрятали свои сокровища, ни Филиппу, ни его казначею Ногаре, проводившему расследование, они не достались. Вот почему все так затянулось. Тамплиеры готовы были признаться в чем угодно, но о тайнике — ни слова. Из документов ордена — смысл некоторых, кстати, весьма темен — мы узнали, что пятеро неведомых рыцарей были посвящены в тайну. Но кто? Однако у нас есть ниточки, которые должны вывести куда надо.

Умолкнув, он залпом осушил стакан и громко закашлялся. Умиравший от любопытства Блэнфорд стал спрашивать о том, о сем очень осторожно, и вдруг выпалил:

— А Ливия думает, будто вы нашли тайник — в каком-то имении или в склепе, или в часовне, но там было пусто. Сокровище давно украли…

И тут Катрфаж явно занервничал: болезненно-бледное лицо, дрогнув, мучительно напряглось.

— Ливия ничего не знает! — хрипло крикнул он, плюхнувшись на кровать. — Что бы ни гово-

рили цыгане, всё вранье. Пока еще я ничего не нашел. Однако в Провансе полно разрушенных часовен и пустых склепов, уничтоженных во время разных религиозных смут. Но пока — ничего похожего на сад «Жезлоносца Святого Людовика», где платаны были бы посажены особым образом: четыре по углам квадрата, и пятый — посередине. Как в рощах возле древнегреческих храмов. Нет, тайник пока еще не удалось отыскать.

Блэнфорду стало неловко за свою выходку, главным образом оттого, что он сразу почувствовал: Катрфаж скорее всего врет. Или врет Ливия? Как бы там ни было, его это не касается, ни к чему, чтобы маленький клерк решил, будто ему не верят, будто его ни во что не ставят, не доверяют его словам.

— Прошу прощения, — сказал Блэнфорд, — не мое это дело, и я не должен был повторять всякие сплетни.

Тем не менее, волнение Катрфажа было слишком очевидным, и Блэнфорд не мог не думать о словах Ливии, она рассказала о сплетне случайно, отнюдь не желая посмеяться над клерком или выдать чужую тайну.

— Мы отыщем сокровище, — произнес Катрфаж, и глаза на бледном от нервного напряжения

лице злобно сверкнули, — это будет день великой радости.

Блэнфорд отвернулся к стене, увешанной списками казненных тамплиеров, и как раз в это мгновение первые лучи солнца коснулись противоположной стороны улицы, отчего едва заметные оттенки желтого и розового проникли в грязную комнату, словно это был сигнал из таинственного и многоликого прошлого.

Имена умерших сверкали как бриллианты, как угольки, все еще тлеющие в золе минувших столетий. Они медленно, одно за другим, отзывались в памяти, окутанные смертной тишиной, уснувшие в колыбели молчания. Мертвые рыцари под пестрыми знаменами! Ренье де Ларшан, Рено де Трамбле, Пьер де Торвиль, Жак де Молэ, Гуго де Перо, Жан дю Тур, Жофруа де Гонневиль, Жан Тельефер, Жан Л'Англэ, Бодуэн де Сен-Жюст. Все они — достояние истории, все стали жертвами слепого случая, алчности и фанатизма эпохи беззакония.

— Интересно, в чем они были виноваты, — вслух произнес он, скорее размышляя, чем ожидая ответа.

Его взгляд вновь пробежал по знаменитым фамилиям, задерживаясь то на одной, то на другой,

смакуя таинственность их трагичной и безвременной гибели от голода, пыток или на кострах инквизиции. Эту загадку едва ли возможно разгадать; и однако же она до сих пор не дает покоя историкам.

Катрфаж в задумчивости присел на край кровати, подавшись вперед — так ему проще было следовать за мыслями Блэнфорда, которые он старался угадать. Лицо у него раскраснелось, его вновь охватило возбуждение; к тому же он здорово перебрал, и теперь алкоголь начал действовать.

— В чем они были виноваты? — повторил он громким надсадным голосом, столь непохожим на свой обычный, что Блэнфорд обернулся и с любопытством на него уставился.

— Да, в чем? — отозвался Блэнфорд.

Катрфажа окончательно развезло, но он встал, пошатываясь и едва не плача:

— В ереси. Это же величайшая ересь, какой не знал мир, — со слезами в голосе произнес он и, стиснув кулаки, поднял их над головой, будто бы угрожая всему миру, словно это он сам стоял на высоком костре и, чувствуя, как пламя охватывает его ноги, твердил, что истинна та вера, которая противоречила всем канонам и представлениям

его эпохи.

Несколько мгновений Блэнфорд слушал пламенную речь, потом протянул к нему руку, словно хотел успокоить или утешить слишком увлекшегося Друга. К тому же, Блэнфорда немного мучила совесть: не брякни он про пресловутые сокровища, Катрфаж не надрывался бы сейчас, не дрожал бы от переизбытка чувств. Он был как провод, по которому пустили слишком сильный ток.

— Ты не знаешь правду, — с трудом выговорил он дрожащими губами, беднягу душили слезы.

Фанатик. Вот кто скрывался под личиной усердия, неподкупности и вежливости, — это был только защитный панцирь. А теперь запоры постепенно вышли из строя (чему весьма помог алкоголь, а кроме него слова Ливии). Блэнфорду представилась дамба, точнее, один из *écluses*[133] на Роне, сквозь который проплывала их баржа. Мощное течение теперь уносило осколки тайной одинокой жизни, которую вел отшельник в номере отеля, где он страдал над страданиями давно почивших рыцарей, пытаясь с помощью науки и хитрости опустошить их карманы.

— Мы — кладбищенские воришки, вот мы кто,

---

[133] Примечания: 133
Шлюзный затвор *(фр.)*.

вот для чего нас нанял Гален, — с горечью кричал он, сам того не ведая, эффектно изображая жертву инквизиции. — Они свели всё к вульгарным *fric*,[134] к грабежу, прохлопав гениальное, грандиозное отступничество. Блэнфорд, é*coutez!*[135]

Схватив Блэнфорда за плечи, он стал трясти его с такой яростью, что у того все выпитое за вечер едва не изверглось наружу, невероятным усилием воли он подавил позыв и вырвался.

Катрфаж снова плюхнулся на кровать и с угрюмым видом подпер кулаками подбородок.

— Вот что меня убивает, — проговорил он чуть спокойнее, уже менее трагическим голосом, — подлость того, что мы делаем, и то, что я сам в этом участвую.

Блэнфорд на эти откровения отреагировал так, как и должен был отреагировать питомец типичной закрытой частной школы с ортодоксальным христианским воспитанием: он ощутил робость, страх, даже шок. Он проклинал себя за идиотскую болтливость. До чего довел человека! Сидеть и смотреть, как Катрфаж покаянно колотит себя в грудь, — сомнительное удовольствие. Но если

---

[134] Примечания: 134
Деньги *(фр.)*.

[135] Примечания: 135
Послушайте *(фр.)*.

бедняге так противна его работа, почему он от нее не откажется? Отличный способ достичь душевного равновесия, Блэнфорду это было хорошо известно. Подавив вздох, он уселся на стул, и приготовился слушать исповедь клерка.

— Согласился я из сугубо меркантильных соображений, но потом меня все сильнее стали привлекать сами тамплиеры — не их богатства, а суть их ереси. Как они бросили вызов власти материализма, как вводили в конфуз правившего миром дьявола — вот что не давало мне покоя. Ну да, они потихоньку становились несокрушимыми светскими властителями — они, по сути дела, были главными банкирами той эпохи. Основной опорой этой мощной власти были банки и тюрьмы.

Катрфаж вяло махнул рукой в сторону папских дворцов, стоящих высоко над рекой, которые тоже начинали розоветь, лепесток за лепестком, шпиль за шпилем.

— Рыцарей методично уничтожили прятавшиеся под капюшонами мясники из Инквизиции, чтобы сохранить существующий порядок, а ведь знали, что это ипостась зла: первичность материи и волевого начала в нашей юдоли. Эти живодеры были орудиями самого Старика Ни-

ка,[136] который боялся, что трон его пошатнется из-за благородного противостояния рыцарей; нет, он не желал сдаваться без борьбы. Жажда смерти против жажды жизни. А Бог, знаешь ли, только алиби, всего лишь прикрытие, будто нет этой борьбы. Но то была кровавая схватка зла и добра — и вся Европа еще несколько веков была поставлена на карту. — Он облизал пересохшие губы и судорожными глотками осушил снова налитый стакан виски. — Они проиграли, а вместе с ними и мы, — почти шепотом произнес он.

Катрфаж и Блэнфорд секунд пять пытливо всматривались друг в друга, потом Катрфаж горько усмехнулся и, склонив набок голову, полуприкрыл глаза — как птица, прячущая голову под крыло.

— Я знаю, почему ты так смотришь на меня, — сказал он. — Считаешь, что это глупо и нелепо — так переживать из-за давно минувших исторических драм. Ты, конечно, прав. Но наша судьба, судьба современных европейцев, решалась именно тогда — причем здесь, в Авиньоне. Мы тоже принимаем участие в похоронах живого человека, бросаем его в могилу материализма. Ну да,

---

[136] Примечания: 136
Одно из имен дьявола.

тамплиеры были побеждены, и непроницаемые облака пропагандистской лжи накрыли их, чтобы правда не вышла наружу, чтобы очернить их имена навеки. Членов ордена обвинили во всех видах колдовства, хотя единственное, в чем они были повинны, так это в твердом нежелании продлевать великую ложь, на которой зиждется цивилизация. Несмотря на приказ. Естественно, им приходилось держать свои крамольные мысли в глубочайшей тайне, ибо это была ересь, если пользоваться термином той эпохи.

Наконец он замолчал. А Блэнфорд все не сводил глаз с огромных карт на стене, там он высмотрел и архитектурные планы разных замков тамплиеров, и соответствующие топографические схемы. Он пришел к выводу, что юный фанатик, в сущности, совершенно безобиден, просто забил себе голову разными спекуляциями на мистицизме, сейчас это очень модно. «Роза и крест», магические пропорции Великой пирамиды, мадам Блаватская… Блэнфорд и сам неплохо знал все это, прочитал кое-какие книжки — но отнюдь не сходил с ума от этих безусловно занимательных фантазий.

— Какая разница, есть сокровище или нет сокровища? — со страстью воскликнул Катрфаж,

снова проснувшийся, чтобы закончить свою исповедь. Бах-бах! — Добавить богатенькому Галену еще немного *fric?* Лично мне кажется, нет никаких сокровищ; я думаю, Филипп Красивый получил все сполна. Я никому об этом не говорил, потому что не знаю наверняка. Но наши поиски квадрата с пятью деревьями должны вывести нас к другому сокровищу. Вот во что я верю. Но с кем об этом говорить? Не с кем! Не с кем!

И он снова принялся истязать кулаком свою кровать, пока жалобно не заскрипели пружины. Катрфаж вспомнил мучительные подробности собственного отступничества, собственного отречения от тела Христова, от этого тотема… в духе каннибалов, и он задохнулся от нахлынувшего вдруг чувства несостоятельности, убогости. И застонал.

— Кажется, я кое-что понял, — не без важности произнес Блэнфорд. — Ты ведь имеешь в виду философский камень, правильно? — Однако клерк, погруженный в свои грезы, лишь рассеянно кивнул, истина интересовала его гораздо больше, чем слова Блэнфорда. — Надеюсь, ты не журавлика в небе решил изловить? Или, скажем, радугу?

Можно было даже и не спрашивать. Катрфаж что-то бормотал себе под нос, уже спокойно,

без прежней неистовости, многозначительно и покорно кивая головой. Потом он улегся на бок, осторожно обхватив голову ладонями, словно это была голова мраморной римской статуи, и заснул. Некоторое время Блэнфорд с любопытством и сочувствием смотрел на него: в столь слабом теле пылал могучий неистовый дух. Но теперь, когда Катрфаж угомонился и заснул, уткнувшись носом в подушку, он выглядел совершенно беззащитным. Какие тоненькие у него запястья. Поскольку свет был уже выключен, то Блэнфорду ничего другого не оставалось, как на цыпочках выйти из комнаты и спуститься по скрипучей лестнице.

Он задержался у стойки, чтобы шепотом попрощаться с сонным ночным портье, убиравшим свое временное ложе, а потом направился к холодной реке под мостом, которая мчится прочь из просыпающегося города, в сторону зеленой гряды холмов. Он вдруг ощутил прилив сил, захотелось поскорее добраться до Ту-Герц. В это радостное утро все сияло, как новенькие монеты — только что отчеканенная валюта свежих впечатлений. Он чувствовал, как начали копошиться в голове слова, словно пробывшие в долгой спячке зверьки, наконец разбуженные запоздалой весной.

Слова, рожденные красотой зеленой бурливой реки и холмов, утыканных копьями кипарисов. Чтобы по-настоящему что-либо оценить, пейзаж, дом, пли время, в нем проведенное, — извлечь из них самую суть — надо взглянуть на них через призму расставания. Все вокруг было окрашено оттенком прощания, наполнено тенью ностальгии, столь важной для молодого художника.

Блэнфорд чувствовал, как в нем просыпаются соблазны родного языка, будто пробуют себя мускулы, затекшие после долгого бездействия. Как сохранить это ощущение счастья, столь восхитительно полное, и что с ним делать дальше? Приближаясь по неухоженным лужайкам к дремавшему дому, он на каждом шагу давил капельки росы, и сырость просачивалась в теннисные туфли. На циновке возле огорода сидела черная кошка — точно такая же, как в его первой детской книжке. Но самое удивительное ожидало его впереди; из-под сбившихся простыней, скрывавших тайну обнаженного тела Ливии, была видна лишь узенькая кисть с длинными, сонно поникшими пальцами — один был с желтым пятном от сигарет. Торопливо раздевшись, Блэнфорд улегся рядом со спящей, одурманенной наркотиками нимфой и, радуясь, что не разбудил

ее, стал всматриваться в тонкое выразительное лицо, на редкость обаятельное и отмеченное истинной гармонией.

Он пытался проникнуть взглядом внутрь, разгадать тайну колдовства, которое преобразило этот лик. Он сознавал, что видит не самое Ливию, а лишь собственное представление о ней — отражение его любви. Рядом с кроватью стояла маленькая коробочка с дешевым обручальным кольцом, которое он купил в Лунеле у старой еврейки, торговавшей в киоске лотерейными билетами и принимавшей ставки. Блэнфорд тихонько надел тоненький ободок на покорный пальчик и — вот сентиментальный дурак! — поцеловал его. Потом он взял ее, потому что она шепотом потребовала этого, хотя не открыла глаза и даже не шевельнулась; он сам разъял ее безвольное тело, послушное, как «манекен» на шарнирах, которым пользуются художники и портные.

Охваченные блаженством, они как будто плыли вместе по длинной реке, слившись воедино, плыли к далекому морю — к бездонному морю счастливого забытья. Чтобы ее не тревожить, Блэнфорд, взяв одеяло, выскользнул на балкон. Роса на каменных плитках почти высохла, и он,

свернувшись калачиком, сунул под голову влажное полотенце. От усталости он тотчас задремал, и целая галерея потрясающих видов Прованса раскрутилась в его памяти, словно гигантская бобина. Накопилось так много воспоминаний, что он решительно не представлял, что с ними делать. Услыхав шорох в комнате, Блэнфорд приподнялся на локте и заглянул внутрь. Ливия, еще не совсем проснувшаяся, сидела на кровати; но молодой человек не был готов к тому, что нечаянно подсмотрел… Она с ужасом и брезгливостью — Блэнфорд никогда еще не видел у нее такого лица — рассматривала свой окольцованный палец. С подобной гримасой смотрят на скорпиона, вдруг обнаруженного на лацкане пиджака. С ее губ сорвалось:

— Кто его просил? — и жестом, полным ярости и отвращения, она стащила с пальца кольцо и со всей силы швырнула его в угол.

Блэнфорд слышал сердитое звяканье, пока кольцо катилось по полу. Он весь похолодел: словно что-то умерло в душе, когда он увидел этот непроизвольный жест, означавший отказ… Он тоже уселся, не сводя с нее глаз. А Ливия, вздохнув, снова натянула на голову простыню и вскоре крепко заснула. Его кольцо! Размышляя

над этой загадочной сценой, Блэнфорд пересек просыпающийся сад и бросился в ледяную воду пруда с лилиями. Что это значит? Ливия вроде бы благосклонно отнеслась к робким намекам насчет брака. Ни разу не выказала она отвращения к возможному статусу «замужней дамы». Он вдруг увидел на берегу Ливию, приготовившуюся нырнуть.

— Что изменилось? — тихо спросил он с болью и страхом, сам не зная, почему так боится ее ответа.

— Я не готова к этому… Пока. И возможно, никогда не буду готова. Поживем, увидим.

Видимо, решив хоть как-то компенсировать свою обидную несговорчивость, Ливия, бросившись в воду, приблизилась к Блэнфорду и вплыла в его объятья, требуя ласк и поцелуев; ее тело мерцало, она была похожа на рыбку, попавшую в сеть. Мир был восстановлен — и все-таки Блэнфорда не оставляла щемящая грусть, сожаление о несостоявшейся душевной близости. Поэтому между ними пролегла незримая тень.

— Я все время скучала по тебе… и у цыган, и у Рикики, и у Феликса, и у Катрфажа…

Он улыбнулся в ответ, но потом вдруг очнулся, словно от толчка, и сказал себе: «Ей ничего не

стоит соврать». Позднее он пытался найти кольцо, но тщетно. Неужели Ливия все же взяла его? Выяснять он не стал.

Глава шестая
Возражения

Нагулявшись по извилистым тропкам памяти, совершив множество (как бы заключенных в скобки) лирических отступлений, мысли наконец-то угомонились, решив отдохнуть. После чего воцарилась долгая пауза, которая обоим писателям показалась бесконечной.

— Эй! Алло! — крикнул Сатклифф, чуть ли не с детским ужасом.

Призраки всегда паникуют, когда им не дают возможности как-то обозначить свое присутствие — когда они остаются не у дел, так сказать, — им кажется, что это грозит самому их существованию.

Ладно. Предположим, только на секунду, что Блэнфорд забыл и думать о *нем!* Что тогда? Тогда все, конец! Любопытно, что Блэнфорда мучили те же опасения, ведь он знал: как только призраки перестанут вносить свою лепту в копилку его памяти, отстанут от него, разлюбят, тогда все, конец. Был писатель, и нет его, его выключили, как лампу. Спросите у любого художника! Се-

кунду-другую Блэнфорд не мог вымолвить ни слова, занятый возникшей в его воображении картиной; он роняет старомодную трубку на подлокотник кресла и с холодной настойчивостью вглядывается в огонь, потому что там вдруг возникло лицо Констанс; но оно сливается с языками трепещущего пламени, и постепенно исчезает. На другом конце провода Сатклифф слышал неровное трудное дыхание.

— Ради Бога, — завопил он, — Обри, почему вы молчите?

Однако коллегу Сатклиффа внезапно настигло творческое бессилие: он не представлял, как втиснуть в несколько страничек эту лавину событий и океан впечатлений в тот короткий период, так грубо, так варварски оборванный грянувшей войной. Мелькнувший в огне образ Констанс вновь оживил прошлое, изумительно богатое, невероятно многообещающее… потом вдруг ничего не осталось, все кануло в черную ночь нацистской Европы. Так на чем они с Сатклиффом остановились? Ну да, война. Целый год прошел после того, как она была объявлена, но никто и не думал трогаться с места. Французы прятались за своими фортами, дивясь странному оцепенению, сковавшему всю Европу. Между

тем Париж и Лондон жили привычной жизнью — почта работала без перебоев, телефонные станции тоже работали нормально, и в небе не видно еще было самолетов-бомбардировщиков. Лишь несколько грязноватых аэростатов заграждения повисли над Темзой. Где-то в туманной аморфной глубине коллективного разума шла лихорадочная работа: он настраивался на изобретение оружия, способного помешать нападению немецкой армии, в которое никто почему-то не верил. В вялом оцепенении чувствовалась обреченность, прощание с роскошью мира, грустное прощание с великими столицами, которые, одна за другой, должны пасть жертвами рока. Прощайте, Париж и Рим, Афины и Мадрид… Так хотелось многим еще разок взглянуть на эти города, почувствовать их живой пульс, прежде чем он навсегда замрет. Но было слишком поздно, ведь война уже объявлена официально. Прошли месяцы, даже годы, прежде чем люди поняли, что война неотвратимо приближается, что тучи на горизонте сгущаются все сильнее. Многие как-то сживались с этим, поскольку знали, что ничего нельзя поделать.

Из того времени в памяти Блэнфорда сохранились какие-то крохи, незначительные эпизоды, словно вехи, определявшие главное направле-

ние ветра, смертельного ветра. Например, это: он одолжил Сэму денег на вечерний костюм, а его, то есть Сэма, в Провансе, в Ту-Герц, ждала Констанс, как всегда спокойная, улыбчивая, отзывчивая, искусно скрывавшая под этой маской свои чувства, всю их глубину. Не лучшее время для свадьбы, а они как раз к ней готовились. Он представил, как, войдя в комнату Сэма, Констанс с восторженным изумлением и одновременно явно стыдясь, изучала в зеркале его нелепый наряд. Нет, она не плакала. Однако Сэм дурашливо прижал ее голову к плечу и принялся хохотать, приговаривая:

— Если я не нравлюсь тебе в столь неотразимом виде, то черта с два ты меня когда-нибудь полюбишь.

Брюки сидели на нем отвратительно, жилет и того хуже. Но, слава богу, выручил Феликс, нашел в Авиньоне портного. У Сэма было всего несколько дней отпуска, а потом снова в Оксфорд и — шагом марш на фронт.

— Выходит, зря я боялся, что не смогу устроиться _ шутя, но не совсем, сказал он, — видите, какую замечательную нашел работенку, и денежную к тому же. И отличные перспективы, если проявишь боевое рвение.

Это было уже на платформе, когда они ждали парижский поезд. Блэнфорд, увидев, как Констанс резко отвернулась, чтобы никто не видел ее слез, начал нести всякую чушь, подтрунивать над Сэмом, чтобы и самому не разрыдаться. Мир рушился под их ногами, словно прогнивший плот. Какими же до боли наивными они были, какими прискорбно сдержанными.

Несмотря ни на что, люди свято верили в какие-то мифы, например, в то, что немцам никогда не одолеть «линию Мажино»,[137] как бы яростно их бомбардировщики ни изничтожали города. Или: если война начнется, пусть даже долгая, территория Франции останется нетронутой — в географическом понимании, стало быть, цивилизованная жизнь, или ее подобие, будет продолжаться, пока все не закончится. Знаменитая «линия Мажино» казалась французам столь же неодолимой, как Ла-Манш англичанам. В памяти людей еще сохранялись эпизоды войны 1914 года, противостояние на Сомме, и прочее, и прочее. Никому и в голову не приходило, что

[137] Примечания: 137

Линия Мажино — французская фортификационная система вдоль границы с Германией (от Швейцарии до Люксембурга), построена в 1929–1936 гг. под руководством военного министра Андре Мажино. В 1940 г. немецкие войска, перейдя границу Бельгии, обошли линию с флангов. *(Прим. ред.)*

дойдет до мобилизации, даже позднее, когда стало очевидно, что никакие компромиссы больше невозможны. А что дальше? Феликсу было предписано остаться в Авиньоне. Если грянет буря, он обязан помочь британским подданным эвакуироваться, а потом передать здание консульства швейцарцам. Вот тогда-то и выяснилось одно примечательное и замечательное обстоятельство. Трое из их компании — Хилари и обе его сестры — имели двойное гражданство, и выбрали, естественно, Швейцарию. Отец их, старый пройдоха, так устроил, что они все родились в Женеве. Однако Сэм и Блэнфорд никак не могли уклониться от службы, хотя Блэнфорд в принципе мог бы, сославшись на свои убеждения. Феликс предложил ему все необходимые в таких случаях документы, однако Блэнфорда терзали противоречивые чувства. Судьба евреев была уже ясна, но если проигнорировать *вообще* войну еще как-то можно, то эту — никак нельзя, слишком уж чудовищна цена. Пока же он пребывал в бездействии.

А потом, в разгаре этих метаний, отъезд в Париж, где с Ливией произошло нечто странное, будто ее околдовали, и это ее колдовство заканчивается дурацкой свадьбой, брачным союзом,

скрепленным ни разу не надетым обручальным кольцом. Потом сумбурная, неустроенная, будто студенческая, жизнь в четырнадцатом квартале. Ливия вечно куда-то спешила, вечно у нее был дела, хотя Блэнфорду никак не удавалось выяснить, какие именно… В любую погоду она бежала прочь из дома. Она разговаривала во сне и пила абсент в ужасающих количествах. Они снимали бедную и довольно обшарпанную квартирку, но в ней имелся стол, за которым он мог писать. Главная потребность Блэнфорда удовлетворялась сполна, правда, писал он в основном длинные письма. Все же в глухих джунглях своей души он уже различал шорох крадущихся зверей, подбиравшихся к нежной сердцевине его «я». Что же я наделал, думалось ему иногда. Это когда Ливия напивалась, и в ее смехе проскальзывала тайная издевка. Или когда он замечал на ее бледном лице незнакомое выражение ненависти, злобы или отвращения. Ему становилось страшно и грустно, он чувствовал, что от него ускользало что-то очень важное для нее — что их постоянно разделяет чья-то тень. Так они и жили. Ливия очень исхудала, стала совсем другой. Изящная, как у цикады, головка стала еще уже, в лице появилось что-то змеиное.

Потом резко ухудшилось здоровье его матери; Блэнфорда вызвали к ее одру; и он долго напряженно всматривался в когда-то родное лицо, неузнаваемо искореженное долгим недугом, и страшно было видеть эту уродливую маску, в которой до мелочей отражалась вся мука одиночества и отчаяния, терзавших страдалицу. Ей так нужно было сказать ему, что денег осталось мало, и что больше нельзя доверять Кейду, дворецкому. Этот наглец читал ее письма и совал нос во все дела и бумаги. Ее обуревало желание дать ему расчет, но так как дворецкий знал свое дело, был надежен в исполнении своих непосредственных обязанностей, она не решалась с ним расстаться. Ее ум был по-прежнему ясным и острым — она раскусила пройдоху Кейда, она все замечала и все понимала… Даже когда она окончательно впала в кому, Блэнфорд не верил, что она умрет. Вот и доктор говорил, что она может долго бороться, что у нее сильное сердце. Он не верил, но целый день просидел у ее постели, не выпуская из своих рук ее слабенькое запястье, чувствуя, как неровно бьется пульс, словно пойманный воробышек. В томительной тишине он вяло, но с каким-то тупым упорством думал о своем… о Ливии, о собственном будущем. Кое-какие деньги

ему оставит мать, дом в Лондоне, который можно сдавать в аренду. Еще небольшой фермерский дом недалеко от Каира, где не одно лето его отец с молчаливым упорством отлавливал бабочек и жучков. Собственно, дом — это громко сказано, лачуга, к тому же, практически без земли. Ну и пусть, какое-никакое оконце в другую страну… Еще одна проблема: если мама все-таки очнется, сказать ей про женитьбу на Ливии или не стоит? Его уже терзали предчувствия: похоже, он ввязался в нечто, грозившее ему бедой. Сидя в сером сумраке загородного дома, он мысленно сопоставлял ритм слабеющего пульса с тиканьем дедушкиных часов в холле, уныло размышляя о своем будущем. В каком-то смысле было даже неплохо отвлечься на войну — ведь все житейские проблемы в сравнении с ней ерунда, пока о них можно забыть. И все-таки ему не верилось, что война начнется, хотя всё говорило об этом; история развертывалась постепенно, примерно с такой же скоростью вязкая овсянка сползает с тарелки в раковину — невыносимо медленно! Все поступки, надежды, планы становились химерическими. Кстати, парижское безумие было весьма поучительным, и он понимал, насколько содержательными оказались уроки того недол-

гого периода, когда он жил в столице столиц, главном нервном узле европейской нервной системы. Он сделал там много ценных открытий: всеобщая свобода — это не вседозволенность, не обжорство, не эмоциональное насилие.

* * *

Старый город, который начинался за улицей Сен-Жак, провонявший мочой и протухшей стряпней, сохранил приметы старины. В этом Париже перебои с водой, женщины не бреют терпко воняющие подмышки, не помышляют о роскоши пенистой ванны. Летом во всех кафе царит запах потных подмышек, можно сойти с ума. И веет ветерок с реки, убаюкивает стихающий бархатный город, и можно всю ночь прогулять под звездным балдахином, достойным *grand opera*[138] — сверкающий блеск внеземного пространства над ярким горячем земным светом.

Верная себе, она назначила ему свидание (они собрались зарегистрироваться) у старого «Сфинкса» напротив вокзала Монпарнас, где респектабельный декор — под семейное кафе, куда

[138] Примечания: 138

Великой оперы *(фр.)*. Видимо, нарицательное от названия парижского театра «Гранд Опера».

забредают провинциалы поесть мороженого в ожидании поезда — скрывал очаровательный бордельчик с высокой галереей и несколькими, вполне пристойными чистенькими закутками. Всего лишь занавеска из бусин отделяла кафе от верхнего этажа. Но тогда в Париже еще существовала милая простота нравов, частенько девушки в одних ярких саронгах и с традиционными салфетками на согнутой руке, как у официантов («только чтобы никаких пятен на покрывалах»), выходили встретить друзей и даже сыграть в шашки с пожилыми клиентами, которых паром времени плавно переправил в возраст *impuissance*.[139] «Как было бы чудесно, — сказала тогда она, — если бы ты мог все это забрать с собой в продымленный Юстон». Он сообщил ей о матери, о том, что она умирает; что он уедет сразу же после церемонии регистрации, которую провел почти совсем оглохший консул, сделав соответствующую запись в соответствующей книге. Потом под неуместным и идеализированным портретом Веллингтона он предложил им традиционный бокал шампанского. Консул, милейший старик, то и дело с ужасом посматри-

[139] Примечания: 139
Бессилие *(фр.)*.

вал на обутые в сандалии, грязные ноги Ливии. Позже, гораздо позже, Блэнфорд спросил у нее, почему она явилась на церемонию бракосочетания в таком виде, она ответила презрительным смехом: «Подумаешь, церемония; но ты этого хотел, вот я и сделала тебе подарок».

И тот знаменательный (только для него) день, и еще много-много чего припомнилось Блэнфорду, пока он держал умирающую мать за руку — то одно, то другое впечатление, как сверкающая тропическая рыбка вдруг проносилось перед ним в мутном аквариуме его студенческой жизни. По другую сторону завесы отрочества был Париж, щедрый на сюрпризы, тот самый Париж, в котором все шлюхи начали учить немецкий. Преподаватели из Немецкого института были завалены заявлениями о приеме! Тот Париж, где никто не брил подмышки. В «Сфинксе», куда он забрел поиграть в *belote*[140] и выпить (с покорностью обреченного) ненавистный абсент, ему довелось познакомиться с очаровательной подругой его новоиспеченной супруги, невероятно красивой негритянки, которая улыбалась направо и налево и не могла не залезть в оказавшийся

[140] Примечания: 140
Белот *(фр.)* — карточная игра.

поблизости карман. Ливия находила ее «просто неотразимой» и так умилялась ее французскому языку, на котором говорят аборигены острова Мартиника, что Блэнфорду пришлось тоже восхищаться этой чертовкой. Забавно, что она-то брила подмышки, хотя уверяла, будто другие девушки не бреются специально — пучки волос под мышками возбуждают клиентов, то есть способствуют процветанию бизнеса. Блэнфорда изрядно пугали эти похабные откровения, хотя в общем-то они были довольно романтичными, а он как раз дочитал Пруста до середины, да и Франция в общем-то… и что же Франция? Нигде и никогда он еще не попадал в столь будоражащую атмосферу, заквашенную на свободе и предательстве, на любви и непристойности, на лихорадке и отчаянии. Столь бурная, насыщенная жизнь не оставляла сил для творчества и обрекала на молчание.

Но если на то пошло, то никогда еще он так не любил, какой бы смысл мы не вкладывали в слово «любовь». Любым другим видам транспорта они предпочитали сверкающие юркие такси, вспыхивавшие в лабиринте улиц, как метеориты. Стоило автомобилю съехать с гладкой щебенки на булыжники, как слившиеся в поцелуе

влюбленные на заднем сидении начинали подскакивать, словно их страсть благодаря *pavé*[141] делалась более неистовой. Безразличные к прославленным красотам привлекательнейшего из городов, они становились масонами, членами великого ордена парижских влюбленных, так же благоговейно, как «вольные каменщики», держась за руки. Они сидели, не разнимая рук, на Пон-дез-Ар,[142] молча льнули друг к другу в «Клозери де Лила» или шумном «Дом». Они тонули в потоках новых книг и идей. Чтобы удержаться на плаву, он читал и читал, сидя то в кафе, то в скверике. Это была эпоха ошарашивающих Гертруды Стайн, Пикассо и первых потрясших общественные устои литературных опытов американских гигантов, таких, как Фицджеральд и Миллер. Сам же Блэнфорд уже дозрел до того, чтобы понять: Европа стремительно приближается к концу «мочеполового периода» в литературе — более того, он распознал первые сигналы неминуемой импотенции. Вскоре секс как предмет искусства изживет себя. «Даже сам акт умирает, — позволил он заметить Сатклиффу, — и не за горами день,

[141] Примечания: 141
Мостовая *(фр.)*.

[142] Примечания: 142
Мост Искусств *(фр.)*.

когда он станет такой же обыденностью, как игра в бадминтон. Еще какое-то время кино, возможно, сохранит его в качестве символического знака — непроизвольного, как чиханье или икота — символическое насилие над равнодушной жертвой, жующей яблоко». Он добавил: «Будущее проще всего увидеть из Франции, поскольку французы все доводят до крайности, до абсурда. Грядет аудио-иудео-визуальная эпоха — эпоха Мутона Ротшильда с очевидным и повсеместным превосходством еврейского интеллекта, что, собственно, и объясняет зависть немцев».

…Они стояли ночью на пустом мосту и, притихшие, восхищенные, глядели на отражение небесного свода внизу.

— Когда-нибудь ты будешь меня презирать, — проговорила она, будто и не обращаясь к нему.

Единственная звезда мерцала над лимонной водой. Он сказал себе: «Она не создана для жалости, и другой уже никогда не будет». И вот он — ни то ни сё, писатель, наблюдающий с разрушенной башни своего мужского самолюбия за происходящим, платящий юностью за возможность подолгу молчать рядом со своей губительницей.

— Через два месяца я уеду, возможно, навсегда, — произнес он, сам в это не веря, как не верил

в будущую войну.

В Женеве на него бранился Сатклифф, подыскавший там себе на время работу учителя. «Засиделись вы на своей Фасге,[143] — говорил он, — но должен заметить, что Фасга на иврите означает «нужник во дворе». Именно там Моисей тихо, освобождаясь от бремени вины, сидел в позе роденовского Мыслителя и *думал.* Моими последними словами, когда я уходил из школы, были: «В школе больше не будет сокращенных рабочих дней, пока не прекратятся все эти тайные интриги и не придумают что-нибудь новое и действенное, скажем, отряд драгун для отстрела маронов».[144] Помолчав немного, он продолжал: «Однако после моего ухода из-за того скандала — так уж деликатен женский организм — в школе разразилась эпидемия свинки, главным образом, среди монахинь».

Несмотря на всяческие катаклизмы, Блэнфорд в ту пору много размышлял, ко всему присматривался, все запоминал, делал записи в студенче-

---

[143] Примечания: 143

Фасга — вершина горы, с которой Моисей по велению Господа смотрел на землю Галаад до самого Дана (Второзаконие 3; 27). *(Прим. ред.)*

[144] Примечания: 144

Марон — беглый негр.

ской *calepin.*[145] Ну, например: «Старики втайне молятся о войне, чтобы избавиться от молодых; молодые же провоцируют это бедствие, чтобы извести стариков. По иронии Судьбы, я неплохо устроился — наслаждаюсь роскошным статусом равнодушного наблюдателя».

Она принадлежала ему и все же не отдавалась ему целиком. Истина же, тоненькая, как пенка на молоке, была почти незаметна, тем более, что чувства и зрение были притуплены алкоголем, сигаретами и прочими, так сказать, «эмоциональными» наркотиками. Бреясь в ванной перед зеркалом, он осознавал, что всю жизнь лишь притворялся нормальным, а на самом деле он псих. Теперь, даже целуя ее, он не знал, на что настроить свой ум. Подслушать формирующую себя мысль или шепоток еще только проклевывающейся правды — вот каким двуличным стал его разум. Он начал писать книгу — но писалось, будто по наитию. Слова, точно сами собой, возникали на бумаге. Получалась затейливая виньетка из картинок сельской жизни — причем деревня была сугубо выморочной, в какой ему не приходилось никогда бывать. Получилось что-то

---

[145] Примечания: 145
Записная книжка *(фр.)*.

многословное и аморфное, и он уничтожил рукопись. И все же в его самоощущении происходили очень важные перемены — на мистическом уровне, как ни помпезно это звучит, учитывая постоянное вторжение «чувственного начала» во все его помыслы и сюжеты. (Своей писаниной он пытался разными способами, в разных тональностях, в разных темпах, сказать «я люблю тебя», просто чтобы представить ее реакцию: как она отзовется на этот вариант, на тот…). Но одно он уяснил окончательно: отныне, что бы он ни писал, это уже не развлечение, это вполне серьезно. Плохо будет получаться или хорошо, что-то безумное или вообще никакое… неважно, его творение будет отражать его собственный мир, на нем будут отпечатки его пальцев. В какой-то момент он даже решился изложить свои соображения Сатклиффу.

— Очередной роман, написанный на автопилоте, — громко простонал тот. А Блэнфорд, посмотревшись потом в зеркало, отметил некую странную напыщенность — щеки раздулись, будто от флюса. Ощущение собственной значимости кипело у него в душе, переливаясь через край…

Но вернемся к рассказу о том времени. Из-за тогдашнего страха перед нависшей угрозой войны,

они жадно впитывали все, что могла предложить мирная жизнь. Об этом пела Эдит Пиаф, походившая на покрытую трещинами тарелку, и этот ее голос подстреленной голубки. *«Mon coeur y bat!»*[146] На волне страха возникло новое кино — у которого благодаря звуку наконец-то теперь появился шанс избавиться от клейма «вторичное искусство». Из-за этого подспудного страха количество блюдечек, на которых подавали спиртное в «Дом», стремительно увеличивалось, пока посетители азартно обсуждали Шпенглера[147] и тринадцатый закон термодинамики… Господи! До чего же хорошо быть живым, но уже чувствовалось приближение агонии, и он ощущал то и другое гораздо острее не в медлительной английской размеренности, а в стремительном, лихорадочном ритме парижской жизни. Ему удалось заскочить в Оксфорд, чтобы повидаться с друзьями и забрать кое-какие вещи, однако Оксфорд показался ему чужим, замкнутым и

---

[146] Примечания: 146

Здесь: Мое сердце от этого бьется сильнее! (Строка из песни «Жизнь в розовом цвете»).

[147] Примечания: 147

Шпенглер, Освальд (1880–1936) — немецкий философ, теоретик культуры, представитель «философии жизни». Считал, что искусство выражает понимание живой спонтанной жизни и поэтому — выше «сухой» науки. *(Прим. ред.)*.

косноязычным.

— Премудрые теологи в профессорской устраивают тайные ритуальные пляски вокруг *filioque*[148] — откомментировал это Сатклифф. Сам же великий человек предпочитал заниматься йогой на берегу озера.

— Пошли, — властным тоном позвал он. — Поза змеи обостряет интуицию.

Блэнфорд ничем таким не увлекался. Его мозги слишком сильно пропитались алкоголем, а во рту он ощущал вкус ее губ — тех, которые между ног. Он был счастлив (хоть счастье отдавало горечью) под сенью сладостного блуда с этой пираткой, с этой райской птичкой.

— Я молод и красив, — сказал он Сатклиффу, — и могу долго не кончать. Мне хочется жить полной жизнью, пока я не превращусь в старикашку с синими, как в сыре, жилками, из-за проблем с сердцем…

Издатели, уверял он себя, наверняка передрались бы из-за его шедевра, какого мир еще не видел. А он писал и тотчас уничтожал напи-

---

[148] Примечания: 148

Филиокве — добавление к Символу веры (в 589 г.), смысл которого состоял в том, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Эта поправка стала одной из главных причин разногласий между православными и католиками. *(Прим. ред.)*

санное. В студии одного из его приятелей был большой рояль, на котором он время от времени практиковался. Блэнфорд играл Шуберта, пока она не начинала плакать, а потом не засылала младенческим сном, положив подбородок на «лапы», как персидская кошка, такая же податливая. Жалость к себе способствует выделению кислорода, но Ливия была слишком печальной для настоящей печали. Он начал писать мемуары Лишнего Человека, но получалось не очень хорошо. Он, как пеликан, все пытался утолить жажду кровью из собственной груди.

В казне звенят мешки монеток -
В копилке-хрюшке для подросших деток.
Ну а какие прибыли от страсти?
Боль. И тоска о *прогоревшем* счастье.

— Насколько я понимаю, вас потянуло на поэзию? — покровительственно поинтересовался Сатклифф. — Почему бы и нет? Перед отъездом из Англии я тоже все попробовал, даже сапфическую строфу, за которую никто не брался после

Кэмпиона.[149] Слушайте!

О, упоительный шелест рубашки твоей из лебяжьего пуха,
Внимал я ему, на крыльце обмирая, в Белгравии,
Охваченный пансексуальной истомой.

Естественно, ритмика была совсем не та, ничего общего с настроением в строфах Сафо, но какой смысл спорить с Сатклиффом? Ему, наверняка, было плохо и одиноко, наверное, еще и зуб болел. Блэнфорд взял аккорд, печальную тускловатую септиму, чтобы разбудить Ливию, но она не проснулась.

Рояль, наводящий глянец,
Словно блудливый кот;
В сладостном исступленьи
Он лижет свои отраженья
В лоснистых зеркальных боках.

Неожиданно в Париже объявилась Констанс, и, как ни странно, война сразу же обрела реальность — словно это Констанс ее объявила.

[149] Примечания: 149
Кэмпион, Томас (1567–1620) — английский поэт и музыкант. *(Прим. ред.)*

Заметно похудевшая, но ставшая гораздо спокойнее, Констанс сообщила о самом-самом важном для нее: в Вене она познакомилась с Фрейдом. Ей удалось побывать на конгрессе психиатров, где гений председательствовал, они нашли общий язык. Потом случились и другие встречи, в общем, она стала преданной ученицей старика, которого искренне считала самым выдающимся мыслителем в Европе.

— Погоди! Помолчи хоть минутку! — не выдержал Блэнфорд, изумленный столь категоричным тоном и столь благоговейным обожанием.

Естественно, она рассмеялась, поняв, что он ничем не лучше нынешних так называемых интеллектуалов и ничего не смыслит в провидческих идеях старого профессора. Как же объяснить? Взяв его за плечи, она принялась ласково увещевать:

— Ты понимаешь, что теперь уже никто не сможет написать «Гамлета»?

Он не понимал, ему не было дела ни до чего, кроме пляшущих искорок в ярко-синих глазах и ярко вспыхнувших щек. Это когда она заявила, что вечером у нее свидание с Сэмом, тайное, и они собираются пожениться. Пока не началась война.

— Скорее всего война затянется надолго, возможно, на несколько лет, — сказала она. — Им не прорваться через линию Мажино, а у нас не хватит сил их прогнать. Будут бесконечные бомбежки и очень мало еды, в общем, тупик. Да, на это все уже настроены, потому и живут как-то… топчась на одном месте. Однако Констанс припасла еще одну новость, от которой радость на ее лице мгновенно померкла. — Где Ливия? — спросила она, почти со злостью.

Откуда ему было знать? Разве кто-то в состоянии уследить за ее блужданиями? Иногда, уже совсем отчаявшись, он оставлял ей записки на доске в кафе «Дом», поскольку она время от времени туда заглядывала.

Опустив голову, Констанс долго молчала; но в конце концов все-таки решилась:

— …Ладно, скажу. В Вене я видела кинохронику… какое-то большое нацистское сборище в Баварии… и там была она, в самом центре событий, в немецкой форме.

Блэнфорд даже подскочил на стуле и лишился дара речи. Что это значит?

— Ты уверена? — еле выдавил он из себя.

Констанс кивнула.

— Еще бы не уверена. Ее показывали секунд

десять, не меньше, она пела, рука вскинута вверх — это их приветствие. И лицо совершенно безумное. Я даже испугалась за нее.

Блэнфорд не знал, что сказать, он умирал от стыда.

— Она ничего мне не говорила, — вот и все, что он сумел придумать в свое оправдание.

Но даже на этом последнем этапе они не могли в полной мере представить, насколько кошмарна трагедия, которая медленно, но верно настигала Германию. Доступа к информации — никакого. Сплошь лживая пропаганда и строжайшая цензура, в те времена это было внове… Они с Констанс прошлись немного по Люксембургскому саду, почти не разговаривая, стараясь представить, что их ждет в будущем. Перспективы были весьма туманными, надежды стать на ноги, как-то определиться, потеряли смысл. Определиться… для чего? Правда, Констанс все-таки сумела найти себя. Она устроилась на работу в Красный Крест и со своим швейцарским паспортом надеялась быть полезной, когда начнутся трудные времена. Сэм через две недели должен был явиться в свою воинскую часть. Поэтому сегодня вечером, после регистрации, они сядут в старый поезд на Лионском вокзале и поедут в Ту-Герц, чтобы провести

там свой короткий медовый месяц.

— Почему бы и тебе не съездить туда на несколько дней? — спросила Констанс. — Хилари не может, он все еще в Шотландской семинарии.

Однако Блэнфорд понимал, что в Ту-Герц ему ехать нельзя. Потом они тепло попрощались, и его слегка кольнуло сожаление, словно он опасался, что их дружба прекратится, что она жива пока лишь из-за его женитьбы на Ливии. Каким он все-таки был глупцом. Прежняя привычная стабильность таяла и превращалась в нечто иное, в нечто жидкое, как лимфа. И среди всех этих метаморфоз сверкали, словно драгоценные камни, воспоминания о Провансе, подарившем ему изобилие впечатлений. Милые сердцу картины не оставляли его, ему то и дело снился старый дом, укрывшийся среди высоких деревьев, тамошняя тишина, оркестрованная лишь ветром да плеском бегущего через сад ручья.

Уходя, она вдруг спросила, не скрывая мучивших ее чувств:

— По-твоему, я поступаю неправильно? Не хотелось бы причинить Сэму боль.

Он помотал головой, но ее слова поразили его. Она знала, что поступает *неправильно,* иначе не стала бы спрашивать, значит, в глубине души

она все понимает. Ему стало стыдно из-за охватившей его внезапной радости, как только он осознал ее. Он чувствовал, что это ужасно, что это непростительно. Надо исправляться, а для начата он поищет для нее в Лондоне какой-нибудь экстравагантный подарок…

Кремация — чистый, лишенный надрыва, способ прощания, причем не только с умершим человеком, но и с собственными мыслями о смерти, а также со страхами и опасениями, которые они порождают. Все уже промокло под дождем, под ласковым синим дождем, который окутал нежным перламутровым флером окна старого респектабельного «Даймлера», нанятого для Блэнфорда и Кейда. Кроме них, никто не провожал ее в последний путь. Маленький гроб был очень легким и слегка подпрыгивал на катафалке. Цветов он заказал очень много, потому что знал, как сильно она любила цветы. Непрошеная параллель все же мелькнула у него в голове, когда он выписывал чек: «А вот меня никогда не любили — ни законной, ни беззаконной любовью». Он ощутил страшную опустошенность, истощение, будто все сгорело внутри — никаких чувств, он нищий, и это пепелище в его душе якобы могли заслонить литература и искусство. Возможно, в

будущем, в зрелом возрасте… конечно, однако доживет ли он до этого самого возраста? Война на носу. Поддавшись неожиданной прихоти, он купил новенький автомобиль и оплатил уроки вождения. Договор с Кейдом он продлил еще на год, но предложил ему долгий отпуск, чтобы тот мог навестить родных на севере. Отучившись на курсах вождения, он поедет в Прованс и будет ждать, как все пойдет дальше.

Нет мрачнее места, чем крематорий, однако этот крематорий выглядел до странности легкомысленным и, честное слово, больше походил на казино где-нибудь в Южной Италии. Над главным зданием вздымался вверх плюмаж дыма, но дождь сбивал его, и дым стелился над забетонированными площадками, окружавшими это место. Целые участки здесь были заняты устроенными с большим вкусом цветниками с бледно-желтыми нарциссами и прочими мемориальными изысками в духе Вордсворта. Оказалось, что они приехали слишком рано, так как покойников было довольно много. Пришлось ждать, заодно им выпала возможность помолиться, так как зал ожидания был устроен в часовне. Часовня, стилизованная под деревенскую церковь, производила удручающее впечатление: леденящим

бездушием и инфернальным уродством. Алтарь со святыми на дешевых витражах был очень темным, потому что на них не попадал свет — из-за построенной рядом уродливой воскресной школы. В углу стояла прислоненная к стене доска. Блэнфорд, когда-то игравший в крикет, сразу же узнал табло, какие все школы покупают для своих крикетных полей. Вместо счета на нем были аккуратно, печатными буквами, выведены фамилии — по порядку. Впереди в очереди были еще трое — миссис Хамбл, миссис Годбоун и миссис Лэмб — после них значилась Эвелин Блэнфорд. Надо ждать своей очереди? Кейд молился с нарочитой важностью — главный похоронный статист изображал полагающуюся скорбь. В старом потертом цилиндре и выцветшем фраке, диккенсовский типаж, карикатура на самодовлеющую респектабельность. Грязные обтрепанные манжеты этот фигляр довольно смело обкорнал маникюрными ножницами. Он задыхался от астмы и фальшивого благоговения. Блэнфорд закрыл глаза и тяжело вздохнул, моля Бога, чтобы все поскорее закончилось. Удивительно, как глубоко его потрясла смерть матери, он даже не представлял, что накатит волна столь невыносимой печали, что он так остро почувствует одиночество.

Крепкий молодой священник с румяной физиономией вел себя несколько суетливо, словно хотел поскорее разделаться со всем этим. Он был весь в себе и казался совершенно недосягаемым; можно было подумать, что он провожает в последний путь язычников с острова Борнео, кровожадных охотников за головами, а не добропорядочных матрон из нежно любимого Фоукстоуна. Блэнфорда раздражало бесцеремонность этого гордеца и легкий налет кокни в его произношении, отчего Священное Писание звучало, как реклама кормов компании «Глаксо». Наконец-то церемония подошла к концу, и тут Блэнфорд вдруг осознал, что на его глазах гроб с телом матери понемногу уходит вниз, то есть совершается постепенный переход гроба в камеру для сжигания. Священник, как оказалось, был виртуозом в своем деле — последнее произнесенное им слово совпало с приглушенным щелчком закрывшихся дверей после того, как фоб встал на рельсы подземной дороги. Оттуда донеслось негромкое жужжание. Скрипнуло железо. Потом надолго воцарилась тишина, прерванная одним из участников церемонии:

— Сэр, вы, наверно, хотите получить урну?

— Конечно, — твердо произнес Кейд. — *Две*

урны!

Спросивший на цыпочках отошел, молвив:

— Подождите в машине.

Священник протянул для пожатия бледную, словно жирный бекон, руку и удалился. Всё. Блэнфорд не помнил себя от облегчения и муки. Но молчал — ни дать ни взять настоящий отшельник.

Ждали они на улице, и довольно скоро появился мужчина, похожий на церковного сторожа, держа в руках две нелепые бонбоньерки величиной с пасхальное яйцо, которые он с искренним сочувствием протянул Блэнфорду. Кейд чуть не вырвал у него из рук одну из бонбоньерок и, к удивлению Блэнфорда, просиял от удовольствия, словно получил долгожданный подарок. Однако перехватив скептический взгляд хозяина, он принял свой обычный, не располагающий к общению вид. Сидя на заднем сидении «Даймлера» с урной на коленях, Блэнфорд чувствовал себя дурак-дураком и постарался побыстрее избавиться от нее, поставив на каминную полку. Зола к золе, прах к праху. Ибо прах ты, и в прах возвратишься…

Он прекрасно понимал, что бездна разверзлась под его ногами — и отделила прошлое от

будущего. Уже искушала обретенная свобода, ведь если его запросы будут скромными в соответствии с размером полученного наследства, то ему не придется подыскивать себе службу. Жизнь, состоящая из недорогих путешествий и копания в себе, замаячила было на горизонте… но как быть с Ливией? Да и воина. Бикфордов шнур уже тлеет, и взрыв неотвратим. Блэнфорд выбрал скромный отельчик и стал совершать долгие прогулки под дождем, довольно часто оказываясь возле ворот той школы, где много месяцев спустя Сатклифф будет учить отроковиц музыке. Однажды он даже вошел во двор и заглянул в часовню, которой в будущем было суждено отражать голос великого человека. На белых скалах, облюбованных чайками, сипящими, как больные котята, он чувствовал, как (прощание?) дождь льется с козырька кепки, с плеч пальто. Неужели всем нам уготована одна смерть, или каждая смерть соответствует… валентность, короче говоря, только вместо атомов люди… той жизни, которую она замещает? Неожиданно ему вспомнилось помрачневшее напряженное лицо Катрфажа и его слова: «Я верю Элифасу Леви,[150]

[150] Примечания: 150

Элифас Леви Захед (аббат Альфонс Луи Констанс, 1810–1875) — известный маг, автор оккультных теорий.

он прав: Дьявол — следствие краха Бога. Если, ступив на путь святости, не доходишь до цели, то неизбежно становишься демоном».

…Вдруг перед его мысленным взором возник Ту-Герц, видение даже трепетало от его нестерпимого желания оказаться там. До чего же быстро промелькнуло лето! Нет, надо все-таки попытаться туда уехать. Засесть в уединенной деревушке Тюбэн и ждать. Если призовут, оно и к лучшему. (Он все еще был уверен, что повторится война 1914 года, примерно такая же.) Правильно, надо ехать прямо на этой неделе, но прежде выяснить, что об этом Думает Ливия — может, тоже поедет? Если они в самом деле собираются вести нормальную семейную жизнь, то лучше места не найти. Из окна спальни, которое выходило на игровую площадку местной школы, он наблюдал за выбегавшими на переменах мальчиками. Поразительно, насколько неизменны атрибуты школьной жизни. Они тоже покупали банку сгущенки и проделывали в ней дырку — разумеется, сладкой сгущенки. А потом весь день по очереди высасывали ее из банки, как обезьянки. Все еще продавались старые викторианские сладости — например, шербет Дэб, ешь и воображаешь, что ты в постели с царицей Савской.

Но он довольно дорого стоил. Многие покупали апельсины, запихивали в середку кусок колотого сахара, и сквозь него высасывали сок. Тоже очень вкусно. Но самым волшебным был круглый леденец Гоб-Стоппер — размером почти с мячик для гольфа, менявший цвет по мере того, как с него слизывали слой за слоем… Блэнфорду казалось, будто его школьные годы миновали очень давно, будто прошло лет пятьдесят. Он частенько стоял возле окна, о чем-то размышляя, до сумерек, потом до темноты, пока, наконец, «во всем своем величии», как говорят астрологи, не поднималась луна, напоминая ему, что размышления о мировых проблемах ничего не значат для враждебной вселенной. И даже война ничего не значит? Ничего. Тогда остается лишь писать невидимыми чернилами стихи и посылать их самому себе. Неужели он *приговорен* судьбой к тому, чтобы стать писателем? Все обстоятельства как нарочно подталкивали его к этому.

Как жадно зеркала пьют наше отраженье,
Лакают кровь души, изглоданной сомненьем,
Как лакомы они до человечьей сути,

Во всей ее красе и жути…
Двойник мой, в омуте зеркальном
Ты не утонешь, ты останешься со мной
—
Насмешницы судьбы свидетельством печальным.
Как жаждет ум мой крови сладкой и хмельной!

Не самое плохое описание нарциссизма в острой форме, необходимого, чтобы стать поэтом. Ему страстно хотелось на юг, в желанный Прованс, однако чиновники задержали его еще на неделю. Было как-то непривычно иметь счет в банке и даже выписывать иногда довольно солидные чеки. Прежде его содержание было весьма скромным, приходилось во всем себя урезывать. Первым делом он купил кое-что из вещей — самое необходимое. И тут его обуяла подлая жадность, отчего несколько дней кряду он заказывал в пабе дешевенький ланч, давясь яйцами по-шотландски и прочей тяжелой пищей. Лондон он уже застал другим. Здесь явно ощущалось напряжение. Он встретился с однокурсниками, успевшими обрядиться в мундиры и обсуждавшими военные назначения за границу. Сирены воздушной тревоги вовсю готовились к работе.

В газетах стрелками отмечались гипотетические фронты. Ежедневные издания регулярно вопрошали: «Где поэты, воспевающие воинов?» Министерство пропаганды взялось за создание таковых, несмотря на очевидные трудности, ведь для пущей эффективности этим певцам войны очень не мешало бы погибнуть, а это пока было невозможно. По крайней мере, так казалось.

А что творилось в Австрии! Бомбы, парады, добровольный комендантский час, который от страха ввели сами граждане, сидя вечером дома, банды одетых в форму головорезов, шатающихся по ночным улицам, неужели всё шло к тому, чего все боялись? В Лондоне левые поэты объявили Платона фашистом, а его мудрые мысли использовал в своих выступлениях Гитлер. Новые Сиракузы. У Блэнфорда не было знакомых литераторов, разве что несколько университетских преподавателей. Он потихоньку примерялся к профессии историка и, не считая нескольких спонтанных увлечений кое-какими поэтами, почти не интересовался так называемыми литературными ценностями. Собственно, никаких особо интересных событий в литературе не происходило. Все еще было модно нападать

на Лоренса,[151] дома же «серьезный критик» с пристрастием выяснял, гений Уолпол[152] или все-таки не совсем. Австрия совсем другое дело — там все бурлило!

...И это бесконечно занимало Сатклиффа, ибо он торчал в Вене, надеясь, что лечение Пиа даст «конкретные результаты» — ну и клише! Он ждал, когда она «придет в себя» — еще одно клише! Вообще новая наука представляла собой клубок перекрестных ссылок (нечто вроде ощетинившегося ежика), в которую можно было только верить — не вникая. Большую часть времени он проводил в угловой кондитерской, на площади у бог знает какой штрассе, «между так называемым Крысиным домом и конторой, где регистрируют иностранных рабочих». Немецкого он не знал, поэтому жил, будто в густом тумане постоянной неуверенности в себе. Он ждал свою возлюбленную, с устрашающей скоростью поглощая в немыслимых количествах конфеты, слойки и пироги, которыми была знаменита сто-

[151] Примечания: 151

Лоренс, Дейвид Герберт (1885–1930) — английский писатель, автор скандально известного романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928), запрещенного в Англии (до 1960 г.).

[152] Примечания: 152

Уолпол, Хорас — английский романист, основоположник «готического романа» (так называемого «романа ужасов»).

лица, и чувствуя, как все сильнее покрывается аллергической сыпью с каждой новой порцией сладкого. Они жили в маленьком номере, куда возвращались каждый вечер в напряженном, вибрирующем молчании. Съедали по сэндвичу, кофе он варил в туалете. Потом сразу же ложились спать. Она поворачивалась спиной к жутким обоям с рисуночком в народном стиле, она часто вздыхала и вся дрожала, и всю ночь разговаривала во сне. Они больше не общались; все, что они могли сказать друг другу, неизбежно отозвалось бы общей болью, и тогда весьма скудные шансы на успех «лечения» были бы загублены. Они были на грани войны и весьма к тому же дорогостоящей. Блэнфорд, тронутый бедственным положением Сатклиффа, выслал чек на довольно крупную сумму, который тотчас пришлось отдать врачам. Роб сделал курьезное открытие. Все парикмахеры в столице были женщины — никаких бойких фигаро. В черных платьях с белыми плиссированными воротничками и манжетами, они в любое время суток могли поправить вам прическу. Это было теперь его единственной отрадой: сначала расслабляющие прикосновения милых девичьих пальчиков, а потом бодрящее пощипывание одеколона, ароматное облачко во-

круг головы походило на нимб. В тесном кружке пациентов-невротиков и перепуганных еврейских интеллектуалов, которые уже предвидели конец света, завязались кое-какие дружеские отношения, среди новых друзей безусловно самой замечательной персоной была экстравагантная полнотелая *славянка,* которой непостижимым образом удавалось выглядеть одновременно весьма сексуальной и потрясающе безмятежной. Она была писательницей и с недавних пор ученицей Фрейда. Славянка рассказывала о поэтах, еще неизвестных, например, о Рильке, и даже о Ницше, с которым якобы была знакома, — из-за этого они втайне над ней посмеивались. Тем не менее, обоим эта чудачка очень нравилась, она искренне полюбила бедняжку Пиа.

* * *

Стоя на свежем весеннем ветру, — пронизывающем, несмотря на то, что лето было уже не так далеко — Блэнфорд смотрел, как купленный им автомобиль завис на минуту над берегом в воздухе Дувра, а потом плюхнулся на палубу судна, на котором он, то есть Блэнфорд, собирался переплывать пролив. Новая машина казалась такой хрупкой: словно мотор ее состоял из фарфоровых

деталей, державшихся на женских шпильках. Он очень переживал, как бы не повредили что-нибудь при погрузке, однако — на другом берегу — мотор работал совсем неплохо, и в сгущающихся сумерках Блэнфорд, не без благоговения взявшись за руль, осторожно покатил в сторону Парижа — не по той полосе. Все говорили, что он скоро привыкнет, и действительно, въезжая в столицу, он уже чувствовал себя как дома в своем новом приобретении. О Ливии он старался не думать, не в силах оправиться от шока, вызванного сообщением Констанс, и к тому же он боялся, что, потребовав объяснений, спровоцирует разрыв. Была и еще одна причина того, что он гнал прочь мысли о ней, — его на самом деле глубоко ранила ее скрытность, будто он ей никто — постепенно это могло разрушить чары его мучительной привязанности к ней.

Как ни странно, он успокоился, обнаружив, что квартира пуста — так ему сперва показалось. Ибо, убедившись после внимательного осмотра, что нет ни сигаретных окурков, ни журналов, и стало быть, Ливии тоже наверняка нет, он сообразил, что в ванной все же кто-то есть. Ему послышался лязг металла, потом журчание убегавшей в раковину воды. Над дверью в окошке

был виден свет. Снова всколыхнулась в душе ярость пополам с печалью, он негромко постучал и, повернув ручку, обнаружил, что дверь не заперта. Стоявшая перед большим зеркалом совершенно голая девица обернулась и уставилась на него храбрым и непроницаемым взглядом. Нет, оба эпитета неправильные она смотрела на него с равнодушным спокойствием, скажем так, звериным. Как будто он прервал гигиенические процедуры наглой кошки. Девушка только что закончила брить подмышки безопасной бритвой — его бритвой. Она вымыла их губкой и теперь вытирала, похлопывая, скрученным полотенцем. Итак, она стояла в ванной комнате, и у нее было потрясающее бронзовое лицо с потрясающими бровями, как у статуй на острове Пасхи. Взгляд ее был спокойным и весьма дружелюбным. В глазах сиял живой свет тропических островов, где всякую мысль, посмевшую возникнуть, тут же убаюкивало солнечное тепло.

— Она ушла утром, — хрипло проговорила девушка с Мартиники, откинув назад свою красивую головку, чтобы освободить плечи от черных волос. — Только что.

Ее французский был «просто убийственным»; и в своей атласной наготе она была так изуми-

тельно прекрасна и так изумительно сильна… Атлетическая фигура, невольно вспоминались метательница диска или амазонка с дротиком. Однако перед ним была не воинственная амазонка, а вполне дружелюбное создание, чье единственное намерение — доставить радость.

Перед ним стояла настоящая профессионалка, и влекущей языческой негой сияли ее глаза. Ласковым, слегка нерешительным движением, она изогнулась, приблизив к нему маленькие груди, подперев их ладонями, чтобы ему было проще добраться до сосков. «Возьми меня, — говорили эти груди. — Я — антилопа. Я — мускатная дыня. Я — горячая пряная островитянка». Он вскинул руку, возможно даже чтобы ударить, но она не шелохнулась, она как будто этого хотела — наверно, в качестве искупления; и его рука, замерев на миг, опустилась. Он застыл, прислушиваясь к тиканью в голове — но нет, это тикали его часы. Женщина сказала:

— С ней все кончено. *Fini. Elle a dit à moil.*[153]

Она похлопала себя по груди, вытянув и без того длинную шею, и лицо ее стало гордым, словно у какой-нибудь полинезийской королевы. Да,

---

[153] Примечания: 153
Конец. Она сказала мне *(искаж. фр.).*

действительно кончено. Он вдруг ясно осознал это, и спросил себя, какая из двух причин важнее. Сексуальное предательство или то, что он увидел, как она роется в его письмах? Все-таки человеческая психика странно устроена. Тот эпизод с письмами ранил его не меньше, чем любовная измена. У него были старомодные представления о браке и об отношении к чужим письмам. Сказывалось английское воспитание.

— Тебе ничего не говорить? — спросила женщина, и он в ответ кивнул, а потом долго смотрел на нее в упор, пока не защипало глаза от непрошеных слез. Ему стало стыдно…

Она, в порыве сочувствия, подошла еще ближе, и он спешно потянулся к карману брюк за носовым платком, но рука его наткнулась на черный резиновый пенис, все еще прикрепленный к ее лобку черной сеточкой, концы которой были завязаны над ягодицами. Он неловко обхватил его пальцами. Вокруг головки пениса были металлические хомутики, несомненно, добавленные ради большей остроты наслаждения. До чего странное приспособление, и какое грубое в сравнении с нежным чувствительным органом, который это жалкое орудие заменяет. Девушка ткнулась в него искусственным членом и рассмеялась. Потом,

заведя руки за спину, отвязала его жестом воина, снимающего меч, и позволила ему брякнуться на пол — нелепый символ совокупления их взглядов и мыслей. Развернувшись на каблуках, Блэнфорд снова направился в маленькую гостиную, где был немыслимый беспорядок. В спешке он не обратил внимания на запачканные губной помадой полотенца, на клочья оберточной бумаги — приметы спешных сборов перед внезапным отъездом. В открытую дверь была видна неубранная кровать, рядом с ней на полу пачка старых газет. Он почти не мог дышать от боли, лихорадочно обдумывая происшедшее, и вдруг ощутил, как боль утихает, рассасывается, смешиваясь со злостью и чувством облегчения. Но где же прощальное письмо, которое она наверняка оставила? Темнокожая красавица, видимо, почуяла его замешательство и, сразу угадав причину, подошла к шкафу и открыла дверцу. Письмо лежало на полке с его чистыми рубашками. Очень лаконичное и деловое письмо. Она отправляется в Германию и, если, конечно, повезет, никогда не вернется. Им надо развестись.

Это был крах, самый настоящий. Однако Блэнфорду показалось, что вдруг пахнуло свежестью — свежим ветром свободы, этот ветер избавил его

от спертого воздуха, в котором он жил последние несколько недель, избавил от всех сомнений, душивших его, он только теперь это понял. И потому даже ощутил укол раскаяния, увидев, что темнокожая его подружка надевает чистое платье и явно готова сопровождать его куда-нибудь, где есть утешительная выпивка. Алкоголь прогонит печаль и добавит еще немного свободы, и он увидит мир таким, каков он есть — во всей его нелепости. Новый мир нарождался из грязи, накопленной историей — будет ли он так уж сильно отличаться от старого мира?

Знайте, юные повесы:
Ник чему любви — протезы.
Отныне славные милашки
Пусть чаще раздвигают ляжки.
Пусть станут поцелуи крепче -
Их жар тоску твою излечит.
И все, что ты считал напрасным,
Опять покажется прекрасным.

«Сфинкс» встретил его светом и радушием всех, с кем он познакомился, когда был тут в последний раз. Девушка с Мартиники исчезла, видимо, пошла подмываться, так-так… вершить святой обряд омовенья, брегам людским да-

руя утешенье,[154] — давненько не было случая вспомнить Китса — предоставив ему возможность молча копаться в собственных записных книжках. Книжки эти уже тогда были поражены грибком афоризмов, в обрывках прозы и стихов. Он прислушивался к смеху и грубоватым шуткам, с наслаждением вдыхал дым сигар и ирландских сигарет. Подходили поздороваться приятели-студенты с Юга, у которых был мягкий выговор, столь не похожий на резкое попугаичье лопотанье парижан. *Didonk mon gar comment sava* — его уши транслитерировали услышанное и передали не слишком расторопному восприятию. В сущности, французским он владел неплохо, вот только реакция была несколько замедленной. Надо было бы ответить: *Sava très mâle* — с циркумфлексом.[155] Однако он был слишком расстроен, чтобы порадоваться своему тонкому остроумию. Ясно было одно: нужно хорошенько напиться, как полагается претерпевшему предательство англосаксу. Потом придется разгромить

---

[154] Примечания: 154

Измененная цитата из стихотворения Джона Китса «К. Звезде», 1819 г. *(пер. В. Левина).*

[155] Примечания: 155

Диакретический знак над гласной, во французском языке показывающий удлинение звука. В данном случае — mal (зло), male (самец).

бар, после чего его, натурально, выставят вон и отправят на ночь в участок. Там, мучаясь бессонницей, он подумает о самоубийстве, что будет настоящим анахронизмом, так как вся Европа двигалась в этом направлении. Слишком претенциозно — покончить с собой в одиночку. Даже если использовать болиголов, кастрирующий любовь. Да что он о себе возомнил? Тоже Сократ нашелся![156] Снуя то вверх, то вниз по лестнице со своими клиентами, темнокожая девушка улучала миг, чтобы погладить его по плечу или по волосам. Неужели она хотела его завести? В ответ на ее ласку он еще ниже склонялся над записной книжкой.

Неизбежный абсент не столько зажигал кровь, сколько усмирял волнение, действовал как успокоительное; далее наступала фаза мрачного уныния, но прежде чем впасть в каталептическое забвение, человек начинал бешено веселиться, и это уже напоминало эпилептический припадок, пляску Святого Витта. Под парами абсента весельчак таскал посетителей за бороды или танцевал со стулом, изображал знаменитых

[156] Примечания: 156

Сократ, привлеченный к суду «за неблагочестие», был приговорен к смерти через отравление. Он выпил чашу с цикутой и скончался через несколько минут. *(Прим. ред.)*

чревовещателей. Приезжала полиция. До сих пор Блэнфорд не решался выпить больше двух бокалов коварного напитка молочно-зеленоватого цвета. Но и двух хватило для первой стадии: все тело уже слегка онемело. Его желания стали несколько громоздкими, наливаясь гнетущим влечением. Он оглянулся на длинную стойку бара, за которой сидели терпеливые и зоркие клиенты, потягивавшие коктейли — выжидая, когда почти голые девушки зажгут в их жилах огонь. Торговля шла очень бойко. В кафе за занавеской из бусин царапающая душу музыка полыхала, будто солома — да будет *la vie* всегда *en rose*.[157] Когда она, в очередной раз проходя мимо, положила ладонь Блэнфорду на голову, он был уже настолько пропитан болиголовом, что дерзко нащупал развилку между бедрами, а потом добрался и до влажного источника юности под саронгом.[158] *«Viens, shéri»*[159] — прошептала

---

[157] Примечания: 157

Жизнь… в розовом цвете *(фр.)*. Песня Эдит Пиаф.

[158] Примечания: 158

Кусок хлопчатобумажной ткани или батика, обернутый вокруг бедер наподобие длинной юбки.

[159] Примечания: 159

Иди ко мне, милый *(искаж. фр.)*.

она. Застегнув *serviette*,[160] чтобы уберечь драгоценные записные книжки, он, пошатываясь, встал и послушно побрел за ней. Точно резвая ласточка она подлетела к креслу, в котором восседала Мадам в пышном парике, похожая на свергнутую императрицу, — эдакий десерт из мороженого столетней давности — и тщательно следила за своими лошадками. Девушка взяла *jeton*, Мадам вручила ей свежее полотенце, которое та, точно официант, повесила на согнутую руку. Они довольно удачно одолели лестницу и оказались в маленькой кабинке, по-больничному белой, где имелись только кровать, украшенная чудовищным пуховым стеганым одеялом, и биде, над которым висело распятие.

Благословенный спазм не утолил его и даже не ослабил чувство сексуального голода, которое должен был ослабить. Теперь он понял (не без отвращения), что это был акт неудавшегося возмездия. Однако кожа ее была глянцевой, как листья плюща, дыхание — свежим, как новенький кокон, так что не ему гневить судьбу, тем более после второго стаканчика болиголова. Позже он обнаружил, что ей удалось украдкой

---

[160] Примечания: 160
Портфель *(фр.)*.

опустошить его бумажник; к счастью, он был хитрым, как все рантье, и предвидел нечто подобное, так что две трети своих *fric* засунул в задний карман брошенных в изножий кровати брюк, которые не выпускал из поля зрения. Чудненько. Оставалось лишь подцепить родной триппер, и все, можно будет считать, что загул удался на все сто процентов. Рядом лежал черный аспид, искусительница змея, тихонько дыша, ожидая, когда он восстановит свои силы, и осторожно его лаская, на всякий случай: вдруг *manivelle*[161] снова сработает. Словно взывая к его мужской силе, она пару раз поцеловала его — оставив крошечные *suçons*[162] — в плечо и шею. Хейхо! Так вот, значит, какова творческая жизнь столицы, если смотреть с изнаночной стороны? Он чувствовал себя в некотором роде посвященным, хотя его разум все еще продолжал флиртовать со злостью и печалью.

Возникла новая проблема — его сильно шатало, что было ему непривычно. Когда же он стал спускаться по лестнице, его вдруг ослепили странные вспышки, и ему казалось, будто он

---

[161] Примечания: 161
Рычаг *(фр.)*.

[162] Примечания: 162
Засосы *(фр.)*.

падает назад в призму желтого света. Раздраженный и немного напуганный — поскольку голова была совершенно ясной, только ноги не желали слушаться ни законов тяготения, ни приказов разума, — он вцепился в перила, чтобы быстрее одолеть ступеньки. Хотя он точно ничего не заказывал, на его столике появился еще один стаканчик болиголова — пришлось выпить, потому что отказываться было как-то неудобно. В зеркалах мельтешили разнообразные лица, другие девушки тоже были не прочь уделить ему часик. Он инстинктивно зажал рукой задний карман брюк, дав волю своей алчности. Сделав несколько глубоких вздохов, он напряг слегка сбрендившее зрение и с королевским величием проложил себе путь в ночь, ласково отводя обвивавшие его, как гибкий плющ, руки и цепкие пальчики и крепко держась за портфель с драгоценным дневником.

В «Дом» во внутреннем обеденном зале толпа людей сгрудилась возле радио, из которого вылетали один за другим чудовищные риторические пассажи, произносимые голосом, слишком уже хорошо знакомым всему миру. Барменша, привлекательная вдовушка, несколько поблекшая, но удачно поработавшая над собой, включила радио, чтобы развлечь посетителей, хотя отлично

знала, что никто из них не понимает по-немецки. Забавлял скрипучий лающий голос, а не то, о чем он вещал. Всем и так все было ясно. Из приемника раздался грохот аплодисментов. Блэнфорду вспомнилась Ливия. Почему его занесло именно сюда, а не в какой-нибудь другой бар? Это жажда виновата, нестерпимая жажда. Оказывается, «перно» в больших дозах тоже коварно, подумал он и заказал пинту шампанского. Жажда не исчезла, правда, шампанское было холодным и взбодрило. Однако теперь он был вдребезги пьян, и дальнейшие свои подвиги помнил уже довольно смутно. Во время этих похождений он потерял портфель и зонтик. Слава богу, хватило ума оставить в квартире паспорт и другие еще более ценные, чем дневник, бумаги… Он едва не свалился с моста, очарованный сочной беседой величественных клошаров с буйными гривами, в конечном итоге его сбило такси на Вандомской площади. Напуганный водитель был человеком гуманным и мобильным (в силу профессии), он запихал несчастного на заднее сидение и помчал во весь опор в американский госпиталь в Нейи, где Блэнфорда довели почти до полной невменяемости, напичкав еще и обезболивающим, чтобы проверить, нет ли переломов.

Блэнфорд очень серьезно сообщил врачу: — На меня навалился опыт всего человечества, и я еле дышу. Так давит груз ответственности, просто невыносимо. Лишь невежество, оно одно, может спасти от депрессии.

Ему приказали заткнуться и спать сию минуту, однако утешили, сообщив, что все кости целы, что у него сильное «сотрясение», потому и в голове звенит, динь-динь-динь.

Deus absconditus[163] косматый бог всех пьяниц завладел им, и вот уже в самых-самых тайных мыслях он бродил по вечнозеленому Югу рука об руку с той Ливией, которую он посмел нафантазировать, которой никогда не существовало в реальности, а потом сидел за старым, сплошь в пятнах, столом в саду и исписывал в тетради страницу за страницей, причем тетрадь была вроде бы не его, а Сатклиффа. Вектор времени постоянно менялся: пишущий то оказывался в своем скучном провинциальном прошлом, то в туманном будущем, тоже вполне бессмысленном. Писатель, *l'homme en marge*,[164] кропающий «Мемуары маргинальной личности». На титуле

---

[163] Примечания: 163
Темный бог *(лат.)*.

[164] Примечания: 164
Человек маргинальный *(фр.)*.

он вывел витиеватым крупным, несколько нервозным почерком: «Не ищите здесь размеренной точной достоверности». Радио громыхало над его головой, орало нестерпимо громко. Обезьяна сквозь рупор заманивала в надежный капкан — Европа затаила дыхание. Он ниже наклонил раскалывающуюся от боли голову и написал: «У меня нет биографии; как истинный художник, я живу жизнью одного из персонажей». С. продолжил: "Первый опыт общения с публикой состоялся еще в детстве, когда я, пухлый подросток, играл царя, не Эдипа, конечно, а жирненького узурпатора — в школьном спектакле. С тех пор меня преследовал такой сон: будто я один в пустой школе (жизни?), где полно пустых комнат, распахнутых дверей и чистых классных досок; да, вот такая жизнь ждет тех, кто учится дышать. Приятель, продолжи эту поэму симпатическими чернилами, и тогда можешь спросить себя: «Почему у далай-ламы нет эдипова комплекса?». — «Глупец, у него же нет родителей…"»

Пару раз завывали сирены, как огромные коты, вышедшие *en chasse*.[165] Это были пока учебные тревоги, но от них сжималось сердце. Выйти

---

[165] Примечания: 165
На охоту *(фр.)*.

замуж для нее все равно что выпить дешевого вина из бумажного стаканчика. Ему нужно было совсем другое… запах теплого филея, запах жаркого в светлых волосах, пропитавший их, пока она колдовала над плитой, аромат сельдерея в подмышечных впадинах. Как будто позади у них дюжина жизней — в одном и том же домике. И как память о давних годах — и надолго — царапины на двери от когтей пса, требующего, чтобы его впустили, царапины от ее ключа вокруг замочной скважины.

Вдруг ему послышался голос Сатклиффа, предостерегавший:

— Обри, ваш ум похож на жирную отбивную. Или молчите, или обольщайте на всю катушку. Чтобы никакого занудства.

Бедняга никак не мог быть в лучшем настроении, чем его повелитель и раб, однако продолжал в том же игривом тоне — хотя временами от усталости его голос звучал не громче комариного писка. Великий человек с чувством продекламировал:

Как вялый артишок земля суха,
Ласкать ее уж нету сил…
Острый кактус первородного греха

И честь ее, и душу погубил.

Блэнфорд, обычно не способный придумать сходу ответ, откликнулся очень живо:

— Роб, вам ли разевать рот на глянцевое райское яблочко, вы напоминаете старый прохудившийся футбольный мяч, полный гниющей слизи.

Как-то во время оксфордских военных учений он услышал выражение «omega[166] grey», оказалось, что это научное определение темно-темно-серого оттенка, предшествующего уже черному; и теперь, погрузившись в беспокойное наркотическое полузабытье, менявшее все вокруг, все формы, цвета и звуки, он вдруг увидел, что за окнами белой палаты все выкрашено в этот самый цвет — предельно серый, почти черный цвет смерти. «Предельно серый, предельно серый», — крутилось в его голове, то ли во сне, то ли наяву… Преображенная дурманом реальность, пропущенная сквозь сетку обрывочных ощущений, недавно пережитых, налагалась на жуткие картины. Он видел тело своей матери, изображенное каким-то эпигоном кубизма в виде ню с дельфиньей головой, целая серия ню. У нее были темные зубы, а десны рыхлые, как

[166] Примечания: 166
Последняя буква греческого алфавита.

желатин. А потом она сильно раздулась и зависла над Темзой, чтобы защитить ее от вражеских самолетов; и еще она была вся серая, камуфляжно-серая, *предельно* серая, то есть на грани черной духовной ночи, настигнувшей их всех, словно очередная ледниковая катастрофа. Видно, он уже не успеет достичь того замечательного душевного равновесия, которое ассоциировалось у него (и совершенно напрасно) с актом созидания. Что он делает тут, в плавящейся от жары постели, пьяный от всякого пойла и от лекарств, когда уже полыхает Рим? Он должен молиться вслух, громко молиться, старательно перебирая четки.

Он нажал ладонями на веки, и над глазными яблоками брызнули искры. Как же он не сообразил! Он ведь как раз сейчас почти сподобился того блаженного состояния, которое считал уже недостижимым! Вот оно, неизреченное и неопределимое, но уже наливающееся соками, чтобы сформироваться в некую субстанцию. Он напоминал себе растяпу, который никак не может найти очки, а они у него на голове. Вот он, долгожданный позыв, они, наконец, исторгаются… слова, соединенные лишь свободными ассоциациями… они поплыли под его виденьями, наподобие субтитров к непостижимому фильму,

написанных сумасшедшим. (Иногда словарный запас пьяницы ничуть не уступает словесному изобилию мудреца.) Он увидел Ливию, прижимающую палец к губам.

Погода заметно меняется, милая киска,
Но карты не скажут о том, что осенние звезды сулят…

В своих грезах он сказал ей: «Ищи не ищи, найдешь только то, что суждено. Вот что сводит меня с ума. Ты отчаянно стараешься получить то, что, в сущности, у тебя уже есть, просто ты этого пока не видишь. Медитируя, ты входишь в рискованное состояние, чрезмерной концентрации, ничего общего с обыкновенным дневным сном. Это было бы даже забавно, не будь столь опасно». На что она очень мило ответила, беспечно покачав изящной, как у косули, головкой: «А ты все время говори себе, что это еще не предел, могло быть и хуже, и тогда будет не страшно». Откровенная софистика! Он видел улицы, мимо плыли лица прохожих, предельно серые взгляды над предельно серыми тротуарами. Прохожие шли и шли куда-то, и ничто не загораживало дороги, но всюду, невидимые, подстерегали ловушки, в любой момент поднятая решетка могла опуститься…

Очередная картина: подвал в Вене. Он точно откуда-то знал, что это Вена, хотя сроду там не бывал.

Где-то зазвучали скрипки, и сквозь полузакрытые веки он увидел скрипачей, исполняющих священную божественную арабеску, и девушек, расчесывающих длинные волосы. Оплывшие, в зазубринах воска, свечи, мерцавшие в полумраке, придавали им не розовый и не карминный цвет, но все тот же гнусный оттенок — предельно серый, свинцовая униформа его видений… Медленно разворачивающаяся мелодия из какой-то фуги окутывала их всех темным покрывалом меланхолии. Там было человек десять-двенадцать, но он узнал лишь Сатклиффа и Пиа. Что-то настораживающее было в их напряженном внимании, и он понял, что они прислушиваются не столько к музыке, которая на самом деле лилась из радиоприемника, а к отдаленному треску ружей и пулеметов с редкими вкраплениями глухих ударов миномета… где-то очень далеко. Они говорили, что такое творится почти каждую ночь, и приходится сидеть по вечерам дома — обыватели сами установили негласный комендантский час. Начались все эти кошмары не так давно, а вот травля евреев уже набрала силу.

Неожиданно сцена «оборвалась», как это происходит в фильмах, и Сатклифф с Пиа теперь опасливо брели по пустым площадям, в страхе шарахаясь от городских скульптур, которые смутно маячили сквозь легкий весенний снежок, застилавший небо. Они направлялись в ту часть города, где жили в основном представители интеллектуальной элиты — медики, актеры, музыканты и прочие творческие личности. Здесь были студии для занятий, откуда доносились гаммы, разыгрываемые на фортепьяно, отрывки из классических произведений, звонкие трели сопрано, которым вторили басовитые тубы. Фашисты уже сюда наведались, едва стемнело, их выставили полицейские, а, может быть, они пошли в другие кварталы, где добыча более пугливая и доступная. Но они и тут успели порезвиться: два огромные костра из горок медицинских книг, облитых бензином. Все окна были открыты, и квартиры, из которых эти книги выкинули на улицу, теперь пустовали. Во всех окнах горел свет, яростно, оскорбленно, однако ни одного человека не было видно там, внутри. В какой-то момент Пиа разглядела старомодный диван, половину его, качавшуюся в распахнутом окне на третьем этаже, и закричала

от ужаса. Здесь располагались приемные кабинеты, которые врачи могли снимать очень дешево, благодаря субсидиям университета. Диван! Теперь Пиа поняла: это старый кабинет, который стесненный в средствах Фрейд поначалу делил с Блейлером, тогда они делали свои первые робкие шаги в разработке теории бессознательного. Этот старый кожаный монстр был близнецом дивана в теперешней приемной Фрейда, на который профессор (кажется, сто лет назад) пригласил ее прилечь. На нем, извиваясь, мечась, словно в горячке, она угодила в приключение, которое, казалось, никогда теперь не кончится; одно обещание исцеления следовало за другим, но после ремиссии неизбежно наступал рецидив. И это столь памятное орудие пытки зависло над их головами, словно изувеченный крокодил.

В диком вопле Пиа прозвучало не просто узнавание, но и злоба, и, безусловно, почтительность, которые вызывал в ее душе этот потрепанный символ психоанализа, высунувшийся — весьма опрометчиво — из окна; он напоминал толстуху, которая высунулась по пояс, но никак не могла втиснуться обратно, и спасти ее могла разве что пожарная команда. Пожарных уже было слышно где-то на соседней улице, хотя вой их сирены от-

части заглушал чудовищный скрежет гусениц по бетону. Легкий танк пересек улицу за несколько кварталов от них. Вскоре подошла небольшая группа студентов-медиков, очень возбужденных, словно они крепко выпили, прежде чем идти сюда.

В окне, на котором висел диван, показался мужчина — дворник, судя по зеленому фартуку, или консьерж. Видно, обходил дом, чтобы выключить свет и закрыть распахнутые двери. Подойдя к дивану, он нерешительно остановился, не зная, что предпринять. Большая часть диванной туши была снаружи, так что втаскивать его внутрь было бессмысленно, хотя консьерж сначала добросовестно попытался это сделать. Задние ножки дивана висели над горящей улицей. Студенты яростно жестикулировали и что-то друг другу кричали, видимо, не представляя, что делать с искореженными фонарями и с пылающими книгами. А консьерж в окне все-таки принял решение. Поднапрягшись, он освободил оставшиеся в комнате ножки старого уродливого крокодила и выбросил его на улицу, так что тот угодил в один из костров. Вой пожарных сирен приближался. «Быстрей! — крикнула Пиа, вне себя от волнения, потому что диван уже начинал

загораться с боков. — Быстрей!» Окружающие начали недоуменно переглядываться, и тогда она метнулась к огню и сама ухватилась за спинку старого крокодила, она тянула изо всех сил, пока не вытащила его из огня. «Мы должны спасти его, — сказала она. — Ради бога, Роб...». Он неловко подбежал, не совсем понимая, что ей нужно, и стал сбивать пламя. Тут на помощь подоспели студенты, которые с неистовым азартом сумасшедших подняли диван и торопливо оттащили его в ближайшее укрытие. Все происходило спонтанно, без предварительных обсуждений. Если бы не крик Пиа, не ее непонятная самоотверженность, диван остался бы в костре. Но она бросилась к этой махине, будто в каком-то трансе. Несомненно, эта рухлядь была очень ей дорога. И невольным зрителям ничего не оставалось, как принять участие в акции спасения. Диван оттащили к стене и поставили под деревом. Все тяжело дышали, однако были очень довольны. С другой стороны на площадь въехали полицейские и пожарные, поистине с оперным драматизмом. Пора было уносить ноги. А диван остался стоять под легким снежком.

События разворачивались с такой скоростью, что спасатели сами удивлялись: неужто все это

на самом деле было? «Что ты собираешься с ним делать?» — крикнул, пыхтя, Сатклифф, понимавший, что в крошечном номере это чудище не поместится, Пиа на миг задумалась, ее бледное лицо стало потерянным. Они шли очень быстро, почти бежали, к своему отелю, стараясь выбирать безлюдные улочки и держаться подальше от патрулей. Их дожидались друзья, в том числе, и славная славянка. Они заказали кофе в крошечную слегка обветшавшую комнату отдыха, где, как обычно, обсуждали последние новости — городские и мировые — внешний мир нависал над их ежедневной жизнью, как грозовая туча. «Что бы ни случилось, мы должны его спасти», — вдруг решительно заявила Пиа, хотя разговор шел о чем-то другом; но он-то сразу понял, что она имеет в виду идиотский старый диван, на который ему самому было наплевать. Спятила она, что ли? Он так у нее и спросил, но она уже рассказывала о своих подвигах подружке, лицо которой даже разрумянилось от радостного сопереживания и восхищения. До чего же обе суеверные, подумал он, настоящие дикарки. Что еще они придумают?

А дальше было то, чего Сатклифф не мог бы представить и в страшном сне. Откуда-то на-

бежали студенты-медики, закадычные друзья славянки, они бурно приветствовали средневековую выходку Пиа. (Скоро, видимо, начнут продавать индульгенции!) С юной горячностью они решили во что бы то ни стало сберечь кожаный тотем. Проблема заключалась в одном — куда его девать? Предложений было несколько. Кто-то вызвался приютить его в своей квартире, кто-то придумал, что его надо отвезти на факультет и поставить в холле — однако факультетское начальство, вряд ли даже слышавшее о Фрейде, не одобрит это. Неожиданно голос подала Пиа, и с такой запальчивостью, что все поняли — последнее слово за ней. «Это мой диван, — сказала она, — и я собираюсь забрать его себе. Отправлю брату в Авиньон. Я уже решила». Решила так решила, осталось лишь обсудить проблемы доставки. Какой транспорт выбрать? Разумеется, поезд. Правильно. А как доставить его на вокзал? И тут один из студентов, подрабатывавший в похоронном бюро, сказал, что попробует одолжить для священной реликвии катафалк. «Да! Да! — крикнула Пиа и радостно захлопала в ладоши. — Так и сделаем. Сегодня же позвоню брату».

Вот так и получилось, что в пять часов утра мистер Сатклифф, с трудом веря в реальность про-

исходящего, сидел в большом черном катафалке, лицезрея то, что обычному прохожему могло показаться трупом какого-то великана, завернутым в коричневую оберточную бумагу. Диван в самом деле обернули в несколько слоев коричневой бумаги, чтобы лучше держались ярлыки. Оказалось, что переправить диван железной дорогой было очень просто. Теперь реликвия будет ждать, когда ее привезут в Авиньон.

Блэнфорд все видел будто сквозь туман, не в силах вырваться из тяжелых сетей сна, он, тем не менее, тоже, как мог, одобрил ценное приобретение учащением пульса. Однако ему очень хотелось, чтобы такая редкая вещь досталась Констанс, а не Пиа, и чем больше он вникал в суть вполне уже обросших реальностью проблем, тем больше верил, что ему удастся убедить Сатклиффа доставить груз не в Верфель, а в Ту-Герц. Когда он высказал свою просьбу, Сатклифф, как ни странно, возражать не стал — настолько он был равнодушен к реликвии. И, к тому же, успел возненавидеть науку психочтобытамнибыло, которая обещала луну с неба, а сама трещала по всем швам, разваливаясь на глазах.

— Отлично, *maître*,[167] — с иронией произнес великий человек, — как скажете. А что Париж?

— Приятный приапизм правит бал, — произнесло его непоследовательное *alter ego* или *summum bonum*[168] — Круассаны темны, как красное дерево.[169] Я видел, как она в сумерках читала в общественном саду, и мне захотелось подойти к ней и спросить, где она пропадала — почти целую неделю. Но я не решился. Сел на соседнюю скамейку и сказал себе, что это не она, это другая, просто похожа. Она читала один из моих ненаписанных романов — с почти благоговейным азартом. Рядом лежал пакет с недоеденным круассаном. Она была погружена в глубокие раздумья, я видел это и, наверняка, вызвал бы у нее раздражение. Тогда я закрыл глаза и стал ждать. Когда, наконец, она поднялась, я понял, что это в самом деле не она, но сходство действительно сильное. Пакет остался на скамейке. Скормив птицам остатки круассана,

---

[167] Примечания: 167
Мэтр *(фр.)*.

[168] Примечания: 168
Высшее благо *(лат.)*.

[169] Примечания: 169
Намек на фигурку Приапа (древнегреческая мифология), бога плодородия с огромным эрегированным фаллосом. *(Прим. ред.)*

я отправился домой мимо озера, чтобы она не подумала, будто я слежу за ней. Но конечно же дома, как всегда, никого не оказалось.

Щепотка шарма,
Горстка зерен страсти
Писателя, конечно, завлекут.
И это ли не счастье?
Неодолим чудесный зуд.
Который сердце рвет на части.
Все «девушки в соку», отлейте мне немного.
Обоюдным возлияньем сотворим мы бога.
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА!

Он все глубже и глубже погружался в ночные кошмары, которые расползались во все стороны до самого горизонта, и чувствовал, как его мозг терзала двойная горячка — и от алкоголя и от обезболивающих. Темные улицы Вены сменил Париж. Там повсюду бродят те, кому не спится, племя хмурых анахоретов, не умеющих любить, словно поэты, мысли этих бродяг слиплись от усталости — в ожидании утра. Разбитые очки, косолапая походка, огромные изуродованные артритом большие пальцы. Он размахивал рука-

ми, пытаясь отогнать зловещие образы, но они не слушались, они наседали.

Ему ничего не оставалось, как покорно принять вынужденную выписку из больницы, посталкогольная депрессия и легкий шок не давали повода и дальше валяться на уютной больничной кроватке. Его несколько раз навещал сердобольный таксист, тот, который его сшиб, и даже вызвался бесплатно отвезти домой. Молодой врач, которого звали Брюсом, не возражал. Не дрогнув, в больнице обналичили его чек, но оставили ему довольно щедрый остаток, чтобы он мог сызнова начать достойную цивилизованного гражданина жизнь. Назад, в пустую квартиру, милостиво сохраненную его доброй мучительницей, документ об аренде она оставила в «Дом». Однако, переступив порог, он едва не рухнул от слабости и неловко опустился на неубранную кровать; одиночество продолжало посылать ему разрозненные образы утраченной возлюбленной, однако теперь они были не такими щемящими, стали более эфемерными. Но где все-таки найти покой? Торчать одному в крохотной квартирке было невыносимо. Если он вернется в «Дом» или в «Сфинкс», опять начнется пьяная круговерть, и тогда он погибнет. И он отправился в соседнюю кинош-

ку, чувствуя, как между ляжек больно кусаются блохи вожделения, когда на экране возникают амурные сцены с самым гениальным из всех комиков, с Уильямом Филдсом. «Дорогой банан, где твое чувство юмора? Восхитительный ямс, а тобой я пообедаю». Ему было не очень понятно — титры почти не читались из-за старости, — как это можно перевести. Разве что дать свою версию. *«Clafoutis imberbe! Potiron du jour!»*[170]

Когда, наконец, ему удалось встать на ноги и добрести до выхода из кинотеатра, на дворе уже была ночь, лилово-красная ночь, насыщенная светом фонарей и мерцающим белым свечением, хорошо заметным на фоне сине-черного, как дешевый мех, неба. Ему хотелось есть, и он отправился в «Дом», где с жадностью проглотил яичницу с беконом, брезгливо поглядывая на всех этих эстетов и ремесленников от искусства. Львиная гордость, завывающая речь, поэтические причуды… Нет, он уедет подальше, он будет мазать жидкую грязь на хлеб в далеких турецких ханствах. Подальше, подальше от унавоженных алтарей нонконформизма. Он закажет клистир для всех приходских Прустов с

---

[170] Примечания: 170

Здесь: «Пирог непропеченный! Тыква пареная!» *(фр.)*.

Чэринг-Кросс-роуд. Он… Стоило ему кивнуть, и официант снова наполнил бокал. Он понял, что все еще отчаянно пьян, рецидивное опьянение. Кровь стремительно бежала по жилам. Вокруг гомонили крикливые африканцы с красивыми буйнокудрыми головами. Все они приехали в Париж набираться культуры. Они требовали аперитива, чтобы, так сказать, заморить червячка и в душах, и в кишках. А почему бы и нет?

Огромные симпатичные турбины из черной плоти с аппетитом отправляли в рот то кусочек Китса, то ломтик Рембо, смакуя интеллектуальный ужин. Здоровый каннибализм, если вдуматься. О *Grand Sphincterie des Remains!*[171] О терпкие пряные пути поэтической мысли, что ведут в инфернальные пространства, к порогу сублимации. Эти помпезные метафоры, витиеватые изгибы прозы и стихов. Ветер воет в старой трубе — назовем его «отцовские кишечные ветры». Пора стать современнее, идти в бизнес.

Облегчившись, учредим меню бизнес-ланча:

Пинта пива и к нему — все для бран-

[171] Примечания: 171
О великая римская содомия! *(фр.)*.

ча.[172]

Он так хитро заказывал напитки, самые разные, что подсчитать их по количеству блюдец из-под стаканчиков было невозможно, поэтому официант принес несколько бумажек с небольшими суммами. На одной Блэнфорд написал несколько цифр, пытаясь сосредоточиться и выяснить, сколько у него остается денег, если утром он действительно уедет из Парижа, как только что надумал. Когда настал момент окончательного расчета, официант решил сразу привести в порядок стол для очередного клиента и — порвал бумажки. И только после заметил, что на них что-то написано. «О *Monsieur!* — воскликнул он, вне себя от огорчения, — *j'ai déchiré vos brouillons*.[173]» Бедняга, весь побелев, подумал, что нечаянно разорвал черновики какого-то гениального иностранца. Его смущение было настолько трогательным, и настолько искренним было его облегчение, когда Блэнфорд объяснил, что это никакие не черновики… Только в этот момент он осознал, как пламенно любит Париж. Ему

[172] Примечания: 172

Brunch *(англ.)* — составное от «breakfast» (завтрак) и «lunch» (второй завтрак).

[173] Примечания: 173

Я порвал ваши листочки! *(фр.)*.

бы не помешало поучиться у парижан, необыкновенные люди, с таким трепетом относятся к творческой личности, для них слово «художник» воистину святое.

Воспрянув после трапезы духом и окрепши телом, он отправился в гараж, где оставил свой автомобиль. Что там у них с ремонтом, к шести утра машина будет готова? Он решил отправиться в путь спозаранку, чтобы заночевать в Лионе. К счастью, пока все складывалось отлично.

На прощанье он опять отправился в «Сфинкс»: выпить последний бокал и проститься с девушкой с Мартиники. Учитывая теперешнее свое крайне неопределенное положение — с матримониальной точки зрения, он решил сообщить о своем отъезде. Вдруг Ливия объявится и пожелает узнать, где его можно найти. Однако чернокожей чаровницы в этот вечер не было, она ушла в кинотеатр, правда, никто почему-то не знал, в какой именно. Он оставил ей записку, которую Мама (так величали мадам сутенершу) приняла с королевским величием. Выпив стаканчик, он поплелся в свою печальную квартирку, показавшуюся ему еще более пустой, чем прежде… как будто даже воспоминания о том, что здесь когда-то происходило, успели захиреть и выветриться.

Уснуть тоже не удалось — образы переполняли его, не давая забыться. Схватив увесистую палку, он охотился в темном доме на огромную крысу чувств, крадучись перебегая с лестницы на лестницу, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Отовсюду неслись вопли кошек, пировавших на кучах мусора, вырывая друг у друга объедки: потрепанные, все в шрамах кошки — весьма подходящий символ храмовых прислужниц, главное — когти, сообразительность и цибетин,[174] мордочка дело десятое. Он открыл окно и уставился в небо — необозримое пространство, пресыщенное, как актриса, которая постоянно и бездумно афиширует себя. Ему бы уйти из «Сфинкса», где доверчивая маленькая Бензедрин Пападопулос раздвигала свои тонкие изящные ножки, чтобы видно было черное пушистое устье с красной шелковой полоской посередине. Прощай, Ливия, и все жалкие, холодные убогие слова, не способные отразить силу страстного желания — четыре буквы в каждом,

[174] Примечания: 174

Цибетин — ароматическое вещество из желез циветты (мелкий хищный зверек, дальний родственник кошек).

и каждое начинается с «L».[175] От авиньонских воспоминаний исходили мир и покой, значит, завтра он снова отправится в путь.

Окружающий мир завяз в проблемах, а у Блэнфорда все было более или менее в порядке; квартирка автоматически возвращалась к хозяину — из-за неуплаченной ренты. Надо разобраться с мелкими долгами, газетному киоскеру, оплатить счета за свет и воду… Он покидает Париж, странное чувство — зияющей пустоты. Проходя мимо «Дом», он проверил, нет ли ему писем. На полочке была куча посланий, терпеливо дожидавшихся, когда их заберут. От нее не было ничего, да и глупо было чего-то ждать. Он, сам не зная зачем, переписал из записной книжки стихотворение, вложил листок в конверт и написал на нем ее фамилию. Это было своеобразным прощальным жестом, он чувствовал щемящую тоску из-за их разрыва, из-за ее отъезда, из-за того, что их союз оказался таким непрочным и никчемным. И еще он страшно за нее боялся — потому что до сих пор был очень к ней привязан, не смотря ни на что.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННАЯ

---

[175] Примечания: 175

Видимо, речь о словах «love» (любовь), «lust» (похоть), «lips» (губы) и т. п. *(Прим. ред.)*

Посвящается Ливии

Стихи, затопленные влагой,
В которой плещется она,
Как будто в озере.
До строф самих ей нету дела,
Вода их беспощадно топит,
Как жалкий островок из поцелуев,
Из слов, в которых я искал спасенье.

Сверив числа по лунному календарю,
Нимфа эта все мчится по дороге вожделенья,
Холодная, как кукла, набитая опилками,
Но я, да и любой другой
Глаз оторвать не в силах
От этого божественного тельца,

От глаз ее сощуренных
В надменной улыбочке тигрицы,
Которая так ей идет…
Втайне невинная, о жертва
Страданий вечных,
Укрывшаяся в келье ледяной,
Где только свечи да букеты лилий,
Такою близкою казалась…
Увы. Ни солнцу летнему, ни ласкам

мужа
Не одолеть ее суровой стужи.
Люби, любуйся, сам же ты — не нужен.

Глава седьмая
Принц Хассад возвращается

Не он один вернулся в Авиньон, чуть позже молва донесла, будто лорд Гален и принц, в полном смятении чувств и мыслей, покинули Германию, под грохот и цокот, и под выкрики кучера, мучимые дорожной качкой. Проницательный принц довольно скоро раскусил, что скрывается за романтическими причудами Галена; сам Гален едва ли мог в одиночку справиться с инвестициями, которые оказались катастрофически огромными. Этот просчет возвышался над прочими памятником чистейшего безумия — и весьма дорогим. Никогда еще в своей долгой карьере «джентльмена-авантюриста» (он обожал этот свой неологизм) Гален не совершал столь ужасающей «промашки» (это слово ему тоже очень нравилось). В самом деле, удар оказался до того силен, что сбил его с ног — во всяком случае, на какое-то время. От его хваленого хладнокровия не осталось и следа. Он стал сильно сутулиться и даже сразу резко постарел. Чувствовалось, что ему тяжело далось долгое и унизительное воз-

вращение к пресному здравомыслию. Во всяком случае, особо запомнилась та остановка в «Весах» в Женеве, где пришлось пережить настоящую оргию подсчетов и множество ответственных встреч с бледнеющими прямо на глазах акционерами. Сказать по правде, принц Хассад страдал и горевал гораздо меньше, поскольку не вложил в проект ни пенса. На самом деле, он, похоже, с трудом сдерживал довольную улыбку, хотя его громоздкий экипаж вызывал постоянное раздражение на городских автомобильных стоянках, а его слуги — неизменное изумление. Все атаки пришлось отбивать Галену; он, как мог, выкручивался, и все же иногда нет-нет да изрекал очередную глупость.

Принц был, бог свидетель, сама тактичность, но время от времени с его губ слетал убийственный смешок. В такие моменты он хлопал себя по коленке и растягивал губы в широкой улыбке, скалясь, точно юркая ящерица, и Гален никак не мог понять, что этого субъекта так развеселило. Хотя человечек с этим своим королевским цветочным горшком на голове, в этой феске с зелеными полосами не произносил ни слова, его ухмылки, точно колючки, впивались в нежную, попранную обманом, плоть сознания бедняж-

ки Галена. Все зашло настолько далеко, что им угрожали арестом, хорошо, вовремя сбежали. И кто угрожал? Его друзья нацисты! Теперь Гален даже немного жалел, что их не арестовали — его уныние было бы облагорожено искуплением.

— Ладно, — заметил принц, — что толку теперь терзать себя? Мы действовали ужасно непоследовательно. Надо спасать то, что еще можно спасти.

Он великодушно притворился, будто разделяет горе Галена.

— Взгляните на все это с другой стороны, — продолжал он тоном мудрого стоика. — Через два-три месяца мы все умрем — вы читали о нервно-паралитическом газе в «Трибюн»?

Гален послушно задумался о приближающейся смерти и вдруг повеселел. Правильно, нечего дурить. А принц, ковыряя в зубах, о чем-то все время размышлял; он весь день провел в египетском посольстве — звонил по телефону, рассылал зашифрованные телеграммы.

— Мой дорогой друг, — сказал он, — поезжайте в Прованс и займитесь своими делами. Мне нужно кое-что срочно уладить. Но дней через десять я приеду, тогда и решим оставшиеся проблемы.

— Вы не бросите меня? — спросил Гален, насу-

пившись и выпятив нижнюю губу.

— Совсем ненадолго, — успокоил его принц, — а вам, мой друг, лучше было бы окончательно расквитаться со здешними делами и вернуться на юг. Свой экипаж я вышлю вперед. Через десять дней мы опять встретимся и примем важные решения. Боюсь, я вынужден буду расстаться на время со всеми своими новыми друзьями в Авиньоне и вернуться в Египет; надо подождать, посмотреть, как будут развиваться военные действия. На границах Египта, к примеру, стоит большая итальянская армия, и нам неизвестно… *ничего* еще неизвестно.[176] Да и о ваших непоследовательностях невозможно забыть. (Он великолепно владел английским языком, однако иногда проскакивали ошибки в использовании слов.) Почему бы вам не извлечь из них уроки и не признаться честно? А?

Склонив голову набок, как фокстерьер, лорд Гален обдумывал предложение быть честным.

— Признаться в своей глупости?

— Именно.

— Я как-то об этом не подумал, — произнес лорд Гален, неожиданно почувствовав облегчение.

---

[176] Примечания: 176
См. приложение.

Однако уныние и печаль почти не рассеялись, ибо принц собрался ехать в Лондон и бросить его одного на несколько дней в Женеве, когда ему так необходимо дружеское участие! Хассад между тем был неумолим: ему необходимо кое-что уладить до отъезда домой, и уж тем более до того, как «шарик разлетится», так теперь говорят в Европе. Образ сияющего монгольфьера — самой Европы — летящего вверх и вглубь неведомых эмпиреев будущего был очень точным отчаянное легкомыслие.

После относительно спокойной Женевы, погруженной в созерцательное размышление *par excellence*,[177] странно было сидеть в вагоне первого класса «Золотой стрелы», удаляясь от другой европейской столицы, от безумного, живущего сплетнями Парижа, где на вечеринке с коктейлями можно было запросто насмешить компанию, изобразив нацистское приветствие. (Представив эту сценку, принц пришел в ужас.) Он сидел очень прямо в углу купе и почти механически заполнял клеточки кроссворда в «Тайме», ожидая, когда гонг призовет на ланч, и он отправится по вагонному коридору поглощать здоровую, но

---

[177] Примечания: 177
Преимущественно *(фр.)*.

безвкусную пищу. Как ни парадоксально, весь мир все еще не мог выбраться из зыбучих песков летаргии. Время стало вязким и густым, как желе, хотя на поверхности все бурлило и клокотало. Гремели трубы и обличающие речи, бряцание оружием, правительственные заявления… но всё это было жалкой тщетной суетой. Люди сновали кругом, как всполошенные крысы: кто-то запасал провиант, кто-то писал завещания, кто-то заказывал билеты в Америку. Однако все это происходило непонятно зачем, будто понарошку, ведь никто не мог всерьез поверить, что нормальные цивилизованные люди начнут войну — уже пройдя через жестокие уроки 1914 года. Миниатюрный принц сказал себе: «Именно потому, что война эта кажется абсолютно немыслимой, она непременно начнется. Люди на самом деле хотят умереть, поскольку в жизни слишком много проблем». Да, отметил он философски, действительность полна жестоких парадоксов. Он тяжко вздохнул; в конце концов его не касается, что будет с упрямой и беззащитной Англией, куда его мчал этот поезд, громко ревущий в туннелях и изрыгавший плотный черный дым из крупинок сажи, так и норовивших осесть на его серых гетрах и на каракулевом воротнике отлично

сшитого пальто. Надо будет все отдать в срочную чистку, как только он придет… Лондон! Сердце принца забилось чаще — в лондонской дипломатической почте его наверняка ждет письмо от маленькой принцессы. Жестоко было так надолго оставлять ее одну в старом пропыленном дворце на берегу Нила. Там ведь совершенно нечего делать, можно только рисовать, читать, размышлять и мечтать о его возвращении. «Моя куропаточка», — пробормотал он.

Ритуал проверки паспортов, потом резкая перемена масштабов — совсем игрушечный пейзаж в сравнении с дуврскими морскими просторами — заставил мысленно вернуться в юность. Он, совсем еще молодой, был секретарем египетского посольства в Англии, которую любил и ненавидел — обычная для восточных людей эмоциональная раздвоенность. Как она переживет этот катаклизм? Неужели погибнет? Он очень за нее боялся: она казалась такой дряхлой и уже ни на что не способной с этим своим пожелтевшим от старости правительством, жалкие человечки, вылинявшие до сепиевой бледности социализма, до тускло-бежевого убожества бюрократии. И его родной Египет, прогнивший и страшно уязвимый, отдан им на милость, находится в их

руках… Когда-то давно он вызвался тщательно проанализировать особенности характера типичного англичанина — хотел помочь своему послу, дорогому Абделю Сами Паше, расширить кругозор. Но эссе получилось слишком литературным и чересчур заумным. Он тогда выделил три основные черты, которые, несомненно, были заложены в англичанах предками: саксами, ютами и норманнами. Однако какая-то из черт неизбежно преобладала. Вот почему, имея дело с англичанами, надо быть начеку. Саксы сделали их задирами и пиратами, юты — подхалимами и ханжами, зато норманны наградили славным донкихотством, которое могло порою взвиться, словно норовистый северный ветер, и тогда дары саксов и ютов бывали напрочь забыты. Бедняга Сами проштудировал его труд — от слова до слова — но так ничего и не понял. Он тогда еще даже сделал ему замечание: «Вы не упомянули об их богатстве. Без этого…»

Всю свою жизнь принц неистово боролся со страстной влюбленностью в англичан; она порою даже затмевала его драгоценный патриотизм. М-да. Однако, как их все-таки выставить из Египта, как обрести наконец свободу? Но стоит ли заменять их немцами или итальянцами? Чем те

лучше? Взгляд его высочества потеплел, когда за окном стали мелькать маленькие кукольные домики, сизо-серые, как голубиные перья, безмятежные пашни и луга, похожие на волнистое осеннее море. Да, он любил эту страну, и его маленькая принцесса частенько над ним подтрунивала: «тебе даже сны снятся английские». Черт бы побрал этих англичан! Поджав губы, он сокрушенно покачал головой. Потом закурил тонкую сигарету с золотым ободком и выпустил изо рта высоко в воздух маленькое облачко дыма, словно оно могло рассеять эти по-женски сентиментальные чувства. По-женски! Это слово напомнило ему, что и вся его любовная жизнь, и невероятно счастливая женитьба окутаны чарами Лондона. Он очень надеялся, что Селим не забыл заказать номер люкс в отеле «Браунз» — принцесса обожала этот отель, расположенный в фешенебельном районе Мейфэр, и всегда посылала швейцару рождественскую открытку.

Но ведь Египет — это одно, а королевский двор — совсем другое; образование смягчило фанатизм, превратило их — в какой-то степени — в космополитов, способных чуть ли не смеяться над собой. Сказалось влияние иностранных языков, иностранных нянюшек и долгие зимы

в Зельтерсе, Баден-Бадене или По. Это слегка ослабило ощущение обособленности, умерило их национализм. Французы считают, что изучить язык и владеть им — понятия разные, так вот, они с принцессой пошли еще дальше, ими самими завладел английский язык. Прочие основные европейские языки они тоже, разумеется, знали, но лишь в разговорном варианте. На его взгляд, им не хватало соли английского языка… Не все при дворе соглашались с принцем; одним больше нравился французский, другим — итальянский. Однако, первой ниточкой, прочно привязавшей его к Фозии, была именно их общая любовь к Англии. Он любил ее даже тогда, в Оксфорде, когда писал антибританские статьи для «Достор» и ставил под ними свою подпись! Как ни странно, Фозии это нравилось, она гордилась тем, что он такой умный, пишет такие серьезные статьи.

Вспомнив об этом, он даже топнул ножкой от удовольствия, словно горячая арабская лошадка. Впервые они встретились в галерее Тейт, где она благоговейно копировала Сезанна, подолгу замирая в мечтах (это она уже потом призналась) о принце, который вдруг сейчас появится и попросит ее руки. Поэтому сам процесс рисования был скорее побочным… Ее сопровождала вдова

одного бея, сын которой учился вместе с принцем в Оксфорде, что, собственно, и позволило ему перемолвиться с этой дамой парой фраз, а после быть представленным принцессе. Она присела в старомодном почтительном реверансе, и он с замирающим сердцем склонился над тоненькими пальчиками. Оба, естественно, побледнели от волнения. Как говорят арабы: «Это было шелковое мгновение». В ее темных глазах был огонь и ум, и сияние веры в идеалы. Кстати, в тот день он надел очки в золотой оправе в тщетной надежде выглядеть постарше. А дальше было все, как во сне, они уже втроем медленно обошли всю галерею, обсуждая висевшие на стенах картины. Он тоже что-то говорил, нес зануднейшую чушь. А внутренний голос без устали повторял: «Фозия, я тебя обожаю!» Он даже испугался, что она услышит его дерзкие мысли, однако принцесса вела себя чинно и сдержанно, хотя и у нее сердце билось, как загнанное. Добрая дуэнья на минутку тактично удалилась, не желая их стеснять. Он был вне себя от восхищения. *Она любит Тернера!* «Он ничем не хуже Рембрандта», — твердо проговорила она с трогательным школьным апломбом. Но ведь она действительно была права, совершено права! Его нежность достигла

опасной точки, еще немного, и он растает, прямо у нее на глазах. Убоявшись этого, он вдруг прервал разговор, изобразив на лице сдержанную холодность. Бедная девочка расстроилась, решив, что ему не по вкусу ее пристрастия в живописи. Она сделала ударение на словах «до свидания», когда они прощались, и сердце принца подпрыгнуло от радости, хотя лицо его все еще хранило мрачное выражение. Выйдя на улицу, он хлопнул перчатками по тыльной стороне ладони, потом понюхал ее, надеясь учуять аромат духов Фозии, прежде чем продолжить «самобичевание» серыми перчатками. Накануне очередного религиозного праздника он осмелился послать ей роскошный альбом репродукций с картин Тернера, выразив надежду, что у нее этого издания еще нет. Альбом у нее был, но она предпочла это утаить, и ответное ее послание было полно восторгов, совершенно искренних, несмотря на этот простодушный обман. Иногда они случайно встречались на разных приемах, где, стоя в толпе гостей, обменивались короткими светскими фразами, задыхаясь от желания. Он ломал голову над тем, как сдвинуть все с мертвой точки. Правда, университет он уже закончил, и был наследником большого состояния в виде хлоп-

ковых мануфактур и земель, но не нашел себе достойной работы. Кроме того, его чувство было таким высоким, таким романтичным, что он не мог позволить ему скатиться до общепринятых банальностей. Полагаю, это было чересчур уж в духе Шекспира, но оба действительно верили — тайно, трепетно, страстно, — что никто и никогда не любил так сильно. Ему хотелось уберечь их любовь от малейшего намека на парижскую фривольность, ибо он считал, что французы относятся к любви слишком легковесно, слишком суетно и *trompe-l'oeil*.[178] В этот смутный период оба сделали несколько необыкновенно важных открытий. Например, она обнаружила, что когда ему что-то нравится, его глаза становятся сине-зелеными, как тогда в галерее Тейт, во время разговора о Тернере. Ну а принца все больше очаровывали ее изящные выразительные руки, необыкновенно быстрые и ловкие, и в то же время они выглядят такими беззащитными, когда лежат у нее на коленях, словно сизые голубки. Врач сказал, что у него повышенное давление, прописал снотворное, однако принц предпочитал не спать и думать о ней.

---

[178] Примечания: 178
Здесь: вероломными *(фр.)*.

Наконец, случай все изменил. Отец, перенесший второй серьезный сердечный приступ, написал ему, что пора бы подумать о службе, а также поискать жену. Что касается работы, то он предложил воспользоваться *piston*[179] (сам он предпочитал французскую культуру и считал англоманию сына не совсем разумной и крайне непатриотичной). Вторую же задачу, по мнению отца, человека умудренного, сын должен был решить сам. Вот так и получилось, что принц неожиданно стал начинающим дипломатом в своем любимом Лондоне, а юная леди получила официальное письмо, на самом деле предъявленное ее пожилой матери, в котором он имел честь объявить о своих намерениях в отношении Фозии и просил разрешения объясниться с оной. По-арабски он писал безукоризненно, но немного витиевато. Потом она призналась, что ее очень удивило определение «персона, о которой идет речь», какое-то время она с милым лукавством так подписывала свои любовные письма. Да, они получили высочайшее дозволение маменьки на свидание. Жребий, как пишут в плохих романах, был брошен. Добрый гений принца, вероятно,

---

[179] Примечания: 179
Протекция *(фр.)*.

услышал его молитвы и подсказал ему наиболее удачное из всех возможных мест для столь ответственной встречи. Он сказал ей, что ближе к вечеру заедет и что он приглашает ее на прогулку по берегу реки. И велел захватить с собой шаль, так как вечера иногда бывали очень холодные, а он хочет показать ей закат, прежде чем доставит ее в целости и сохранности домой в Кенсингтон. Он заехал, как договорились, но только не на машине, а в нарядном конном экипаже с кучером, на голове которого был котелок в викторианском стиле с кокардой. Довольно много таких экипажей с чудесными холеными лошадьми располагалось на специальной стоянке рядом с Букингемским дворцом — отличный выезд для сентиментальных туристов, которые обожают фотографироваться, сидя в чем-нибудь старинном. Одет принц был не слишком торжественно — как раз в таком костюме и нужно было любоваться лондонским закатом. Она же немного принарядилась и послушно одолжила у матери шаль — их не носили уже лет десять, поэтому шаль весьма раздражала ее, однако демонстрировать свою строптивость было рановато.

Ее покорила его оригинальная выдумка, но, усевшись в экипаж, она с трудом сдерживала

дрожь — от волнения и смущения. Она успела заранее порепетировать свой ответ на предложение руки и сердца — меняя тон, но так и не выбрала подходящий. Поэтому решила положиться на судьбу. Он тоже был смущен, но в глубине души почему-то чувствовал, что все будет нормально, и что каким-то парадоксальным образом успешность сегодняшнего объяснения будет зависеть не столько от него самого, сколько от Тернера. Принц начал сбивчиво, перескакивая с одного на другое, рассказывать о Тёрнере, о его затворнической жизни, о магнетической простоте его виденья, противоречившего канонам эпохи. С пламенным негодованием он цитировал Констебля. («Эти картинки годятся лишь для того, чтобы на них плевали».) И она трепетала, разделяя его боль и негодование. Безусловно, он прав, каким жалким слепцом был Констебль! Тут глаза ее возлюбленного опять обрели тот незабываемый сине-зеленый цвет, и она ощутила куда более сильный трепет тайного влечения, настолько мощного, что ей пришлось крепко стиснуть бедра, чтобы успокоить свою плоть. Выехав из парка, они оказались на мосту Баттерси, откуда видны были первые предвестники поздневесеннего заката с его воинственно-яркими

шафраном и кармином.

— Мы будем как раз вовремя, — сказал он.

— Вы всегда это делаете? — спросила она, и он с горячностью кивнул головой.

— С тех пор, как в первый раз увидел Тернера, — ответил он, — много лет назад. В разное время года он разный. — Он стиснул ее руку.

— Об этом никто не знает, потому что это только мое. Так сказать, мой личный запасник.

Потом он напустился на галерею Тейт за то, что огромное количество пейзажей Тернера они держат в подвале, не желая их выставлять. А потом обрушился на Рёскина за предвзятость.

— Позор! — воскликнула она.

Какой же была Темза широкой, как величаво несла свои воды под мощным устойчивым старым мостом. В это время по нему проезжало мало машин, и можно было услышать шорох волн, дальние гудки, даже голоса. Мачты судов плыли в вечернем небе. В умирающем свете дня вокруг принца и принцессы раскинулся Лондон. Следы от подков стали глубже, это когда они опять оказались на берегу, а вскоре кучер резко свернул направо, чтобы проехать мимо длинных угрюмых стен фабрики, у ее фасада, выходившего на реку, они позже познакомятся с вычурной

легендой о Серебристых Мучных Красавицах. По будням, если заглянуть в ворота, можно было увидеть мучнисто-белые фигуры, очень похожие на снеговиков, которые, казалось, совершали некий средневековый обряд. А по воскресеньям все тут было тихо. Лишь дети из бедных семей играли в вечные крикет и футбол на поле с вытоптанными проплешинами. Это был унылый, убогий, жалкий уголок, и принцесса невольно подумала: куда это мы направляемся? Однако ждать пришлось недолго, ибо церковь Святой Девы Марии все еще «сияла» тут, как виноградник Марфы,[180] среди мрачных уродливых фабричных корпусов и жилых многоэтажек. Когда они остановились у изящных железных ворот, за которыми был зеленый газон, она увидела, что с западной стороны виден огромный кусок неба, ибо там не было назойливо торчащих домов, которые отвлекали, мешали любоваться закатом. Она грациозно, как птичка, крутила головкой, осматриваясь.

— Вы все увидите Его глазами! — вдруг восторженно воскликнул он, чуть ли не с религиозным благоговением, и ей даже пришло в голову, не скрывается ли под его многословными излияни-

[180] Примечания: 180

Марфа *(библ.)* — сестра Марии и Лазаря из Вифании, последовательница Иисуса.

ями церковный фанатизм.

— Чьими? — переспросила она, заметно побледнев и с часто бьющимся сердцем.

— Его! — твердо произнес он, и больше не проговорил ни слова.

Итак, год 1777 встретил их за рекой в виде церкви Святой Девы Марии с четырьмя выразительными колоннами, поддерживающими, точно кариатиды, крытый портик. Шпиль, часы, зеленая колокольня — очень скромные, но полные живой прелести, все сооружение поражало тонким очарованием. Поистине это был райский приют, совершенный образ архитектуры деревенской церкви, истинный символ праведности. Грохот фабричного Лондона даже как будто стихал рядом с церковью, излучающей покой и чистоту. Трава у входа была свежей и блестящей, этот зеленый ковер был пришпилен к земле несколькими рослыми деревьями. Однако церковь занимала совсем небольшое пространство, его ограничивала мощная дамба, по другую сторону которой лежала пара кораблей, выброшенных на берег приливом и опрокинутых на бок, так что их мачты едва не забрались в сад. Принцесса не посмела воскликнуть: «До чего же красиво!» — это прозвучало бы слишком баналь-

но. Вместо этого она пробормотала по-арабски: «Безумие!»

И расположена церковь была так, как подсказало синее небо, не иначе. Чуть-чуть была развернута, чтобы фасад смотрел на дальние извивы реки, по берегам которой здесь, с западной стороны, рос густой лес, отчего линия горизонта была необыкновенно живописна, с множеством щелей, ажурных переплетений, перепадов высоты, сквозь которые пробивались лучи заходящего солнца. Этот волшебный вид, столь воздушный и хрупкий, едва ли изменился с того времени, как построили церковь и открыли приход Баттерси — за пять лет до возникшего у Блейка желания обвенчаться тут с его Кейт.

Мистер Крэггс, церковный служитель, терпеливо ждал их с ключами наготове — принц всегда звонил ему заранее, если погода предвещала красивый закат. Несмотря на строгие правила, мистер Крэггс рад был услужить принцу, так как получал щедрые чаевые. «Никогда не обижает», — говорил он благоговейно внимавшим ему завсегдатаям «Ворона» или столь же благоговейно выслушивающим его посетителям «Кувшина и бутылки» или «Старого лебедя», практически примыкавших к маленькой церкви. Принц вы-

читал у Теккерея, что соверен — «адекватная компенсация» за особые услуги, и хотя монета уже не была в ходу, каждый месяц банк, по его распоряжению, присылал двенадцать соверенов. Эти монеты творили чудеса. К тому же он крепко сдружился с Крэггсом, а теперь тот был очарован и принцессой тоже; он помог ей сойти, правда, немного неловко, ибо его мучил радикулит.

— Господин Ахмед, — сказал он, — отродясь не видал таких пригожих девушек.

Принц зарделся от гордости. Как раз в тот день Крэггс, к счастью, должен был отправиться на собрание Легиона — во всяком случае, так он сказал.

— Сегодня никак, бежать мне надо. — Однако заветное старое дубовое кресло уже стояло на нужном месте. — Но вам-то я доверяю, сэр, поставьте его потом, сами знаете куда, а ключ в ту дырку суньте, в стене которая. — Это был обычный их ритуал, принц молча кивнул в ответ. — Тогда приятного вам заката, — добродушно произнес Крэггс, обматывая шею шерстяным шарфом и водружая на голову шляпу-котелок. Эти манипуляции дали ему возможность вполне тактично помедлить, а принцу — достать из кармана в жилете «цельный соверен». Как всегда

Крэггс изобразил безмерное удивление, а потом, пообещав выпить за благополучие Египта и за здоровье леди, удалился. Было очень тихо. Они остались одни. Карету кучер перегнал поближе к пабу.

— Какой он добрый, — сказала она, преодолев пару лестниц, ведущих к балкону на фасаде. — Даже поставил для вас кресло. Теперь я все поняла. Вид отсюда действительно потрясающий!

Она уселась в неуклюжее дубовое кресло и стала смотреть поверх балконов «Лебедя» вдаль, на причудливо украшенную лесом линию горизонта, где медленно прогорал закат Тернера, постепенно тускнеющий в сумерках, тронутый тут и там огнем, словно всполохом тлеющих угольков.

— Нет! — сказал принц, на лице которого отражалось несказанное блаженство. — Вы еще не совсем поняли. Фозия, вы сидите в Его кресле, в *собственном* кресле Тернера, которое он завещал этой церкви! Он сидел именно на этом месте, изучал световые эффекты, бог знает, сколько лет… И теперь в этом кресле — вы…

Волнение душило его. Она здесь, в кресле Мастера — это было то самое место, откуда он начал великое странствие к своей сути. Это грандиоз-

ное интеллектуальное приключение — попытка стать самим собой! Его пальцы нащупали в кармане дорогое обручальное кольцо, — он заказал его в Нубии. Принц надел кольцо ей на палец, и она молча, опустив голову, тихонько потянула носом, наверное, чтобы не расплакаться. Он мгновенно почувствовал себя победителем.

— Конечно же «да»? — спросил он, не сомневаясь в ответе.

И она, его сизая голубка, проворковала:

— Конечно, «да». Ну, конечно же…

Он уселся на ступеньку у ее ног, и они стали ждать, когда на землю спустится темнота, робко держась за руки, не смея вымолвить ни слова, онемевшие от счастья. Даже когда настало время ставить священное кресло возле кафедры в темной церкви и класть ключи в «дырку», они продолжали безмолвствовать, боясь нарушить всю полноту гармонии, воплощенной в этих минутах. Ей казалось, будто заветное кольцо весит целую тонну.

Потом они медленно, не торопясь, ехали домой, и уже приближаясь к Кенсингтону, она вспомнила про шаль и обрадовалась, что захватила ее с собой. Все содержимое корзинки с ярлычком «Человеческое Счастье» просыпалось с весеннего

неба на их головы. Все так же молча, он проводил ее до дверей, а потом, отпустив карету, пешком отправился через весь Лондон к своему дому. У него было такое чувство, будто им с Фозией посчастливилось увидеть комету, осиянную шлейфом вдохновения художника.

…Оттуда, подумал принц, прислушиваясь к мерному стуку колес о стыки рельсов, всё и пошло, их брак стал предметом зависти менее удачливых друзей. Она попросила совсем еще молодого Фарука быть посаженным отцом — ее отец умер, родственников-мужчин не было, и она имела право воспользоваться его помощью, ибо Фаруку вскоре предстояло стать королем. Надо сказать, Фарук великолепно справился с этой ролью, покорив всех своей юной газельей красотой и великосветской обходительностью. До чего же он переменился, думал принц Хассад, гася сигарету. Ленивый, как гусеница, то впадает в ярость, то обливается слезами… Ну и судьба! А начало его правления можно было сравнить с дебютом Нерона, так великолепно все складывалось; он получил в руки власть и был еще полон идеалов. Принц тяжко вздохнул, когда теперешний образ короля сменил образ прежнего обворожительного юноши в его воображении.

Годы, проведенные тогда в Лондоне, где он служил атташе, были очень счастливыми. Судьба им благоприятствовала, Лондон им благоволил. Детишки были хорошенькими и смышлеными, никаких проблем.

Их все так же тянуло друг к другу, его маленькая жена продемонстрировала в этой сфере необыкновенные таланты и замечательную изобретательность. Когда она ждала второго ребенка, они удрали во Францию и там разыгрывали из себя вольных художников в *mas*[181] недалеко от Авиньона — два месяца счастья. Она тогда действительно дала себе волю. Запыхавшаяся, с растрепанными волосами, принцесса склонялась над горшками, пока он старательно нарезал овощи. В ее грудях было много молока, и он частенько делал глоток-другой. Тогда они не очень-то заботились о чистоте, не забивали себе голову лишними условностями, как жизнерадостные крестьяне. Ее волосы восхитительно пахли едой, а тело — пряностями и потом. Он обожал, когда она готовила *boeuf en daube*[182] а она обожала, когда он колол дрова и разжигал

[181] Примечания: 181
Сельский домик *(фр.)*.

[182] Примечания: 182
Тушеная говядина *(фр.)*.

плиту, это нравилось ей не меньше, чем его манера протирать очки. Он втягивал носом аромат волос своей аппетитно пахнущей женушки, как собака, вынюхивающая трюфели. Их счастливая, чувственная идиллия благотворно сказалась на маленьком сынишке. Когда он вырастет, то непременно воспользуется уроками родительской любви.

— Ты *так* меня любишь, — говорил он ей, — что наш маленький Фоад наверняка вырастет настоящим мужчиной, будет знать что и как.

Модные развлечения их не прельщали, но они все же побывали в Сен-Тропе, городишке, где от силы дюжина домов и где знаменитая мечтательница Квин-Квин открыла магазин. Она пыталась продать Фозии вульгарные духи, какие вполне могли бы продаваться на рынке. Нахальные духи, которые пристают к вам со словами: *«Me voici!»*[183] Принц очень сомневался в том, что его жена рискнет пользоваться ими в Лондоне.

— Ты распугаешь все посольство, — сказал он.

Естественно, как в каждой семье, у них тоже бывали сложные и даже критические моменты, однако они были преданы друг другу. Во время ее

---

[183] Примечания: 183
А вот и я! *(фр.).*

третьей беременности он заразился неприятной, правда, легко излечимой венерической болезнью от молодой фрейлины, недавно приехавшей из Каира, и был очень угнетен этим неприятным происшествием. Однако Фозия взялась сама за ним ухаживать со страстным усердием. Она как будто даже обрадовалась случаю продемонстрировать силу своей любви; чуть ли не благодарила его за то, что он предоставил ей возможность доказать ему: другой такой жены — самоотверженной и великодушной ему не найти. Его радости и удивлению не было предела. Он наконец осознал, на что способна настоящая женщина. И даже немного испугался. Смирившись с муками стыда, он отдался ее нежным заботам, как ребенок, радуясь, что его простили, что его так опекают. (Тем не менее, фрейлина очень скоро была отправлена обратно в Каир.)

Эта мелкая житейская неприятность не разлучила их, наоборот, даже как будто еще сильнее сблизила. Теперь он иногда позволял себе проявить слабость, потому что знал: она слишком горда, чтобы воспользоваться этим.

— Господи! — сказал он как-то. — Таких как ты больше нету! — Он и вправду так думал.

Она жестко улыбнулась, эта улыбка напомина-

ла усмешку искушенного ученого.

— Я люблю тебя, — пояснила она, как всегда, не очень логично, но емко, — не потому что ты мой муж, а потому что ты настоящий мужчина!

Он тихо повторил последние слова, но возражать не стал. Пусть она как можно дольше лелеет эту свою иллюзию. Потом она поцеловала его в лоб, и он заснул, разнеженный пылом этой материнской ласки. Ну а детям сказали, что «у папы разыгралась подагра».

Итак, жизнь текла спокойно и размеренно, пока не стало ясно, что его вот-вот, исключительно по «дипломатическому» закону тяготения, повысят в звании и назначат на пост, требующий большой ответственности и тяжелых трудов — и то, и другое было ему не по вкусу. И тогда они оба словно заново открыли для себя Египет, обнаружили, что Каир постепенно стал занимать гораздо больше места в их мыслях, чем прежде. Конечно, не столько, сколько Лондон, даже и сравнивать не стоило, просто обоим нужны были новые впечатления. Теперь, как только выпадала возможность, они проводили зиму в Верхнем Египте, и всегда очень не хотелось уезжать. Может быть, перебраться окончательно? Принц пытался приискать для себя местечко в Александрии, но

ничего не вышло. Оставалось либо посольство в Москве, либо в Пекине — обе вакансии были не слишком соблазнительны. И тут его осенило: что ему в конце концов эта служба? У него же свои огромные владения и три, а то и четыре старых дворца — отцовское наследство. В основном — это уже почти руины, окруженные прекрасными садами на берегах Нила. Вот и надо все приводить в порядок. Тот единственный дворец, который они реставрировали для себя, в сущности, был удобен и соответствовал их амбициям. Остальные же… у нее тотчас возникла масса идей. Архитектурные проекты стали ее любимой игрушкой, она постоянно импровизировала, а ему нравилось видеть, как придуманные ею сказочные дворцы воплощались в реальность, правда, в более скромном варианте — из кирпичей местного производства и цемента. Бизнес тоже требовал его постоянного присутствия в славном своей хитростью Каире. Он вдруг обнаружил у себя талант блефовать и проделывать тайные трюки: весь бизнес на Ближнем Востоке очень похож на игру в покер. С облегчением принц расстался с «протоколом» и «табелем о рангах», правила, ими предписанные, были на редкость идиотскими. К примеру, этикет требовал, чтобы чиновник более высокого ранга

находился всегда по правую руку, даже на улице, даже в такси. Вечно приходилось обегать людей и машины, чтобы соблюсти нормы — иначе приехавший вышестоящий чиновник обдавал тебя, нижестоящего, ледяным презрением или устраивал дипломатический разнос. Фу ты! С этим было покончено. Теперь принц мог всю ночь играть в карты, даже жульничать, если ему хотелось. Одним из первых достижений его независимой жизни стал крупный выигрыш (с помощью ловкого мошенничества) у лорда Галена, который считал себя прирожденным интриганом и игроком в карты, однако был наивен, как младенец, по части мошенничества. Последний километр до вокзала «Виктория» поезд еле тащился — никто не мог объяснить, почему. Однако благодаря этому встречавший хозяина Селим мог идти по платформе рядом с купе, изображая мимикой, как он рад. По старой памяти посольство прислало машину, и Селим, в качестве поверенного, привез принцу почту, он торжественно вздымал над головой три красных конверта с письмами от принцессы и во весь рот улыбался. Старательный тихоня и хитрец Селим был коптом, скрытным и неунывающим, как все представители этой загадочной то ли национальности, то ли секты.

Вообще-то улыбался он редко и почти всегда мрачно, главным образом, когда замечал чью-то неловкость или проигрыш — тех, кто был не так хитер, как он сам. Но дипломатом был первоклассным. По дороге к отелю «Браунз» они болтали, как старые друзья, и принц выкладывал ему новости, которые Селим жаждал услышать.

— Как я написал тебе в телеграмме из Женевы — не в той, что была *en clair*,[184] — лорд Гален несколько просчитался с Германией, но я съездил туда не напрасно. От очень-очень крупного чиновника я узнал, что еще какое-то время война не начнется. Пока они играют в мирные переговоры и пытаются в последнюю минуту найти решение своих проблем. А потом… — Он разрубил воздух ладонью. — Итальянцы? Они получили приказ ничего не предпринимать, чтобы не вызвать гнев арабов. Все это их наращивание сил — защитная реакция, британцы, и те не очень-то напуганы. Им известно, что итальянцы любят печь пироги из песка, — понарошку.

Так они беседовали, и Селим, не сводивший глаз с принца Хассада, в который раз восхищался его ясным четким мышлением. Еще сегодня

---

[184] Примечания: 184
Открытым текстом *(фр.)*.

нужно отправить как минимум две большие телеграммы, напомнил он хозяину.

Кстати, Абдель Сами-паша, давно отошедший от дел, пригласил его на ланч в свой клуб, а еще нужно попросить официальное разрешение на отправку личной телеграммы *en clair* госпоже. Об этом тоже не стоило беспокоиться, несмотря на большую загруженность линии в преддверии войны.

— Вот чего я не сделал, — сказал Селим, — так это не позвонил служителю из Святой Марии — похоже, день сегодня дождливый.

Принц ответил, что позвонит сам после ланча с Сами. Селим кивнул и, сверившись со своими записями, доложил, что больше у него нет никаких сообщений.

— Долго вы тут пробудете? — спросил он.

— Всего пару закатов! Потом вернусь в Прованс и попрошу «П. и О.» перевести все мои дела в Египет. Все уже организовано. Фарук пошлет королевскую яхту в Марсель. Как видишь, мой дорогой Селим, никаких проблем.

Они тепло обнялись, по-настоящему тепло — разве они не братья по оружию «в дипломатии»?

Наскоро обосновавшись в номере, Хассад взял такси и отправился на Берлингтон-стрит, где

в мрачных апартаментах своего клуба его поджидал Сами. Принц и Абдель Сами Паша не встречались довольно долго. Сами стал совсем седым и дряхлым. Принц ласково поздоровался:

— Ваше превосходительство, вы все почтенничаете, и я тоже. — В арабском есть такая формула вежливости. Поговорили немного о дипломатии, поспорили о европейских новостях. Старик объявил, что англичане собираются купить весь нынешний урожай хлопка, одной проблемой меньше.

— Однако, — печально продолжал он, — несчастный Египет, сплошные раздоры! Никакого единения. Каждый действует, как ему заблагорассудится. Англичан не любят все, это ясно, но кто же, кроме Махира,[185] любит немцев? Фарук привечает итальянцев, но лишь потому что они слабее даже нас… Ну и дела! — Они наслаждались отличным ланчем, запивая его не менее достойным вином. — Что же касается вас, молодой человек, — сказал старый дипломат, — то… я конечно, не смею упрекать, но… судя по дошедшим до меня слухам, вы ведите теперь очень… *бурную* жизнь!

---

[185] Примечания: 185

Махир-паша, Али (1882–1960) — премьер-министр Египта, ярый националист. *(Прим. ред.)*

Слово было подобрано удачно. Сами гордился своим умением всегда находить подходящее арабское слово.

— Действительно, очень бурную, — подтвердил принц, повесив голову.

— А что думает Фозия? — спросил Сами, любивший их обоих, как собственных детей.

— Она ужасно меня расстроила, и с тех пор все пошло наперекосяк, — тяжко вздохнув, ответил принц.

— Она изменила вам?

Принц глубоко задумался, даже отложил нож и вилку, и наконец произнес:

— Она стала журналисткой.

Сами молчал — но в этом молчании были сочувствие и поддержка.

— Господи! — наконец выдохнул он. — Неужели под *своей настоящей фамилией?*

Принц покачал головой; к счастью, придумала себе псевдоним. Но сам факт… это ничего не меняло.

— После этого мы очень отдалились друг от друга, не знаю уж почему. В Женеве мне сказали, что все дело в менопаузе, что это продлится три года, а потом пройдет.

— Тогда ничего страшного, — повеселев, произ-

нес Сами. — Если только это… Вот моя простата…

Беседа продолжилась за кофе с сигарами. В конце концов настало время прощаться, расставание было нежным и грустным — кто знает, когда еще они встретятся в этом неспокойном мире? Пошел дождь, легкий весенний дождичек, и стало казаться, что смотришь на мир сквозь запотевшее окно. Когда подъехало вызванное швейцаром такси, принц приказал шоферу ехать в Баттерси. Погода была плохая, вряд ли разумно выходить куда-то в пять часов, и принц подумал, не заехать ли ему сразу к «Симпсону» за пышками и за индийским чаем? Однако ему хотелось поскорее прочитать письма от любимой — и непременно в церкви Святой Девы Марии, чтобы можно было написать ей об этом в длинной телеграмме, которую сегодня отправит Селим. Наверняка церковь будет закрыта, но вдруг повезет, вдруг ключ окажется в «дырке»… Да, он был там! Замок со скрипом поддался. И принц вошел в пустую церковь, где пахло лаком и политурой. Сам не зная почему, он шел на цыпочках, возможно, чтобы не тревожить тамошних призраков. Дождь шуршал по крыше и шлепал по реке. Ветер шелестел листвой деревьев. Смеркалось. Принц уселся в кресло Мастера, чтобы прочитать бесценные

письма, полные не только любви образцовой жены, но и приятных мелочей семейной жизни — новостей о детях, об их зубах и экзаменах, о мелких ссорах. Нил впал в буйство и за одну ночь поднялся на пятнадцать футов, снеся башенку и шестиугольную башню, которую она строила специально для него — где он мог бы «отрешиться от суеты и предаться размышлениям».

— Да чтоб тебя! — воскликнул принц. Это выражение он перенял у своей няни. — Да чтоб тебя!

С горечью он припомнил те времена, когда сам был столь же фанатично предан своей жене, когда *любил* только ее одну. Много-много лет. А потом, в середине жизни, вдруг посыпались напасти: он стал бояться импотенции, простатита, ну и прочих, не столь глобальных неприятностей. Однако обсуждать все это с кем-нибудь, кроме психоаналитика, было невозможно, причем психоаналитика из его круга. А где такого найти? Вот уж проблема! Он даже ходил к знахарям — безрезультатно. Обычные же доктора давали обычные советы, прописывали тонизирующие средства с устрашающими названиями. Однако он надеялся, что прогнозы эскулапов окажутся верными, этот период восхитительных безумств минует, и он вновь обретет душевное равновесие.

Принц читал медленно, смакуя каждое слово, и вдруг совершенно неожиданно серая хмарь рассеялась, открыв путь последним лучам солнца. Убрав письма в конверты, благоухавшие жасмином, принц легким шагом подошел к двери и распахнул ее. Полыхало все небо! Как будто сам Тернер вернулся, чтобы поприветствовать его, подарить ему на прощание последний закат. Когда теперь ему удастся увидеть еще хотя бы один? Принц не стал возвращаться за тяжелым креслом, он сел прямо на ступеньку, жадно впитывая гаснущий свет солнца, плавно уходящего за горизонт. Вся картина напоминала чуть покачивающийся сияющий витраж. Это был подарок ему, он чувствовал это, — им обоим. И тогда он опять достал письма и стал целовать их — в память о милых сердцу мгновениях. Ему в голову пришла строчка: «Империя, где никогда не заходит солнце». Но вот теперь оно заходило над Англией! Еще одним знаком этого был воздушный шар, уплывавший на север — скользивший тяжело, неловко, неровно — все выше и выше над рекой. Чепуха все это! Настоящая Империя была в первую очередь в сознании людей, и она переживет все другие империи, по крайней мере, в это он верил. Солнце уходило за горизонт,

воздушный шар поднимался ввысь. Принцу пора было возвращаться в отель и продумать свои дела на конец недели. Благоговейно уложив ключ в «дырку», он направился к мосту.

В отеле он узнал, что Сами прислал со слугой снадобье — от его «состояния», как значилось на визитной карточке. На пузырьке была устрашающая наклейка на арабском языке, а внутри был «шерберт», обычное каирское лекарство от импотенции. Его называли «sfoum» из-за того, что он шумно пенился, когда его разбавляли водой. Одной дозы, решил принц, достаточно. Остальное он вылил в раковину. В тот вечер он погулял немного в парке, а потом взял такси на полчаса, чтобы полюбоваться городом: Пиккадилли, Оксфорд-стрит, Дворцом. Кто знает, когда он увидит их вновь? Прогулки прогулками, однако длинная телеграмма жене ушла вовремя, все как обещал Селим.

Глава восьмая
Прощание лорда Галена

Сразу по приезде в Прованс лорд Гален сделал широкий жест, пригласив всех на обед — что-то вроде собрания правления, чтобы объявить о банкротстве. Очень даже мило с его стороны; все поняли, что он, в сущности, человек добрый и наивный. Он не пытался скрыть свой стыд; стоял перед камином, где, по причине лета, были не дрова, а корзинка с голубой морской лавандой (жутко пыльной, но не поблекшей), и по старческой щеке катилась слеза. Вот какую картину застали гости, входившие в комнату — Феликс, Констанс, Блэнфорд и Сэм, великолепный в «героических одеждах». Так он называл свою армейскую форму. Старик протянул к ним обе руки, словно моля о сочувствии, ведь он так просчитался — жуткая, роковая трагедия! Блэнфорд почувствовал, насколько тот нуждался в дружеском участии, и его сердце раскрылось навстречу Галену. Макс выразил свое сочувствие тем, что громко высморкал свой фиолетовый нос и приготовил всем напитки — в основном, с виски

из старинного граненого графина, подаренного Галену одним деловым партнером, — у партнера был хороший вкус. Принц пока не приехал. Гален очень надеялся, что его высочество все-таки не будет во время обеда изводить его своим жутким хихиканьем.

— Нет нужды рассказывать вам о моей промашке, — произнес он кротко, нисколько не рисуясь. — Вам ведь все известно! Мыс принцем вовремя скрылись. Я потерял огромное состояние и предал своих. В Манчестере больше никто не будет со мной разговаривать.

Он понурил голову.

Гален действительно подготовил их заранее, прислав Констанс соответствующий документ вместе с приглашением на обед. Так что сказать им было нечего, тем более что в тот момент он был необыкновенно мил.

Вздохнув, он обернулся, чтобы поставить бокал на каминную полку; и жалкая развалина, в которую превратился его старый кот Вомбат, злобно зашипела. Это напомнило Галену о глумливом хмыканьканьи принца, и он нахмурился.

— Случилась беда, — признал он, — причем исключительно по моей вине. Я, как пришибленный петух, потерял всякий кураж. Именно так

— потерял кураж!

Он наклонил голову набок и действительно стал похож на старого бойцового петуха с поникшим гребешком.

Робко, словно стыдясь своей непростительной молодости, они подняли бокалы, чтобы чокнуться с ним и выразить свое сочувствие и любовь; и в этот момент послышалось характерное громыхание въезжавшей во двор кареты принца. Вся она сверкала свежим лаком, даже лошади были вычищены до блеска и украшены в лучших традициях старинных представлений. В последний раз нечто подобное Блэнфорд видел в театре «Олд Вик», когда Золушка уезжала на бал в преображенной тыкве. С миниатюрным принцем приехал Катрфаж. Он очень сдружился с египтянином, а тот держался с приятельской фамильярностью, то и дело обнимая его за плечи. (*«Il est redoutable, le Prince,* — предупредил Блэнфорда изможденный юноша, — *il connaît tous les bordels de la région».)*[186] Ничего удивительного в этом не было — принц, будучи хитроумным египтянином, буквально через пару дней после приезда, под каким-то предлогом зазвал к себе

[186] Примечания: 186

«Его следует опасаться, этого принца… он знает все публичные дома в округе» *(фр.).*

начальника полиции и пригласил его покататься в экипаже. И теперь его знания злачных мест (в сравнении с весьма ограниченными познаниями самого Катрфажа) были поистине энциклопедическими. Однако лорд Гален, при всем своем почтении к голубой крови принца, стойко отказывался от участия в его амурных похождениях.

— Он может позволить себе маленькие шалости, — говаривал Гален, с хитрым видом склонив голову набок, — а мне необходимо спать восемь часов!

Принц, обладавший тактом не менее тонким, чем у джентльмена старой закваски, не настаивал. Он регулярно позволял себе «юридически законные» вылазки, абсолютно уверенный, что, помимо статуса дипломатической неприкосновенности, его охраняет почтительный начальник полиции *des Moeurs*[187] который, не стесняясь, звонил ему в отель и предлагал вместе повеселиться. Однако за короткий промежуток времени принц оброс и другими знакомствами, которые не совсем устраивали лорда Галена. Есть нечто неопределимое, что выдает джентльмена,

---

[187] Примечания: 187
Нравов *(фр.)*.

принадлежащего к *milieu.*[188] Некая ленивая небрежность присуща ему, но за ней чувствуется мощь. Эти флюиды исходят от крупных банкиров или от тех, кто курирует государственные проекты, не давая им ходу, от преступников международного класса, от дипломатов, от папы римского. В отеле принца теперь обитало множество мрачных молчаливых персонажей с повадками оракулов, он запирался с ними в номере, обсуждая дела или (кто знает?) еще не испробованные удовольствия. Тяжелая завеса тайны нависла над обитым бархатом двойным люксом принца. Телефон звонил, не умолкая. Они улыбались, эти темные косматые личности, но в их улыбках не было доброты, они вызывали мысли о крепе, которым обтягивают гроб.

— Интересно, *кто* эти люди, — в недоумении говорил старый Гален. — Я спрашивал его, а он говорит — партнеры.

Его немного расстраивала скрытность принца, и еще он опасался, как бы тот за его спиной не провернул выгодное дельце. Ну и пусть, хватит расстраиваться, решил он. В теперешней предвоенной ситуации он сделал самое лучшее

---

[188] Примечания: 188
Здесь: преступному миру *(фр.).*

— вернулся домой, не убоявшись критики. В конце концов, мало кто с ним может тягаться; а эту его чудовищную промашку, не исключено, еще удастся замять. И все же, лежа ночью без сна, он не мог справиться с гнетущими мыслями, его одолевала печаль; и в сгущающихся безмятежных сумерках, обволакивавших все кругом, вновь накатывала мучительная тоска по пропавшей дочери. Все его стоившие безумных денег изыскания до сих пор не принесли ничего конкретного, хотя временами Катрфаж намекал на то, что разгадка совсем близко, причем он имел в виду не только тайну исчезновения его дочери, но и более значительную — тайник, где спрятаны сокровища тамплиеров. Этот заманчивый проект и привлечет к лорду Галену (чего он никак не мог предвидеть!) непрошеное внимание нацистов, которые, похоже, не меньше самого лорда Галена были склонны к романтическим авантюрам.

Однако все это пряталось за высокими крепостными стенами будущего, сегодня же предстояло тихое мирное действо, окутанное атмосферой прощания. Лорд Гален пригласил всех на лучший из обедов, какой можно было приготовить из местных продуктов, и молодые гурманы из Ту-Герц отдали ему должное. Однако после угощения

старик расстроил их следующим сообщением:

— Я только что принял решение, послезавтра возвращаюсь в Лондон. Тучи сгущаются, я чувствую, что должен быть на посту в моей старой Англии, если уж ей выпадет жребий быть втянутой в войну.

Им и вправду руководил патриотизм, приправленный однако благоразумием: лучше быть поближе к своим инвестициям. (На самом деле, как принц объяснял Катрфажу, он едет совсем не в Лондон, а в Женеву.) Ему приходилось быть осторожным, чтобы не поползли слухи. И все же какая-то часть его «я» действительно ощущала все более горячую привязанность к старушке Англии. И нынешним вечером он с нежной теплотой говорил о том, что будет после гипотетической войны — даже теперь война все еще казалась безумием, втайне люди надеялись, что в последний момент найдется какой-нибудь компромисс, или произойдет вероломное убийство, которое повернет события вспять.

— Мы должны упорно двигаться к более высокой справедливости и великому равенству возможностей, — проговорил старик, похоже, не ведавший, что подобные утопические идеи были уже высказаны раньше.

Он словно заряжал эти сентиментальные клише собственной наивной верой. В такие моменты грудь его так раздувалась от эмоций и высоких помыслов, что, казалось, он вот-вот взлетит. Он мечтал дать миру еще один шанс. Обычно такое случалось после обеда, когда он оставался наедине со своей гладкой, как шелк, Джульеттой и *fine à l'eau.*[189]

У принца тоже был грустный вид, он был погружен в собственные мысли; он не любил прощаться, а теперь, похоже, настала пора расставаний — и как раз когда он вышел на несколько весьма многообещающих и полезных партнеров. Когда Гален в первый раз попытался выведать, кто они, эти его новые знакомцы, принц ответил уклончиво, не хотел пугать старика. А еще он решил сначала сам хорошенько прощупать новых друзей. Он тщательно изучал их фотографии и сведения о них в полицейских досье, предоставленных ему шефом жандармов. А самому шефу предложили отличную должность с прекрасным жалованием в Каире, чтобы он учил уму-разуму египетских полицейских. Ситуация складывалась неплохая — вот только война могла все

[189] Примечания: 189
Здесь: старым коньяком с водой *(фр.)*.

испортить; знать бы наверняка, что Франция останется свободной… Он представил фотографии своих новых друзей: Понтия, Мерлиб, Зогхеб, Аккад… Замечательная галерея. Мощные челюсти, взгляды, точно у каракатиц, всклокоченные волосы, носорожьи носы! Великолепно! И что удивительно: все выглядели, как крупные церковные чины, папы римские в мирской одежде. Принц мысленно погладил эти образы, будто воображаемых котов. Наверно, надо немного помучить Галена. Он издал короткий сухой смешок и увидел, как хозяин весь напрягся от боли.

— Вы спрашиваете о моих теперешних партнерах? — произнес принц. — Интересно, вас удивит то обстоятельство, что все они — бывшие епископы, аббаты, капелланы и приходские священники — *церковники!*

Гален и вправду удивился, а принц демонстративно захихикал еще раз, но потом ударил ладонью по колену и, не выдержав, рассмеялся, уже искренне, глядя в потолок. Он был похож на пьющего воду цыпленка. Катрфаж, посвященный в «шутки» принца, тоже издал уничижительный смешок. Однако Гален понял, что над ним подтрунивают.

— Неужели? — переспросил он не без раздра-

жения, но и не без радости.

— Мой дорогой, — отозвался принц, — я подавился смехом. Не обижайтесь, со мной такое бывает. Давлюсь. То от смеха, то от волнения. *Они все великие преступники.*

— *Преступники!* — эхом отозвался Гален, со свистом втянув воздух. — Вы сотрудничаете с преступниками?

— Увы, — сказал принц, — я бы и рад, они могут оказаться очень полезными людьми. Однако теперешнее положение в мире таково, что я не имею права рисковать даже малой частью государственных средств, казной Египта. Проклятая война…

Да, видимо, любые рассуждения о чем бы то ни было, неизбежно упирались в *cul de sac,* в глухую кирпичную стену предвоенного положения.

Принц поведал обществу, что когда этих великих преступников стало опасно держать за решеткой, французское правосудие сплавило их в ссылку, избрав для этого три славных города: Тулузу, Ним и Авиньон. Им запретили возвращаться в Париж. Зато в этих городах они могли жить на свободе, лелеять свои идеи. Ему повезло, добавил он, что Авиньон тоже вошел в эту тройку. Это позволило ему запустить несколько очень

важных проектов — в качестве представителя египетских компаний. Гален слушал его с вытаращенными от ужаса глазами.

Довольный произведенным эффектом, принц позволил себе несколько расцветить свой лапидарный английский.

— Все они получили отменное воспитание, — продолжал он, всех удивляя, — однако почти каждый ни за что не отказал бы себе в удовольствии приговорить соперника — к смерти. — Он, выдержав паузу, уточнил. — Сначала забили бы его насмерть, а потом сбросили через средневековый *oubliettes'*[190] в Рону, — проговорил он так, словно река кишела трупами.

— Боже мой! — воскликнул лорд Гален, потрясенный подобным смакованием подробностей. — Какая оригинальная идея!

Он был заинтригован столь радикальными новшествами в борьбе с конкурентами.

Последовало еще несколько душераздирающих подробностей, но, честно говоря, Блэнфорд почувствовал, что вечер обретает некую вялость, словно ему переломили хребет приближающаяся война и неизбежные расставания. Луна стоя-

---

[190] Примечания: 190
Каменный мешок *(фр.)*.

ла высоко, и виноградники, полные зреющих гроздей, сонно замерли, не тревожимые ветром. Катрфаж впал в задумчивость и погрустнел, когда Гален сказал ему, что в ближайшую неделю ему придется закрыть свой авиньонский офис и перебраться обратно в Лондон.

— Так скоро? — спросил он, и Гален решительно кивнул.

— Знаю, как это трудно, но интуиция подсказывает мне, что пора отсюда уезжать.

Так оно и было; на сей раз интуиция его не подвела. И как нарочно погода в этом году была очень благотворной для лозы, никогда еще прогнозы на урожай не были столь благоприятными.

— Я бы, конечно, мог дождаться *vendanges*[191] — произнес принц. — *Après tout*[192] Египет сохранит свой нейтралитет, так что я волен поступать, как хочу. Однако, боюсь, мне тоже придется уехать. Королевская яхта не может ждать вечно.

Он с вожделением подумал о зреющих молодых лозах, которые гордо вздымали свои роскошные зеленые гривы над пологими склонами и уступами горных террас, раскинувшихся вокруг; но с

---

[191] Примечания: 191
Сбор винограда *(фр.)*.

[192] Примечания: 192
В конце концов *(фр.)*.

не меньшим жаром он представил лозы старые, вновь нагнетающие пропущенный сквозь себя свежий сок в золотые гроздья, в тысячи гроздей на сотнях квадратных километров по обе стороны быстрой зеленой Роны. От одной мысли об этом принц почувствовал жажду. И неожиданно повеселел, как неунывающий кузнечик.

— Вам действительно пора домой? — переспросил он, и вновь Гален решительно кивнул. — Что ж, так тому и быть, — сказал принц, вздымая к небесам маленькие ручки, словно закрывая тему обращением к Аллаху, у которого на все его собственная воля.

— Однако как бы чего не упустить, — забеспокоился лорд Гален, вытаскивая из нагрудного кармана крошечную алую книжечку, где записывал намеченные дела — меленькими каракулями. — Надо еще сходить к Имхофу и поиграть с ним. — Уже два месяца он не был у него в Монфаве, ему, верно, очень там тоскливо — среди психов и психиатров. Ему нравится играть в поезда! — Поезда — таинственно оживающие модели на миниатюрной железной дороге, которую главный врач позволил сконструировать Имхофу в ближнем углу больничного сада. Однажды лорд Гален пригласил Блэнфорда с собой, собравшись

навестить бывшего коллегу.

— Мне кажется, вы действуете на людей успокаивающе. Человек вы молчаливый, но стоит вам заговорить, сразу чувствуется, что вы питомец частной школы. Имхофу будет приятно.

В этом был весь лорд Гален — он мог произносить несовместимые вроде бы вещи, но у него это получалось очень естественно, с прямо-таки завораживающим феноменальным простодушием, отражавшим наивность и неискушенность его ума.

— Ужасно, наверно, — продолжал старик, пока они с Блэнфордом торопливо шагали вдоль зеленых газонов в сторону клиники Монфаве, утопавшей в розах, — быть обреченным испражняться через трубку в животе в резиновый пакет. Но он как будто не обращает на это внимания, он всегда *веселый.* А ведь Имхофу столько пришлось пережить. — И он стал рассказывать о том, как его партнер постепенно впадал в безумие, подробности были до того колоритными, что лишили Блэнфорда обычной его невозмутимости и заставили с подозрением взглянуть на лорда Галена: уж не стал ли он жертвой тщательно скрываемого чувства юмора. Но нет, старик был вполне серьезен. Никакого розыгрыша. Он всего

лишь описывал первые симптомы болезни Имхофа. — Тот ходил по магазинам и спрашивал, что сколько стоит. А потом начинал смеяться скрипучим смехом и убегал. Люди пугались до смерти.

Имхоф оказался коренастым рыжим мужчиной. Он был похож на огородника или станционного смотрителя в своем черном мятом костюме и с тяжелой дешевой цепью от часов. Он был небрит, и от него несло дешевым табаком. Когда они приблизились, на лице его не отразилось ни малейших эмоций, он смотрел на лорда Галена с тупым равнодушием. Тем не менее, его железная дорога действительно была хороша: несколько больших вокзалов, много паровозов и вагонов. Видно было, что он ею гордится. Однако одному совладать с такой махиной было сложно, поэтому Имхоф что-то радостно пробурчал, когда лорд Гален принялся виртуозно управляться со стрелками и станциями, с паровозами и пассажирскими составами. Они не разговаривали, лишь счастливо пыхтели и покрикивали, словно забывшие обо всем на свете дети — они отлично друг друга понимали. Стоя на коленях, гоняли поезда то в одну сторону, то в другую. К чему слова, если за дело взялись мастера? Блэнфорду сделалось немного не по себе. Он посидел на скамейке,

потом прошелся по великолепному саду из роз, благодаря которым заведение получило свое имя. Из-за изгороди, увитой живыми цветами, вышла худенькая хрупкая девушка с узкими, изысканной формы, руками. Она шла навстречу, кутая хрупкие плечи в шаль. Темные волнистые волосы обрамляли прелестное, но слишком уж худое лицо; туфли были нарядные, на очень высоких каблуках. Улыбаясь, она медленно приблизилась к нему и спросила:

— Ты вернулся? Ну, и как там Индия? Я умираю от любопытства. Там у них все спокойно? Ночью мне показалось, будто в соседней комнате ходит Пьер, но когда я прибегала, несколько раз, — его не было. Ты встречался с ним в Индии? Аромат магнолии все еще помнит меня?

Блэнфорд растерялся, не зная, что сказать. Понятно, что она тоже безумна, но все же говорила вполне осмысленно, а бледное лицо было невыразимо прекрасным.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, Блэнфорд тщетно пытался найти подходящие для столь необычной ситуации слова. Нежно ему улыбнувшись, девушка по-свойски взяла его под руку и уверенно заявила:

— Конечно же, вы встречались. Иначе и быть

не могло.

Не придумав ничего лучшего, Блэнфорд кивнул. Они сделали несколько шагов, и за клумбой он увидел открытое двустворчатое окно, доходящее до пола, а за ним комнату, убранную со старомодной роскошью. На стене висел гобелен, в углу стоял концертный рояль. Ножницы и ваза с цветами на террасе — теперь он понял, чем она занималась, когда ее отвлек звук его шагов по гравию.

— Я все время знала, — вновь заговорила она, — я знала, что ты привезешь мне весточку от него, от Пьера.

Тут совсем низко над их головами пронеслась стайка птиц, и от шелеста их крыльев девушку охватил ужас. Ее лицо помертвело, в широко распахнутых глазах вспыхнул панический страх.

— Это всего лишь птицы, — сказал он, чтобы успокоить ее, но она не сводя с него дикого взгляда, повторяла и повторяла:

— *Всего лишь* птицы? Что ты такое говоришь?

Плотнее натянув шаль на худенькие плечи, она торопливо зашагала в сторону террасы и открытого окна. А он стоял, не двигаясь, пока не услышал щелчок замка. Продолжая думать об этой девушке, он вернулся назад, к железной до-

роге, лорд Гален и его коллега, будто две гориллы, ползали по земле, с необыкновенной ловкостью, похрюкивая от удовольствия, они гоняли туда-сюда паровозики.

Прошло целых два часа, прежде чем Гален опомнился; он словно очнулся от глубокого и абсолютно счастливого забытья и сразу двинулся прочь от Имхофа, с полным равнодушием смотревшего, как он удаляется. Когда Гален скрылся из виду, бедняга вернулся к своей игрушке. Манера речи, привитая Блэнфорду частной школой, не пригодилась. Собственно, до речи дело вообще не дошло, настолько гармоничным было общение любителей железной дороги, настолько увлечены они были своими паровозиками. На обратном пути Гален, вздыхая от переполнявших его чувств, посетовал:

— Бедняга Имхоф. Я часто думаю о нем. Одна промашка, и вот что с человеком стало. Роковая ошибка! Рассказать вам? Это случилось, когда в Англии было туго с водой — скандал! Все газеты только об этом и писали, правительство призывало экономить воду. Писаки начали долдонить, будто во всем виноваты английские ванны, напечатали статистические данные о миллионах тонн напрасно изведенной воды. Вот тогда-то Им-

хоф и надумал скупить все биде — сотни тысяч. Он считал, что если в Англии приживутся биде, то люди начнут обходиться одной ванной в неделю. Экономия воды — потрясающая. Я забыл детали, помню только, что он потратил миллионы на рекламу своей идеи и одновременно не жалел денег на биде, скупал их везде, где только мог отыскать. Огромные партии, ожидавшие на складах своей очереди пересечь Ла-Манш. — Старик печально хмыкнул. — Они и теперь там. Похоже, он не понимал, что бороться с национальными традициями — дело безнадежное. А он — биде!

Припомнив тот визит в лечебницу, Блэнфорд с жалостью подумал об Имхофе. Старик тем временем тщательно обрезал сигару и зажег спичку, затем откинулся на спинку кресла и улыбнулся гостям. Искренним раскаяньем он искупил свою вину, и теперь чувствовал себя намного спокойнее, хотя конечно же ему было грустно и больно из-за всей этой истории. Констанс и Сэм говорили мало, чувствовалось, что до других им нет дела, так же как и до беспредметных разговоров. Однако Констанс терзали апатия и уныние, удивлявшие ее самое.

Они были похожи на людей, живущих на склоне вулкана, Везувия или Этны, готовых к

тому, что знакомый привычный мир взорвется под напором сил, неподвластных их воображению. И все же продолжали, чисто автоматически, придерживаться светских правил, как римляне серебряного века, когда готы уже разрушали стены цивилизованного мира. Словно почувствовав ее апатию, равнодушие обреченности, лорд Гален погладил ее руку и тяжело вздохнул.

— Если это будет продолжаться, — проговорил он, и все поняли, что он имел в виду, — деньги станут не нужны. — Он оглядел стол. — И очень жаль. Они доставляют нам столько удовольствия. В самом деле, в деньгах есть нечто вдохновляющее.

Странный он выбрал эпитет, но было понятно, что имел в виду. Ох уж эти деньги, подумал бедный Феликс, пошевелив пальцами в вечерних туфлях. От ночных прогулок у него все пальцы в мозолях. Увы, все упирается в деньги — вот бы достать немножко. Блэнфорда охватила паника.

— Наверно, от всех вложений ничего не останется? — с тревогой спросил он. Принц кивнул.

— Кто знает, — сказал он. — Кое-какие сохранятся. Если у вас есть акции в военной промышленности…

Лорд Гален попросил Макса завести старый

граммофон и поставить его любимый вальс из «Веселой вдовы», которым обычно завершал церемонию обеда. Все перешли на тихую террасу, где уже стояли напитки, и легкие, и покрепче, и был приготовлен табак для трубки Сэма. Забавно, что никто не спрашивал про Ливию, и Блэнфорд вдруг подумал, что им что-то известно о ней — может быть, это *тактичное молчание.* Но ведь и о Хилари тоже никто не говорил. В бокалах отражался свет луны. Ветра не было, но вдали, над горами, изредка вспыхивали летние зарницы, словно там началась бомбардировка, — зарницы, предвестницы гроз, обычно появляются в конце лета и осенью. Принц спросил Блэнфорда, не желает ли он посетить Египет?

— Я был бы счастлив предложить вам должность моего личного секретаря. Будете жить во дворце и встречаться, так сказать, со сливками общества. У нас очень красиво.

Предложение было неожиданным и заманчивым, будоражило воображение. Он попросил время на раздумье. Поскольку личные проблемы были еще не улажены, так ему казалось, то было страшновато решиться на эту авантюру, весьма интересную, ведь ему предлагали не что-нибудь, а пост личного секретаря принца. Наверняка

весьма полезный опыт.

Потом принц обернулся к Феликсу Чатто. Они под руку прошлись по террасе, потом по траве. Феликс был польщен: принц обращался с ним, как с высокопоставленным дипломатом, будто он владел государственными секретами высшей важности. Сначала его высочество кратко изложил свое мнение о нынешнем политическом и военном положении, а после с обезоруживающей почтительностью и вниманием попросил Феликса высказать его соображения. Феликс постарался не ударить в грязь лицом и представил впечатляюще полный анализ, столь милый сердцам дипломатов и эпохальных писателей. Ну, разумеется, все зависело от тех-то и тех-то Если, Когда и Но. Принц пылко его поблагодарил.

— Через несколько дней, — сказал он, — я собираюсь устроить небольшой *кутеж.* После отъезда лорда Галена. Не обижайтесь, мой дорогой, если я не пришлю вам приглашение. Это будет несколько продвинутый кутеж, а вам в этом мрачном городке необходимо заботиться о своей репутации. Так что не обижайтесь. Вы все поймете, когда поговорите с вашим другом Катрфажем.

Однако Феликс не нуждался в пояснениях, он и без Катрфажа отлично понимал, что принц

подразумевает под кутежом.

— Мне надо, скажем так, расплатиться с моими новыми друзьями, — пояснил человечек, и юный консул тут же мысленно их представил: крокодилы, муравьеды и бабуины, наряженные в черные костюмы, невообразимые галстуки, пальцы, поросшие черной шерстью, унизаны перстнями.

— Я понимаю, — вполне серьезно, в тон ему, ответил Феликс, — более того, я чрезвычайно польщен, сэр, тем, что вы сочли необходимым объяснить мне все это.

Принц стиснул его руку и еле заметно усмехнулся.

Разошлись все довольно рано, охваченные унынием и ощущением потери. Лорд Гален чувствовал, что это их последняя встреча, что больше они не соберутся за его столом и, видимо, поэтому постарался придать обеду оттенок прощальной церемонии. Он произнес тост в честь принца и Египта, который все с удовольствием поддержали, принц был тронут, он этого не ожидал. В ответ его высочество предложил тост за его величество короля Англии. Он даже подскакивал от усердия, когда произносил его, очень живо и искренне. При дворе принца принимали с величайшей добротой, которая показалась ему вполне

естественной, без тени светского лицемерия. А одна из юных представительниц королевского семейства вызвалась быть его ментором и Музой. Чатто же он признался, что Англия больше всего покорила, тем, что там можно делать практически все что угодно, не попадая при этом на страницы газет. Чувствуешь себя защищенным. А у них в Египте журналисты социалистических и коммунистических газет всюду вынюхивают скандалы.

— Им не нравится, когда люди из высшего общества позволяют себе повеселиться. Почему марксисты так любят портить другим удовольствие? Я никогда не мог этого понять, вспомните, какую жизнь вел Энгельс.

Печальный Макс подогнал машину, и все с искренним сожалением попрощались с принцем. Когда им теперь удастся свидеться? Этого никто не знал и не мог знать.

Обитателей Ту-Герц отвез Макс — в старой развалюхе лорда Галена; а Катрфаж и Феликс, жившие в городе, получили приглашение прокатиться в экипаже. Ехали в дружелюбном молчании; принц сосредоточенно ковырял в зубах серебряной зубочисткой — весьма элегантной. Он не произнес ни слова о кутеже, пока

ставший более звонким стук лошадиных копыт — о каменную мостовую — не подсказал, что его попутчики почти дома.

— Маленький кутеж, о котором я говорил, — сказал он Катрфажу, — будет в конце недели, возможно, когда лорд Гален покинет Францию.

Катрфаж спросил, не нужна ли помощь. Нет-нет, все будет организовано на официальном уровне.

— Так гораздо спокойнее. Но надеюсь, вы почтите нас своим присутствием. Думаю, подобное событие запомнится надолго и скрасит ужас предвоенной нестабильности, которая не позволяет нам о чем-либо думать и что-либо планировать. Мне всё время звонят из дворца Абдин, сообщают новые слухи и сплетни, настаивают на скорейшем возвращении. Королевская яхта уже в Марселе — ждет под парами. А я считаю, что они зря паникуют.

Остальные участники обеда предпочли высадиться в Тюбэне, чтобы пройти остаток пути по глубокой, освещенной луной пыли, под кронами платанов и лаймов. И для разнообразия помолчать. Тишина не всегда полна отчаянья; почему бы ей не предвещать мирное будущее, не быть тишиной перед первыми звуками ор-

кестра? Констанс по очереди сцепила мизинчик с мизинцами каждого из компании и теперь шла, задрав голову, подставив лицо лунному свету. Навстречу выехал, мелькнув несколько раз между деревьями, как светлячок, мотоциклист, и затормозил прямо перед ними. Это был сын почтальона из Тюбэна. Он привез им позднюю телеграмму, но никого не застал дома. Послание предназначалась Сэму, и все знали, что в нем: дата отъезда. Сэм дал парню чаевые, пожелал ему спокойной ночи и только после этого распечатал телеграмму. Блэнфорд чиркнул спичкой — желтого огонька оказалось достаточно, чтобы разобрать текст. Сэм вздохнул.

— Я уезжаю в воскресенье, — произнес он радостно; и его радость была понятна. Лучше уж знать наверняка — по крайней мере, можно внутренне подготовиться. Да, они все почувствовали себя более подготовленными к грядущему. Теперь было понятно: до разлуки оставалось несколько дней. Констанс собиралась вернуться в Женеву на работу — с Сэмом они расстанутся в Париже. Блэнфорд еще какое-то время пробудет в Авиньоне (со своим автомобильчиком, который находился в гараже в ремонте), посмотрит, как будут развиваться события. Никогда еще он

так остро не ощущал свою никчемность, такую неуверенность в завтрашнем дне. Предложение принца было весьма заманчивым, но война могла все повернуть по-своему. Предположим, его призовут в армию, а так как он человек честный и порядочный, то вскоре будет маршировать в форме, как Сэм. И никаких вам Египтов.

Они гуськом прошли под корковыми дубами с белоснежными кронами и со скрежетом повернули ключ в высокой парадной двери. Привычным милым запахом повеяло из темноты: ароматами давно забытых трапез, трав, садовых цветов, а еще дом хранил запах паутины и сгоревших свечей. Им вдруг стало обидно просто лечь, не выпив чего-нибудь. Зажгли в кухне керосиновую лампу и уселись под ее теплым желтым светом за начисто выскобленный стол, чтобы попить чайку и сыграть в карты, в кункен. Блэнфорд предпочел чаю бокал красного вина, несмотря на поздний час и свою теперешнюю благоразумную воздержанность. Было уже совсем поздно, когда они наконец пожелали друг другу спокойной ночи, но и тогда, взглянув на мерцающий в лунном сиянии сад, он подумал, что стыдно идти спать, и отправился к пруду. Некоторое время он молча плавал в ледяной воде, и шелестящие водяные

крылья струй смыкались над ним, обрушиваясь, точно мгновенный дождь. Закрыв глаза, он, будто наяву, увидел мысленным взором черный магнетический свет, исходивший из земли: то ли где-то среди деревьев и виноградных лоз, то ли он струился на каменных пустошах и усыпанных мелким щебнем горах, над долинами из слоистого сланца. Среди здешних беспорядочно разбросанных усыпальниц, в которых покоятся черепки, обломки ветшающих гор, Ван Гог гонялся за демоном черного полуденного солнца — и нашел его в своем безумии. Только находясь здесь, можно понять, почему все это с ним происходило. И только здесь сам Блэнфорд начал понимать, насколько разные два вида искусства — живопись и литература.

Живопись воздействует одновременно на мозг и на глазной нерв, напрямую посылая раздражающий импульс, тогда как слова многозначны и более или менее приблизительны, они заложники ассоциативных связей. Слова завораживают, чаруют, норовят подчинить себе описываемые вещи, словесные чары изначально лукавы, лишены искренности. Слова — инструменты волшебника Мерлина или Фауста. А живопись чистосердечна, она не предает, она искренне восхищается, она

наполняет отображенные предметы вдохновением, не творя насилия. Довольный своими несколько сумбурными умозаключениями, он отправился обратно в дом. Ему вдруг стало очень холодно, весь дрожа, он торопливо юркнул под одеяло, даже не стал снимать носки. Хорошо бы немного почитать, ведь так ослепительно прекрасна была луна за окном… но сон был уже неодолим. Он резко уронил голову на подушку, будто ее отрубили.

Внизу, в сонном городе, проконсул отправился на покаянную прогулку — от одного мрачного бастиона до другого; из-за лунного света тени стали еще темнее, еще более похожими на огромные непроницаемо-черные пещеры. Сейчас из какой-нибудь, мечтал он, выйдет обворожительная цыганочка и бросится ему на шею; однако гораздо более вероятной была встреча с разбойником. Феликс сжимал в кулаке скаутский перочинный ножик, который он носил с собой, собственно, не в качестве оружия, а в качестве вполне мирного орудия — чтобы нарезать веревки для бандеролей. Предстоящая война, как ни странно, не печалила его, а радовала, и ему было стыдно. Естественно, он никому не признался бы в своей радости, ведь он никому не желал зла и сам был

слишком труслив, чтобы мечтать об оружии — на самом деле он боялся винтовок. Однако война такова, что как только она начнется…

Если бы он надумал спародировать довольно напыщенные формулировки Блэнфорда, то это звучало бы примерно так: реальная суть войны (смерть), такова, что как только она начнется, все сразу поймут, насколько бесценна обычная жизнь, которая теперь кажется замшелой и рутинной — потому, что ею никто не рискует. Речь не о том, чтобы отыскать чистый ключ, нырнуть в него *a la* Брук,[193] нет, просто в эту удушающую затхлую эпоху всем необходимо глотнуть наконец свежего воздуха. Если бы война началась, он бы тут же записался в армию и с радостью принял бы все тяготы армейской жизни. Ему было бы приятно подчиняться жесткой дисциплине, ибо от свободы кружится голова. Неожиданно понимаешь, что смотришь в пустоту. Пустота это и есть твой портрет! Много позднее он поймет, что такое же чувство испытывала вся нацистская молодежь!

Кроме того, не мешало бы заняться физической подготовкой, раз уж война неизбежна. Прочитав

---

[193] Примечания: 193

Брук Руперт (1887–1915). Английский поэт, символ «потерянного поколения» Первой мировой войны, погиб на фронте. *(Прим. ред.)*

дешевую брошюрку о йоге, он понял, что все делает неверно. Ритм дыхания должен совпадать с ритмом шагов. Он начал ходить осознанно, но получалось не очень естественно, зато по правилам. «Обыкновенные люди делают восемнадцать вдохов в минуту, но если вы будете тренироваться, то сможете делать десять вдохов и меньше. Три вдоха в минуту — отличный результат!» Три вдоха в минуту? Он вдруг поймал себя на том, что считает камни, задерживая дыхание, а потом со свистом выдыхает воздух, когда уже совсем невмочь. Конечно же, это было неправильно.

…Все-таки предрассветная усталость была приятной, когда он спешил домой по безлюдным улицам, теперь свободным даже от лунного света и теней. Только время не исчезало, но эту сочившуюся сукровицей бессонницы рану скоро залечит дневной свет. Сначала надо немного отдохнуть. Он залез в постель и заснул, но перед тем как окончательно забыться, представил, как спят его друзья. Засунувший голову под подушку Блэнфорд метался во сне. Сэм храпел, Констанс что-то не было видно. Где-то по соседству почивал принц, прикрывший лицо муслиновым платком, чтобы защититься от моли — он смертельно боялся, что она съест его, как старый гобелен. Еще

он завернул вставной зуб в серебряную бумажку, чтобы случайно не проглотить его во сне. Рядом с зубом лежало Священное Писание в великолепном переплете из слоновой кости. Наверху, в одной из комнаток «Балморала» Макс то засыпал, то просыпался, ему казалось, что он лежит в старом шкафу, пропахшем дохлыми мышами. Этот бедняга предпочитал гамак в саду, хоть и был «личным секретарем». Лорд Гален безмятежно раскинулся на огромной кровати. На нем была ночная сорочка с гофрированными белыми манжетами, купленная в магазине «Мэннерингз». На груди вышита его монограмма. Он спал с открытым ртом и время от времени храпел: на вдохе раскатистое «кронк» — на выдохе чуть свистящее «пуфф». Это «пуфф» заставило Феликса вспомнить слова принца: «Он такой наивный человек, что сразу одолевает желание его *надуть*». Так значит все-таки война.

Раньше — хлеб и зрелища,
Нынче мор и кладбища.

Где он это вычитал?

Блэнфорд действительно уже спал, однако от всяких треволнений поднялся очень рано, другие еще и не думали просыпаться. Он на цыпочках

отправился в кухню варить себе кофе. Потом вернулся в постель. Уютно устроившись, он потягивал кофе, в полудреме отправившись (совсем как Феликс), навещать своих друзей, пока они спят, — чтобы лучше понять их. Знал ли он, что они чувствуют или дерзко посмел вообразить их эмоции (обычное проявление писательской болезни)? Он и сам не смог бы ответить точно. Однако ему было совершенно ясно, что девушка, спавшая в благодарных объятиях Сэма, уже обогнала их всех в познании таких феноменов, о которых они еще и не думали. Что же касается Сэма, все еще пьяного от меда первых поцелуев, тут ничего не нужно было угадывать: скорое расставание и смерть. Скорое — количественная характеристика… Блэнфорду вдруг пришло в голову, что он сам тоже умирает, медленно и неотвратимо. Естественно, это может длиться еще долго, однако *процесс* остановить невозможно. Большинство людей предпочитает об этом не думать, не желает смотреть правде в глаза. А он чувствовал себя победителем, дремлющим в коконе тишины. Понимание истины было безусловной победой, причем оно не имело ничего общего с войной, с желанием себя успокоить. Оно пришло бы в любом случае, хотя бы благодаря

дружбе с Констанс, которая была взрослее и мудрее, однако ему было трудно объяснить, в чем именно это выражалось.

Даже понятие смерти таит в себе скрытый оптимизм, ибо она — вполне управляема! Весь этот окутывающий ее фимиам непостижимости и таинственности мигом рассеялся, когда Констанс в одной из бесед сказала:

— Ты, наверное, подумаешь, что я ненормальная, но я скажу: чуть ли не с раннего детства я поставила перед собой цель. Я пыталась хотеть только того, что доступно, и без сожалений расставаться со всем остальным. Тогда я стала как бы на равных со смертью, потому что поняла: ее нет. У меня появилось чувство, будто я принимаю участие исключительно в неизбежном. Это было счастьем. Я стала воспринимать свою жизнь как некую восхитительную интермедию. И еще я чувствовала, что нехорошо в моем возрасте так много знать…

Не описать, как тогда ее слова подействовали на Сэма. Он онемел. Он как будто понял, что она хотела сказать, однако до конца осмыслить ее слова все же не мог. Позднее, много позднее, она уже сможет кое-что прибавить к этому в письме, адресованном Блэнфорду: «Чрезмерное

стремление к праведности очень опасно, этого самоистязания нельзя допускать. Мне было мало просто личности, мне надо было узнать все изгибы отклонений, всю правду — какой бы удручающей она ни была! Я вела себя, как алхимик, сама того не понимая. Идиотка!»

Вот так, они спали и не ведали того, что их сны были моделями будущих поступков. Блэнфорд тоже заснул, и как раз в это мгновение Сэм решил разбудить его.

— Нечего зря терять время, — сказал он. — Последние дни бесценны. Ваша лошадь, сударь!

В одном сборнике старых афоризмов Блэнфорд обнаружил любопытное изречение: «Ничего не стоит прекрасная смерть. Чем она незаметнее, тем дороже». Это Монтень? Бог его знает.

Глава девятая
Кутеж

Маленький кутеж принца обещал обрести такой поистине королевский размах, что Катрфаж был потрясен. О деталях предстоящего мероприятия он узнал в их борделе — скажем так, в их общем с его высочеством борделе. А узнав, тут же позаимствовал у кого-то велосипед и как ошпаренный помчался (вполне точная метафора, потому что было двенадцать часов, и солнце шпарило во всю мочь) в Ту-Герц. Это обязательно нужно увидеть, сказал он, черт с ними, с приличиями и предписаниями протокола. Хотя бы издали. Сам он, естественно, был приглашен, однако их имена принц решил из деликатности исключить из списка непревзойденных негодяев — возможно, это к лучшему. Однако… он арендовал весь Пон-дю-Гар. А вместе с ним весь древний «Оберж дез Обержин», который находился рядом. Принц уже работал над тем, чтобы постоялый двор приобрел вид, достойный небывалого кутежа.

Оберж место своеобычное, идеально подходившее для такого рода авантюр, вокруг было

полным-полно швейцарских шале, притулившихся на скалах Гарда, прятавшихся в тени платанов и практически нависавших над зеленой водой. Здесь не сдавались номера, но наверху имелась анфилада больших комнат, в которых летом селились туристы или члены клубов, занимавшихся археологией и римской историей, акведук был излюбленным местом встреч любителей старины, иногда они разбивали лагерь прямо на зеленых полянах у реки. Постоялый двор славился своей кухней, что, разумеется, тоже было важно для кутежа. И не только это. Будучи человеком мира, принц отлично знал обычаи Франции. Он знал, что в этой несгибаемой республике любой гражданин мог потребовать от *préfet*[194] любого региона за минимальную плату осветить известный памятник старины, просто в качестве эффектной декорации для своего званого обеда.

Когда он был юным влюбленным, то обещал своей принцессе устроить тут обед, за которым будут прислуживать его собственные слуги; обед только для них двоих, и чтобы больше никого не было. Он всегда вспоминал с волнением начало

[194] Примечания: 194
Префект *(фр.)*.

своей супружеской жизни. И вот теперь большие золотистые арки римского акведука воспарят над грядущим весельем, его медово-золотистые арки постепенно растворятся в бархатистом небе Прованса. Сердце принца стучало быстрее, стоило ему представить эту картину. Его переполняла радость. Нужно тщательно обо всем позаботиться, о каждой мелочи.

В качестве друга и помощника Катрфаж присутствовал на организационных переговорах и был поражен дотошностью принца, о чем и рассказывал с милой иронией, даже мастерски имитируя акцент принца. Когда он спрашивал: *«Et le gibier?»*[195] — принц отвечал как настоящий каирец: *«Ne t'en fais pas, Bouboule»*,[196] — словами из старой музыкальной комедии, известной каждому в египетской столице. Его пажи уже во всю хлопотали. Даже *gibier,* настоящая дичь, была доставлена со всех четырех сторон Франции, в основном из Марселя и Тулузы. Принц объявил, что ему нравятся девушки *plantureuses, bien en*

[195] Примечания: 195
А дичь? *(фр.).*

[196] Примечания: 196
Не бери в голову, Бубуль *(фр).*

chair,[197] что объясняло такое изобилие красоток «под Рубенса» среди съехавшихся на празднество. Никто никогда не видел столь замечательную коллекцию сонных душечек в боевом окрасе, позвякивающих сомнительными драгоценностями с фальшивыми *toc*[198] Воплощенные мечты арабской фантазии… Старину принца явно подстегивали унаследованные им пристрастия хедивов,[199] правивших Каиром лет сто назад.

Катрфаж настолько увлекся своим рассказом, что не расслышал шум приближающегося автомобиля, в котором, выпрямившись, сидел Феликс в соломенной шляпе, очень похожий на испуганного кролика. Он все еще никак не мог привыкнуть к автомобилю и робел перед этим зверем. Пришлось повторить все сначала — для него, консул слушал с едва заметной завистью, звучало действительно заманчиво — устроить кутеж в самом сердце Франции. Приготовления уже начались, со всего Авиньона в Оберж свозили мебель, арендованную за бешеные деньги. Всего

---

[197] Примечания: 197
Упитанные, в теле *(фр.)*.

[198] Примечания: 198
Подделка *(фр.)*.

[199] Примечания: 199
Хедив — титул правителей Египта с 1867 по 1914 г.

должно было быть около сотни гостей.

— А пятьдесят девушек *en or massif,*[200] — сказал Катрфаж, невольно облизнувшись. — Марсель превзошел себя, такие пышные куколки.

— Как же мы пройдем? — спросила Констанс, опасавшаяся, что они пропустят праздник, поскольку их считают слишком благонравными.

— В самом деле, — поддержал ее Блэнфорд.

Катрфаж хмыкнул.

— В восемь часов дороги будут перекрыты жандармерией — по просьбе его высочества. Вам никак не пройти. Но у меня есть план. Можно наблюдать за происходящим с Пон-дю-Гар — с этой стороны окна бальной залы будут открыты, и вы всё увидите. Ручаюсь, сам однажды следил оттуда в бинокль за девушкой, которую подозревал в измене. Она ужинала с кавалером. И я очень хорошо видел их. Если прихватите с собой театральные бинокли, то все увидите.

— Да, но как взобраться наверх?…

Катрфаж нетерпеливо качнул головой и достал авторучку. На местной газете он быстро нарисовал план местности, прилегающей к акведуку, — все сразу ее вспомнили, ведь и сами

---

[200] Примечания: 200
Из чистого золота *(фр)*.

часто гуляли там.

— Надо продолжать? — спросил он. — Здесь рядом заброшенная дорога. Поднимаетесь по склону, где сломанные арки. Потом поворачиваете за угол…

Да, надо было подняться в небо, чтобы великий акведук с глубоким желобом внутри лежал далеко внизу. Надо было выйти на верхний ярус, как на мост.

— Понятно, — задумчиво произнес Блэнфорд. — Это в принципе возможно.

— Разумеется, возможно, — нетерпеливо сказал клерк, раздраженный английской медлительностью, вечно они мямлят. — Будете сидеть там, как в ложе.

— Когда?

— Завтра. Не пожалеете! — с несколько курьезной горячностью заверил Катрфаж.

Он продолжал излагать подробности, из которых следовало, что это не просто бесшабашное развлечение, а такое, которое достойно соответствующей компании… ну, скажем так, галантной компании. На это стоит посмотреть! Хотя бы для того, чтобы на время забыть о войне и расставаниях. Это событие — отличный финал летних каникул, оно вполне соответствует духу обычных

для этой поры местных праздников: уборка урожая, потом последние праздники вина и игрища с быками! Нечего раздумывать. Они должны пойти.

На следующий день, сразу после обеда, они выехали из дома. Луна была низкой и тусклой — поздно взошла и рано исчезла; осенний туман укрыл окрестности, очень напоминающие Тоскану, ее округлые очертания с будто бы нарисованными кипарисами, ее поселки и деревни, небольшие и уютные, и полноводные речки, в которых много форели. Вскоре трава уступила место пыльным пустошам, усыпанным камешками и сланцевыми осколками, здесь все свидетельствовало о частых пожарах и засухах. Памятуя об инструкциях Катрфажа, они старались не попадаться на глаза жандармам. Добравшись до Ремулена, молодые люди не стали пересекать мост, завидев на другой стороне огни и жандармов. Они свернули направо, словно собрались в Уз, и долго ехали по безлюдным дорогам вдоль реки, повторяя широкие повороты Гарда. Пон-дю-Гар был уже освещен в преддверии праздника, его бронзовая громада вздымалась до неба, напоминая выброшенного на берег кита. Внизу, на ровной, заросшей мхом поляне, окаймленной

россыпями камней, по велению принца был раскинут большой шатер, и он сидел в одном из по-театральному эффектных кресел, дожидаясь гостей. Гости извергались из распахнутых дверок автомобилей, останавливавшихся под сенью ив. Последние пятьдесят ярдов приглашенные шли пешком, на них падали блики света от отражателей, похожие на веснушки, а над ними эффектно нависал акведук.

Оберж тоже был щедро освещен, а весь второй этаж превращен в нечто вроде роскошного гарема: стены, увешанные бесценными коврами, взятыми напрокат или взаймы, дивной работы шкафы и кофейные столики, зеркала с гонкой филигранной отделкой, достойные украшать Великий Сераль. Все антиквары Авиньона внесли свою лепту в оформление. К занавеси была пришпилена панель с красивой надписью «Дамская комната. Poudrerie. Туалет». Исчерпывающая информация. Катрфаж обещал стащить ее и принести Блэнфорду, который решил повесить ее на туалет в Ту-Герц, так как не упускал случая находить «перлы» во французском языке, бытующем в Каире, ибо «poudrerie» значило вовсе не комнату, где пудрят носы, а пороховой завод. Большой открытый очаг в Оберже полыхал, наби-

тый сухими лозами, фыркал и стрелял в разные стороны рожками огненных улиток. Где-то внутри тихонько наигрывал оркестр, что означало наличие танцевальной площадки или бальной залы. Ничего не было упущено.

Особо не мудря, они решили ехать в одном автомобиле, хотя сидели чуть ли не на коленях друг у друга. Зато Феликс мог одолжить консульский автомобиль своему другу, приглашенному на кутеж. Смотрелся Катрфаж в *tenue de ville*[201] великолепно, хотя заметно нервничал. Он уже видел нескольких гурий из Марселя, для которых были забронированы номера в отеле. И очень воодушевился.

— Они выглядят так, словно у них задержка — это придает женщинам легкую нервозность, обворожительный магнетизм. Я уже присмотрел двух шикарных девиц, похожих на гусениц в пыльце.

Феликс был несколько шокирован вкусом своего друга. А Катрфаж, выпивший пару стаканчиков виски с мажордомом принца, пребывал в прекрасном настроении.

— Помните послание кариатид? — спросил он,

---

[201] Примечания: 201
Городской костюм, одежда для города *(фр.)*.

грозя пальцем смущенному консулу и забираясь в его машину. — Девушка должна всегда выглядеть немножко беременной.

Это было избитое выражение, когда-то введенное в оборот Блэнфордом, полюбившееся ему и застрявшее в памяти.

— Ну, дорогой Феликс, — сказал он, — смотри в оба, ничего не пропусти.

Итак, они катили сквозь сладкие ароматы вишни и шелковицы; время от времени слева из темноты поднимался сияющий акведук и опять растворялся в зелени. Им было слышно, как река скрежещет зубами внизу — справа от них. Потом показался левый поворот, который обычно приводил их прямо к мосту, но сейчас тут стоял полицейский с постной физиономией, проезд был перекрыт белым заграждением. Сделав вид, будто направляются к Узу, они проехали мимо, даже махнули полицейскому, но на самом деле поехали вдоль прохладной платановой аллеи, пока не появилась осевшая дорога, и отсюда они двигались осторожнее, до оливковой рощи, венчавшей возвышенность. На автомобиле дальше ехать было невозможно, и они побрели пешком по сланцевым осыпающимся склонам, среди колючек каменного дуба и терна. Вечером ориен-

тироваться было гораздо труднее, чем днем.

Гора вблизи выглядела, как буйные заросли с тропинками и выжженными прогалинами; но впереди сиял свет, и это был отличный ориентир, так они и продвигались, пока в какой-то момент, ошарашенные, точно актеры, нечаянно вышедшие из-за кулис на сцену, они не набрели на дренажную штольню, у первой арки. Отсюда начинался пологий спуск на вершину акведука с глубокой — в метр — круглой выемкой — по этому воздушному каналу в римскую эпоху текла весенняя вода Вера, отводившаяся в город Ним. Здесь они и расположились (совсем как птички на каком-нибудь высоком дереве), упершись локтями в край выемки, чтобы удобнее было наблюдать за происходящим внизу, в пиршественной зале. Идея насчет театральных биноклей была поистине гениальной. Биноклями, когда-то купленными для выездов в марсельский оперный театр, в последнее время практически не пользовались, и вот пожалуйста — пригодились. Теперь они были наставлены на Оберж, и, как обещал Катрфаж, благодаря им была отлично видна половина огромной столовой, часть которой выходила на веранду.

Действо уже началось, отмеченное налетом

придворных формальностей. Мужчин, приехавших без дам, встречали в уличном павильоне, потчуя их по распоряжению принца аперитивами — похоже, украшенными шпанскими мушками. Катрфаж подумал именно о них, выпив залпом свою порцию обжигающего бесцветного напитка. Вечером гости выглядели еще нелепее, чем днем. Все в черных костюмах, слишком тяжелых для лета, в душивших их галстуках и огромных перстнях, сверкающие бриолином на непривычно расчесанных волосах. На этом этапе чаровниц еще не было. Наконец, все собрались, и принц повел гостей, словно крикетную команду, в Оберж, который пока пребывал почти в полной темноте — лишь изредка вспыхивал то тут, то там огонек свечи, выдававший, что идут последние приготовления. Принц держал в руке позолоченную мухобойку с длинным белым хвостом из конского волоса. Нечто вроде дирижерской палочки. Мухобойкой он стукнул в закрытые двери Обержа, и они распахнулись. В сей же миг вся столовая осветилась, и гости издали радостный вопль. По сценарию справа от каждого гостя должна была восседать *обнаженная жрица любви!* Дамы уже заняли свои места, они хлопали в ладоши и визжали с жеманством настоящих

леди, мужчины в черных костюмах ринулись к столу, ища свои места по разложенным именным карточкам.

Да, принц не упустил ничего. Констанс хохотала без умолку, вылавливая биноклем то одну, то другую сценку. Мужчины, как представители более достойного почестей сильного пола, усаживались в похожие на троны кресла с высокими позолоченными спинками, дамам же были предложены обитые бархатом табуреты, на каких обычно сидят пианисты. Принц занял место во главе стола, как положено хорошему хозяину. За его креслом стояли трое облеченных особым доверием слуг, одетых в великолепные красно-золотые ливреи с зеленой отделкой. Один — официальный дегустатор, впрочем, на этот вечер освобожденный от своих обычных обязанностей; двое других, стоявшие по бокам, держали на согнутых руках благородных соколов в колпачках. Высокий ранг принца требовал присутствия сокольничих, так как соколы принца все равно что волынка при шотландском аристократе. Обед начался с обрывистых бесед, хлопанья пробок и ожидания… в общем, немного напряженно, несмотря на горячительные аперитивы.

Ну просто робкие питомцы воскресной школы,

а не взрослые мужчины.

— Полагаю, скоро они осмелеют, — сказала Констанс, обернувшись к остальным. Сцена поражала богатством и разнообразием реквизита и очарованием. При свете свечей женщины выглядели великолепно, их пышные формы вполне соответствовали предъявленным требованиям.

— *J'aime les grands balcons arrondis,*[202] — произнес между тем принц, возможно, подразумевая достоинства прелестниц. В Оберже действительно, были дивные балконы: большие, округлые, украшенные свежими фиалками и драгоценностями, благоухающие сотнями экзотических ароматов. Веселье разгоралось медленно, что обычно для обеда, где особое внимание, естественно, уделено превосходной кухне. И это пиршество не было исключением. В конце концов, гости были французами, истинными гурманами, умеющими, к тому же, вести непринужденную беседу, наслаждаться общением. Даже самые неотесанные были прирожденными ценителями *la bonne chère*[203] и время от времени закатывали глаза от наслаждения; некоторые даже в порыве

---

[202] Примечания: 202
Мне нравятся большие округлые балконы *(фр.)*.

[203] Примечания: 203
Вкусная еда *(фр.)*.

чувств целовали кончики сложенных пальцев, обернувшись в сторону кухни. Да, как только салфетки были засунуты за воротник, все пошло как по маслу, беседа полилась так же бойко, как отличное вино. Катрфаж, которого не очень влекли балконы, обнаружил рядом с собой пухленькую застенчивую куколку с вульгарным смехом, но тактику она выбрала верную: сначала с чувством сжала его коленку, а потом предложила отведать дары моря, что-то непонятное… Уже опьяневший Катрфаж сумел, однако, понять, что никогда еще не ел столь изысканных и в то же время простых кушаний. Брилла-Саварен,[204] верно, перевернулся в гробу, благословляя пиршественный стол принца, настолько он был оригинальным. Катрфаж даже хотел стащить меню, чтобы показать его Констанс, но потом решил, зачем? В качестве программки уникального в своем роде концерта? Разве можно представить эти чудеса по одним только названиям?[205] Где, черт его подери, старина принц раздобыл такое шампанское? Изнемогая от любопытства и восхищения,

---

[204] Примечания: 204

Жан-Ансельм Брилла-Саварен (1755–1826) — француз, автор самой известной книги по гастрономии.

[205] Примечания: 205

Тем не менее, см. Приложение. *(Прим. автора)*

Катрфаж милостиво позволял соседке щипать, щекотать и кормить его, словно Страсбурге ко го гуся. Соглядатаи на акведуке вовсю потешались над его лицемерной беспомощностью.

Банкет продолжался долго, однако постоянно обнаруживались свеженькие интересные подробности, и тайным зрителям скучать не приходилось; ближе к финалу пиршества гости стали понемногу отлучаться на просторные темные балконы, чтобы потанцевать, и там парочки проделывали несколько неуклюжих па. Двигались они с несколько курьезным старанием, что выдавало неискушенность танцоров, похоже, ноги не очень-то их слушались. Оркестр оставался невидимым, но играл постоянно, причем вальсы, танго и прочие медленные танцы, которые хозяин считал наиболее подходящими для своих гостей, поглотивших чудовищное количество деликатесов. К сожалению наблюдателей освещение постепенно делалось менее ярким. Последним основательным источником света был поистине пещерный, словно из адской бездны, огонь, вспыхнувший на блюдах с *crepes*

flambées,[206] он придал бородатым лицам особый колорит, это был тот самый приглушенный свет, который любил использовать Рембрандт.

Огненный десерт имел потрясающий успех, послышался треск бумажных сувениров и даже — гениальная находка! — всем выдали по шляпе из картона. И без того уморительное зрелище стало безумно смешным. Гнусные старикашки в идиотских шляпах отмахивались от всего мира своими сигарами! Одна-единственная деталь придала празднику роскошь безумства. Танцы становились все более провоцирующими — дамы смело прижимались к кавалерам и вскидывали руки, напоминая галеоны с надутыми парусами, или уборочные комбайны, добавил Феликс, который счел эту метафору более подходящей накануне *vendanges.*

Итак, атмосфера обрела налет сентиментальности — даже принц увлеченно перебирал ножками, словно диковинная птичка, однако партнерш у него было сразу несколько, да-да, несколько рослых пышных девиц, скроив невинные мины, пытались завоевать его внимание.

---

[206] Примечания: 206

Здесь: блинчики-фламбе *(фр.).* Слово «фламбе» (огонь) — составляющая всех названий блюд, которые заливают спиртом и подают подожженными.

Еще бы, столько денег! И угощенье!

— У принца появилось еще одно восхитительное словечко, — сказал Феликс. — Он говорит «элегантно», когда имеет в виду «высший класс».

Воодушевление зрителей слегка остыло — возможно, потому что доступная их биноклям часть кутежа подходила к концу. Констанс с удовольствием вспомнила о термосе с подогретым вином и сэндвичах, лежавших в машине. И тут вдруг весь мир погас, темнота обрушилась на землю, почти осязаемая, как плотный колпак. Они не видели даже друг друга, а принц с гостями будто канули куда-то вниз, им казалось, что сами они взлетели высоко в небо, будто вознеслись на самолете. Теперь нужно было вести себя очень осторожно, любое резкое движение могло стоить жизни или, по меньшей мере, перелома. Молодые люди терпеливо ждали, когда глаза привыкнут к темноте, но внезапно опять вспыхнул свет, только в совершенно иной ипостаси.

Снизу донеслась канонада, и разноцветные змеи, шипя, взвились в воздух (совсем рядом с ними), чтобы выплюнуть в небо горячие разноцветные звезды, выпустить плюмажи и вновь рухнуть на землю. Нарядные борозды расчерчивали черное сверкающее небо, и, совершив

полет по заданной силой взрыва траектории, падали прямо на акведук. Фейерверк продолжался не очень долго, однако цвета и формы были необыкновенны, а над рекой крутились огненные «колеса святой Екатерины»,[207] рядом некто похожий на глиняную фигурку *отшельника* (из тех, что делают в Провансе для рождественских ясель) поедал оливки со скоростью Святого Витта… Вскоре молодые люди услышали веселые крики и аплодисменты. Темнота снова вступила в свои права, и они двинулись в обратный путь: вдоль каменной выемки и теперь уже вверх, на гору. Пробираться было не легко, и как только они оказались на другом склоне, поспешили включить фонарики. Но ради такого представления стоило претерпеть любые испытания!

На землю уже выпала обильная роса, предвестница богатого урожая; тяжелые капли скатывались со старой оливы, под которой они оставили машину. Горячее вино было как нельзя кстати. Чуть поодаль сгущался туман. Пока они пили вино, на горе возникло загадочное облако,

[207] Примечания: 207

Одна из самых старых форм огней фейерверка (в честь Святой Екатерины, которую за веру в Христа приговорили к колесованию, но во время пытки колесо чудесным образом сломалось, а спицы его поразили зевак, пришедших на казнь). *(Прим. ред.)*

двигавшееся прямо на них. Вскоре послышался топот маленьких копыт и звяканье колокольчиков, а потом из мрака появился пастух, он попросил огоньку, чтобы прикурить сигарету, и обрадовался приглашению выпить вина. У него был напевный выговор жителя южной Франции. Пока он курил и грел ладони о кружку, подбежали собаки и уселись рядом, чутко навострив уши, а после показалась и сама отара. Своими копытцами овцы топтали полынь, и ее горький аромат наполнял притихшую округу.

— Началась война, — вдруг сказал старик, однако таким беспечным тоном, что они подумали, наверное, он шутит. Откуда ему известно? Слышал в полночь возле ратуши. В стране, где почти нет радиоприемников, их заменяют слухи, а слухи о том, что объявлена война, в последнее время появлялись часто. И все же… вдруг правда? Пожав старику руку, жесткую, натруженную, друзья снова втиснулись в свою машину, и вскоре они уже катили к дому.

После того, как позади остался Ремулен, густой туман рассеялся, и они без труда добрались до дороги на Авиньон; минут десять все мечтали только о теплой постели, но едва возникли очертания последнего горного склона перед зна-

менитым мостом, сон вмиг улетучился, и они стали обсуждать дальнейшие планы: ехать домой или в город, где можно выпить кофе с круассанами и узнать, правда ли то, что сказал старик.

— Ложиться спать уже поздно, а вставать — рано, — сказал Блэнфорд. — Это Феликс у нас обожает рассветы и чувствует себя отлично в такую рань.

Феликс и вправду весь сиял — в кои-то веки почти вся ночь прошла приятно. Он был доволен и бодр — только слова крестьянина слегка царапали сердце.

Итак, решено — в город. Однако Авиньон как будто вымер — булочники еще не растопили печи, кафе закрыты, даже на вокзале. Оставался последний шанс, и путешественники пешком пересекли Ле-Баланс, обошли грязные дома цыган, достойные скорее Каира, чем европейского города. Автомобиль они оставили на Папской площади. Но, увы, их ждало разочарование; маленький Bar de la Navigation[208] тоже был закрыт. Друзья совсем пали духом.

Вдруг на одной из боковых улочек, неподалеку от старинных кожевенных мастерских с их

---

[208] Примечания: 208
Здесь: бар для моряков *(фр.)*.

смрадными каналами, раздался вибрирующий шум мощного мотора или турбины.

— Это мой старый друг, — оживился Феликс. — На него стоит посмотреть! Пошли. Он иногда сопровождает меня во время ночных блужданий. Каждые полгода, в первую неделю месяца он проводит «чистку» в этом квартале. Под покровом тьмы. А потом перемещается дальше по часовой стрелке.

Дружок Феликса напоминал пожарную машину, на грязных боках светились позолоченные городские гербы.

— Что это? — спросила Констанс.

— Это *pompe à merde*,[209] — тоном знатока пояснил Феликс. — Понимаешь, тут никогда не было настоящей канализационной системы, под всеми домами ямы, выгребные ямы — вот и вся здешняя канализация. И ночью этот мастодонт отправляется их вычерпывать. Авиньонцы очень им гордятся. Даже имя ему придумали. «Мариус».

Мастодонт — очень подходящее слово, хотя у чудовища был хобот, как у симпатичного слона. Этот хобот оно совало в парадную дверь, а потом — в подвал, где находились нужники. Страшно

---

[209] Примечания: 209
Насос для дерьма *(фр.)*.

было слышать, как оно хлюпает и чавкает, страшно было слышать, как работает помпа — словно неуклюжий зверь, истекающий потом от непомерного напряжения, подумал Блэнфорд.

— Оно откачивает интеллектуальные экскременты двадцатого века в городе, который когда-то был Римом. Выгребная яма человеческого воображения постоянно наполняется отбросами из полуосознанных надежд и страхов, желаний и решений, — пробормотал он для себя и подумал, нахмурившись, что это плохой знак — во всем видеть метафоры. Но этим грешил не только он. Констанс тихо произнесла:

— Анально-оральная[210] машина весьма подходит нашему времени. Как Фрейдов «детский» стишок.

Неожиданно застеснявшись, она не стала произносить его вслух, лишь прошептала, тоже только для себя.

Дружно сидя на горшках,
Психи песенку поют:

---

[210] Примечания: 210

Намек на учение Фрейда, считавшего, что существует несколько стадий сексуального развития. Первая — *оральная*, когда основным источником познания и удовольствия является рот. *Анальная* (в 2–3 года) — когда доминирует эрогенная зона в области ануса, обеспечивающая удовольствие при дефекации. *(Прим. ред.)*

Столько вкусного в кишках,
Королю поесть дадут?

В бистро рядом водитель «Мариуса» уже заказал кофе и виноградной водки, чтобы хоть немного заглушить ароматы экскрементов, среди которых он был вынужден существовать. Что ж, профессия есть профессия, не хуже и не лучше любой другой… Остальные тоже подошли к барной стойке. Только Блэнфорд продолжал завороженно наблюдать за машиной, которая чавкала и хлюпала, просунув хобот сквозь каменную толщу веков. Уже занималась древняя, как мир, вся в складочках, заря — коралловая и перламутровая, и в то же время над целым кварталом стояла вонь экскрементов. Скоро резиновая труба будет свернута, и «Мариус» отправится в стойло, ибо свою работу он мог делать только ночью, — наверное, чтобы не нарушать приличий.

Блэнфорд вдруг почувствовал, как сильно он устал. В голове мелькнула цитата. *Interfaesces et urinam nascimur.*[211] Да, правильно. В конце концов, перед ним был «Божий град» Августина,[212]

[211] Примечания: 211
Среди грязи и мочи рождаемся *(лат.)*.

[212] Примечания: 212
Августин, Аврелий (354–430) — христианский теолог и философ, автор трактата «О граде Божием». *(Прим. ред.)*

когда-то возведенный на зеленой и невинной земле.

Приложения

* К примечанию 29

Полный текст 12 заповедей

1. Faut pomper la momie allegoriquement.
2. Faut situer le cataplasme de l'art chauve.
3. Faut analyser le carburant dans les baisers blondes.
4. Faut faire faire, faute de mieux et au fur et a mesure faire forger.
5. Faut oindre le gorgonzola du Grand Maitre.
6. Faut respecter le poireau avec son regard deficitaire.
7. Faut scander les debiles sentimentales avec leurs decalcomanies.
8. Faut sauter le Pont Neuf pour serrer la main d'une asperge qu'on trouve belle.
9. Faut caresser ineluctablement la Grande Aubergine de notre jour.
10. Faut pondre des lettres gardees en instance, tombees en rebut, poste restante, l'Amour a la creme renversee.
11. Faut devisager la realite a force de supposer.

12. Faut cracher les tiedes et descendre les incoherents.[213]

* К примечанию 176

Читатели, которые обратили внимание на небольшое расхождение между так называемой «реальной» историей и порядком событий, принятым в этом романе, надеюсь, будут снисходительны к автору, он же все-таки писатель.

* К примечанию 205

MENU POUR LE BANQUET DE PRINCE HASSAD AU PONT DU GARD[214]

Consomme glace a la tortue
Gratin de crevettes roses en bouquet fait
Darne de saumon sauce Leda

---

[213] Примечания: 213

1. Накачай мумию иносказательно.
2. Ставь куда надо припарку плешивого искусства.
3. Познай горячие губки блондинок.
4. Куй железо пока горячо, коли нету золота.
5. Умасти елеем горгондзолу Великого Магистра.
6. Уважай клиента, которому недодали.
7. Читай вслух толстокожих дебилов с их жалкими переводными картинками.
8. Завидев на Новом Мосту смазливую дылду, догони ее и представься.
9. Усердствуй, лаская Великий Баклажан дней наших.
10. Кропай письма до востребования, никому не нужные, моли о любви, тающей как мороженое.
11. Познай реальность, исходя из гипотез.
12. Отринь равнодушных и убей непоследовательных.

[214] Примечания: 214
Меню пира, устроенного принцем Хассадом у Пон-дю-Гар
Холодное консоме из черепахи
Гратен из розовых креветок с приправами
Лосось под соусом «Леда»
Перепелка с персиками «Римский акведук»
Медальоны из телятины «Сара Бернар»
Баранья нога «Великий Петрарка»
Баклажаны по-цыгански
Шампиньоны «Сотбро», начиненные трюфелями
Салат «Олимпио»
Сырное ассорти «Двенадцать цезарей»
Охлажденные ранние фрукты
Блинчики фламбе по рецепту мадам Виала из Сомьера
Кофе и виноградная водка «Великий Доде»
* * *
Белое алиготе 1927 года
Розовое «Пьер-фё»
Божоле моргон 1937 года
Шампанское «Мутон Ротшильд»
Ликеры пятнадцати сортов

Cailles aux peches du Pont Romain
Medaillons de veau Sarah Bernhardt
Gigot d'agneau Grand Petrarque
Aubergines en bohemienne
Champignons truffes Sautebrau
Salade Olympio
Plateau de fromages des douze Cesars
Fruits rafraichis des premieres cueilles
Crepes flambees a la facon de Madame Viala du Pont
Romain de Sommieres
Cafe et Marc du Grand Daudet

* * *

Blanc Aligote 1927
Rose de Pierre-feu
Morgon 1937

Champagne Mouton Rothschild
Quinze liqueurs

LAWRENCE DURRELL
THE AVIGNON QUINTET
LIVIA OR BURRIED ALIVE
1978